

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

БРЕНКЕЛЛА

3(15)2020

ВРЕМЕНА

**Литературно-художественный
и общественно-политический
журнал**

Выпуск 3 (15) 2020

**Нью-Йорк
2020**

ВРЕМЕНА
Международный литературно-художественный
и общественно-политический журнал

VREMENA
International Journal of Fiction, Literary Debate,
and Social and Political Commentary

Publisher Leon Mikhlin

Editor David Guy

Design and layout Slava Petrakov

Copyright © 2020 Leon Mikhlin

No part of this publication may be reproduced or transmitted
in any form or by any means – electronic, mechanical,
photocopy, or any other – except for brief quotations in printed reviews,
without prior permission from the Publisher.

For any information about obtaining permission to reproduce
selections from the journal, please call **917-922-4153** и **646-270-9615**
or send an email to **lbm28w@aol.com** и **guydavid094@gmail.com**

All rights reserved

Printed in the United States of America

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

ИРИНА БАСОВА-ЗАБОРОВА	(Франция)
МАРК ВЕЙЦМАН	(Израиль)
ГЕННАДИЙ КАЦОВ	(США)
ГАРИ ЛАЙТ	(США)
АНДРЕЙ ОСТАЛЬСКИЙ	(Англия)
ЛАРС ПОУЛЬСЕН-ХАНСЕН	(Дания)
СЕМЕН РЕЗНИК	(США)
МИХАИЛ РУМЕР-ЗАРАЕВ	(Германия)
ЭЛЛАЙДА ТРУБЕЦКАЯ	(США)
МАРИНА ТЮРИНА-ОБЕРЛАНДЕР	(США)
ЕВСЕЙ ЦЕЙТЛИН	(США)

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

ДАВИД ГАЙ

Линия тени (фрагменты романа)6

ЛЕОН МИХЛИН

Москопиты88

ДЖЕЙКОБ ЛЕВИН

В ожидании Бобра122

ВЛАДИМИР БАТШЕВ

Ласточка144

ОЛЬГА КУЧКИНА

Ужин с бухгалтером159

ПОЭЗИЯ

МАРИНА ТЮРИНА-ОБЕРЛАНДЕР80

ВЛАДИМИР НЕКЛЯЕВ116

ВИКТОР ФЕТ136

ЕВГЕНИЙ ЛЕСИН233

НАВЕЯНО КЛАССИКОЙ

ЯКОВ ФРЕЙДИН

Коронавирусный Декамерон173

РЕМИНИСЦЕНЦИИ

ЛОРЕН ГРЭХЕМ

Московские встречи245

ПЕРЕВОДЫ

АНТонио Табуки

Два генерала.....273

СОБЕСЕДНИКИ

ЮРИЙ СОЛОДКИН

Сквозь бури и громы282

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ.....309

Давид ГАЙ

ЛИНИЯ ТЕНИ

Фрагменты романа

*Жизнь – только тень,
она – актер на сцене.
Сыграл свой час, побегал, пошумел –
И был таков.*

Шекспир

*Жизнь обманывает нас тенями, как
в кукольном театре. Мы просим у
нее радости. Она нам ее дает, но
вместе с горечью и разочарованием.*

Оскар Уайльд

*Милый друг, иль ты не видишь,
Что все видимое нами –
Только отблеск, только тени
От незримого очами?*

Владимир Соловьев, 1892 г.

Я – тень от чьей-то тени...

Марина Цветаева

*Лучшие места под солнцем обычно у
тех, кто держится в тени.*

Народная мудрость

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Книги как дома: в одних хочется поселиться надолго, в других – на какое-то время, в третьих вовсе не хочется, едва приоткроешь дверь и ударит в ноздри затхлым. Не знаю, не ведаю, каким кому покажется дом для героя этого повествования, но может, и впрямь мимо открытых дверей читатель не пройдет, а заглянув внутрь, постарается задержаться, пока не обживет все углы. Во избежание недоразумения хочу предупредить: автор и протагонист – вовсе не одно и то же, не путайте нас, далеко не всегда протагонисты бывают положительными личностями, весьма часто – существа малоприятные и порой даже отталкивающие, как в некотором смысле обитатель выстроенного автором жилища – пожилой, не самый веселый, хотя и не зануда, женолюб, и в преклонные года не избавившийся от все еще неистраченной, обременяющей страсти, к тому же обладатель странной, не слишком востребованной профессии сочинителя, он не обрел спокойной старости, ибо *не вошел в достойный сговор с одиночеством*, хотя живет один; подверженному хворобам, завидовать ему не приходится, так что если вы ненароком забрели к нему на огонек в расчете на приятное времяпрепровождение и паче чаяния не нашли оного, не огорчайтесь – всегда можно уйти, захлопнув за собой дверь. Но можно и остаться, пренебречь приятным и попытаться примерить жизнь с выкрутасами моего зашкваренного героя на себя, как пальто с чужого плеча – а вдруг подойдет... Сегодня вы полны сил, но тоже когда-нибудь постареете, и тоже будете болеть, и тоже станете перебирать, как четки, события минувших лет, находя в них отраду или сожаление о несбывшемся, успокоение или печаль; учтите, пора эта наступит быстрее, чем вы думаете, и тогда, кто знает, может, и вспомните заполошного обитателя жилища, для которого *свечи в именинном пироге обходятся дороже самого пирога*.

В первой фразе всегда загвоздка, загадка, тайна – романа ли, рассказа ли, повести. Первая фраза, как глоток незнакомого вина – пить дальше или отставить бокал?

Первая фраза должна быть особенной. Выстрелом. Ударом колокола. Снежной лавиной. Молнией и громом. (По Маркесу, она

должна быть страшной, как ржавый пистолет, приставленный к затылку слепца. Таинственной, как стук костей в груди трухлявого скелета. Печальной, как слезы умирающей от обжорства обезьяны. Сладостной, как вопль теряющего девственность павлина).

«Велик был год и страшен год по рождестве Христовом 1918, от начала же революции второй...» «Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое...» «В восемнадцатом столетии во Франции жил человек, принадлежавший к самым гениальным и самым отвратительным фигурам этой эпохи, столь богатой гениальными и отвратительными фигурами...» «Княжича Вильгельма из дома Гесслеров по несчастной случайности подстрелили на охоте, когда жизни его было всего пять лет. Гусь взлетел, захлопав крыльями, ружье грянуло в чаще, ребенок упал на землю, задергался и закричал».

Думаю над началом своего повествования и тщетно ищу требуемые слова – уж больно незавидной для моего героя выглядит ситуация, в которой он оказывается, какие уж там выстрелы, удары колокола, громы и молнии. Но надо же с чего-то начать... И вот втемяшился именно такой первый абзац, бьющий по самолюбию главного действующего лица, хотя ничего особенного, кажется, не произошло, однако надо знать его, чтобы до конца оценить степень униженности собственной физической немощью. Итак...

...Невидимые магнетические волны помчались от меня к Алисии, она почувствовала излучение и еле заметно улыбнулась, чуть приподняв уголки полных губ. Глаза же ее не улыбались, напротив, источали жалость и сочувствие – так мне, во всяком случае, показалось, и это было непереносимо.

За пять минут до этого, свесив левую руку, я попытался нашарить стоящий внизу у кровати пластиковый сосуд с горлышком, похожий на изгиб утиной шеи; зацепив пальцами ручку, поднял его и, откинув одеяло, приступил к очередной процедуре освобождения от накопившейся жидкости; пенис, похожий на свернувшуюся улитку, занял положенное место в горлышке, и сосуд начал наполняться – под воздействием лекарств мочи накопилось изрядно. Палата – отдельный небольшой бокс с туалетом – отделялась от коридора

шторкой, неярко светили лампочки, ночь без усталости проглатывала часы полубессониц-полудрем, чему я был только рад, стояла тишина, слегка нарушаемая легкими, почти бестелесными шагами медперсонала.

Лучше синица в руках, чем «утка» под кроватью, вспомнил давнюю грустную шутку. Синица витала в облаках, а «утка» была рядом. Опутанный подсоединенными к монитору и капельнице проводами, трубочками, присосками, датчиками, сосуд я удерживал левой кистью, фиксируя правой контакт пениса с горлышком. Все видеть и контролировать мешал большой живот. Жидкость подобралась почти к краям, я закончил процедуру и начал завинчивать крышку, одеревеневшие, теряющие гибкость пальцы соскользнули, крышка упала в кровать, я неловко потянулся к ней, сосуд качнулся и внезапно вырвался, часть содержимого вылилась на простыню и пол. Я непроизвольно застонал и выругался... Худшую, постыднейшую демонстрацию слабости и бессилия невозможно было представить. И впрямь, иногда человек так красит место, что место потом приходится долго отмывать.

В эти мгновения я ненавидел себя, свои руки-крюки, вмиг потерявшие доверие: долбаный капитан «судна», неповоротень; случившееся лишь подтверждало непреложную истину – дела мои хреновые, если не могу справиться с утлым сосудом.

По call bell вызвал медсестру.

– *I need help!* («Мне нужна помощь!»)

Медсестра не отзывалась. Вновь нажал на кнопку пульта и повторил просьбу – результат тот же. Было странно и непривычно, ночью медсестры бодрствуют, не приходится их вызывать по два раза, ибо дорожат местом в престижном манхэттенском госпитале и не ищут неприятностей на свою голову.

Через несколько секунд медсестра отозвалась.

– *What's the matter?* («В чем дело?»)

– *I dropped the bed-pan...* («Я уронил «судно»...»)

Мне показалось, она хмыкнула, во всяком случае, послышался не вполне внятный звук.

– *I called you twice and useless. Do you want to have a troubles?* («Я вызывал вас дважды и бесполезно. Вы хотите иметь неприятности?»)

Я начинал заводиться. Это служило своего рода компенсацией за переживаемый позор: лучше злиться на кого-то, нежели бессмысленно корить себя, тем более что злиться есть повод.

Через минуту медсестра вошла в палату. Я видел ее впервые.

– *My name is Alicia. I am a newcomer, this is my first duty. Sorry, that is not immediately responded – I helped another patient.* («Меня зовут Алисия. Я новенькая, это мое первое дежурство. Извините, что не откликнулась сразу – я помогала другому пациенту»).

Произнесла тираду она низким, почти грудным голосом (если бы это был певческий голос, то смело мог быть назван контральто, им обладают натуры порывистые и страстные, давно уже сделал я вывод, опираясь на собственный опыт). Голос вполне соответствовал ее облику. Я это понял, когда Алисия включила свет и я смог увидеть ее лицо. Секунда-другая понадобилась, чтобы понять: передо мной стояла смуглая красавица-латиноамериканка, жгучие краски будоражили, мой взгляд натывался на искрящийся огонь, как при сварке автогеном, смотреть было больно и взгляд непроизвольно прятался в ее спецодежде – хлопковых тонких синих плотно облегающих окатистую фигуру брюках с эластичным поясом со шнурком и рубашке с V-образным вырезом и короткими рукавами. Распущенные волосы лежали на груди и плечах, свиваясь в колечки. Она отсоединила меня от монитора и капельницы, попросила подняться, я выпростал ноги из одеяла и, стыдливо запахнув халат, встал и сделал три шага от кровати. Словно не мои, ноги плохо слушались, за три дня пребывания в госпитале я ослаб.

Алисия сдернула простыню и пододеяльник и бросила на пол. Развернув принесенный с собой комплект белья, она повернулась ко мне спиной и выгнулась над кроватью, застилая ее чистым. Этим должна заниматься санитарка, но то ли занята, то ли медсестра сознательно решила подменить ее, недвусмысленно подав мне знак – не стоит ревничать из-за ее молчания по call bell.

Передо мной открылось еще одно, может быть, главное достоинство фигуры медсестры. Я мигом забыл о конфузе, об унижительном состоянии, в котором пребывал, вновь чувствовал себя мужчиной, а не старым, ни на что не годным типом с непослушными пальцами; впрочем, наговаривал на себя – до болезни я еще кое-что мог, выглядел молодежавым, подтянутым, без следов пахоты на лице

в виде глубоких морщин, моих лет мне никто не давал, за исключением девицы с круглыми полными коленками, но об этом позже...; сейчас же и впрямь был достоин жалости, которая колола больнее и унижала еще сильнее, ибо исходила от женщины в самом соку, демонстрировавшей, сама того не желая, несокрушимое торжество плоти.

Три стремительных шага на обретших вмиг силу и гибкость ногах, нетерпеливые хищные пальцы цепляются в одежду медсестры, заголяют матовые полушария, он входит в нее неистово и зло, Алисия не пробует разогнуться, оказать сопротивление – лишь исторгает задышливо-хриплое: Oh dios, que estas haciendo?... («О боже, что вы делаете?»- исп.), бешеное соитие продолжается несколько коротких, как судорожные глотки, минут и завершается вспышкой молнии, электрическим разрядом, сладостным воплем павлина...

Искусительное наваждение исчезло столь же мгновенно, как и возникло, я стоял на дрожащих ногах-жердях и старался отвезти взор от будоражившей воображение округлой, словно вычерченной циркулем, задницы медсестры. Возможно, я непроизвольно выдал какое-то междометие или что-то промычал, Алисия, словно почувствовав мои потаенные переживания, безобманчивой интуицией приняла их на свой счет, и не меняя позы, повернула ко мне голову, убрав со лба колечки смоляных волос; зрачки-маслины отражали уже не жалость, а скорее недоумение и скрытое предположение: оказывается, этот злюка-пациент, едва не закативший скандал, похоже, еще в состоянии кое-что испытывать? Что ж, пускай смотрит, от нее не убудет, а старику приятно.

Она передала чистый халат, погасив перед уходом свет и пожелав приятного сна. Расстались мы вполне дружелюбно, гнев мой испарился, на прощание я спросил, замужем ли Алисия, оказалось, у нее двое детишек, муж – водитель автобуса, они из Коста-Рики, выиграли грин-карту в лотерею десять лет назад. В этот госпиталь перешла из другого, бруклинского, поскольку здесь зарплата выше. В свою очередь, из вежливости поинтересовалась, чем я занимаюсь в Америке, и подняла брови: журналист, писатель? Из России? С такими на работе прежде не сталкивалась...

2

Все мои неприятности начались с того момента, когда мне впервые уступили место в метро.

К такому странному умозаключению я пришел, анализируя медленно влекущимися госпитальными часами внезапно обрушившееся на меня, при этом вспоминая фразу князя Андрея: на свете есть два действительных несчастья – угрызение совести и болезнь. Касательно первого мог сказать, что оно нередко посещает и в том или ином виде находит отзвук в моих писаниях; а вот болезнь... болезнь совсем ни к чему, тем более внезапная, никак не ожидаемая и оттого посеявшая смятение и хаос в душе.

Я ехал из Квинса в Бруклин к заказчику очередной книги, которую должен был сочинить от его имени. Это отнюдь не выглядело потной и неблагодарной работой «негра»: выпустив за последние три года пару с лишним дюжин заказных книжек, я укрепился во мнении, что они нисколько не умаляют достоинство литератора, напротив, сплетенные в тугой узел, судьбы поражали жестокими реалиями существования, которые прежде не знал или знал недостаточно; я изучал выпавшее на долю моих соплеменников, перипетии прошлого касались выживания в условиях войн и всегдашней борьбы за существование – в назидание благополучным американским внукам и правнукам, ради и во имя которых, выполняя волю бабушек и дедушек, я и трудился, записывая и редактируя их воспоминания.

И вот, повторяю, я ехал в сабвэе, как зовется ньюйоркская подземка, из Квинса в Бруклин в утренний час пик, предстоял полуторачасовой путь с двумя пересадками. Сделав первую на Jackson Heights, я втиснулся в заполненный до отказа вагон с пластиковыми сиденьями, вагон обычно начинал пустеть после Манхэттена, а покамест я стоял, держась за поручни, пытаюсь занять мозги чем-то полезным, ну, скажем, размышлял над названием новой книжки воспоминаний моего доброго знакомого, девяностолетнего иммигранта-полковника, встретившего войну 22 июня и закончившего 9 мая. Таких из каждой сотни выжило только трое. Возможные названия варьировались от «Жизнь моя, иль ты приснилась мне...», «Перебирая годы поименно» и «Честь имею!» Мне больше нравилось третье, осталось убедить в этом автора.

Сабвэй роднил меня с четырьмя с половиной миллионами жителей города и окрестностей, ежедневно испытывающих собственное терпение в дальних поездках; как и я, они, по-видимому, недоумевают, каким образом метро-старичок с более чем вековой историей еще работает, без усталости мчись в тоннелях и на поверхности. Дети подземелья, сроднившиеся с ним, мы по большей части не завидуем игнорирующей сабвэй публике, предпочитающей простаивать в автомобильных «пробках», лишь бы миновать врата ада, коими считает метро; публика эта по-своему презирает нас-париев, кичится тем, что никогда, слышите – никогда! не спускалась в подземелье – не окуналась в станционную духоту, особенно жарким, влажным летом, когда майки и рубашки облегают тело, как липучки, не затыкали нос от соседства с бомжами, катящими свои тележки, доверху набитые скарбом бездомных, не приходили в ужас от мусора на путях между рельсами в виде пластиковых пакетов и пустых жестяных банок из-под кока-колы и пепси, где нет-нет и можно увидеть вездесущих крыс...

Ньюйоркский сабвэй – не для слабонервных, однако ж не все так скверно: в вагонах прохладно и даже холодно, всюду шпарят кондиционеры, летом там форменное спасение, народ вежливый, если вас нечаянно толкнут, непременно извинятся, от пассажиров не пахнет потом, ибо все пользуются дезодорантами (за исключением бомжей). Без сабвэя никогда не спящий город, прекрасная погибель, замрет и перестанет быть самим собой – городом-функцией, существующим хотя бы для того, чтобы понуждать многих людей безостановочно вертеться волчками и добиваться успеха там, где другие пасуют и отходят в сторону. Так я писал в одном из романов.

В феврале 96-го стихия бушевала весь месяц, по Манхэттену предпочитали передвигаться на лыжах, невиданные снегопады парализовали город, машины и автобусы правратились в обузу, и люди по городу шли пешком, оскальзывались, вязли в сугробах, неуклюже, как антарктические пингвины, переваливались на ходу. Перегруженное метро задыхалось, ходило с перебоями, но было живо, кровь пульсировала в нем, напрягая все жилы, и спасало, принимая тугие волны горожан. Порой кошмарное с виду, оно и город неразделимы, одно без другого не может существовать.

Я ненавижу сабвэй, где влекутся томительные часы моей жиз-

ни, и обожаю его, оно такое, какое есть, ничего подобного нет нигде. В переходах гремит джаз, бэнды собирают толпы поклонников; на станциях можно услышать молодых и пожилых умельцев, отбивающих ладонями ритм на доньшках перевернутых пластиковых ведер; в вагонах пассажиров развлекают певцы, гитаристы и аккордонисты-латиносы, иногда у вагонных дверей скромно устраивается девчушка в джинсах с дырками по моде и со скрипкой или бородач с саксофоном – это уже не новоиспеченные иммигранты, а свои, доморощенные, ньюйоркцы, и кто знает, может, девчушка учится в Джульярде, играет не ради денег, а токмо ради удовольствия, кто знает... По вагонам бродят полусумасшедшие проповедники, испытывающие нужду в общении с массаами, агитируют за Христа, Будду и за что-то еще, им одним ведомое; к нашему состраданию взывают сборщики средств для бездомных. Нет, в сабвэе никогда не бывает скучно...

В вагон влетает ватага гибких, мускулистых темнокожих парней и под магнитофонную кассету с рэпом начинают выделывать такое, что у пассажиров глаза на лоб лезут. Для разминки – подбрасывание бейсболки с ноги на плечо и на голову, ловко, изящно, бейсболка ни разу не падает на пол. Потом начинается главное действо: как заправские акробаты, парни крутят сальто в проходе, взлетают и цепляются ногами за поручни, повисая вниз головой, обвивают тонкую стальную, подпирающую потолок штангу, и используя, как шест, совершают немыслимые курбеты, которым позавидуют стриптизерши... Ни разу не видел, чтобы задела ногой или рукой кого-то из пассажиров, движения парней отточены и выверены. Им аплодируют и охотно подают – доллар, два, пять. Мастерство в сабвэе ценится не меньше, чем на поверхности, любительство не проходит.

В сабвэе лучше узнаешь душу города, пристрастия и привычки: здесь никто ни на кого не смотрит, у большинства в руках айфоны и айпэды, от них тянутся проводки с наушниками, гасящими посторонние звуки, от мала до велика сидят с закрытыми глазами и слушают музыку, в такт покачивая головами, или, уткнувшись в приборы, заняты играми; читающих книги все меньше – век духовной изоляции, торжества приманчивых железок, без которых уже не мыслят существования.

Но что я все об этом... Никто ни на кого не смотрит? Пялить

глаза – не принято? А я – смотрю, пялю, мне интересно, я всех вижу, а меня не видит никто. Вот и сейчас, держась за поручни в плотно населенном вагоне, смотрю с высоты своего роста на сидящую в полуметре светловолосую девушку, занятую своим мобильником, точнее, лицезрею ее коленки. Летняя жара диктует форму одежды – на девушке белая майка и такого же колера коротенькая юбка, обнажающая загорелые ноги. Взор мой упирается в коленки и замирает завороченный. Они полные и круглые, чашечки не выпирают, не морщятся складками кожи, натянутой, как на барабане. Острые, выпирающие коленки-камешки никогда мне не нравились, сейчас же люблюсь их прямой противоположностью и с удовольствием повторяю про себя где-то услышанный песенный мусор: *«подавали на губах сахарные пенки, открывали второпях круглые коленки...»* Я смотрю на них как на произведение искусства, без всякого вождения и греховных мыслей, вполне, впрочем, простительных для мужчины, перешедшего порог семидесяти и сохранившего определенный интерес к женщинам. И тут же в опровержение сказанного предательски выплывает давно где-то вычитанное и засевшее в подкорке – бич сочинителей, нередко теряющихся в определениях, собственные ли это образы, метафоры, сравнения, самими ли придуманы или чужие, заемные: *она развела колени как бабочка крылья...*

В это мгновение девушка подняла голову и наши взгляды встретились. Вовсе не думаю, что произошел процесс моментальной телепортации, мои мысли передались ей и каким-то образом задели, иначе пришлось бы признать свои особые магнетические способности, кои не существуют. Видимо, девушка уловила нечто такое, что никак не соответствовало моим эмоциям, поднялась и пригласила меня сесть на ее место. От неожиданности я забормотал невнятное, начал отказываться, девушка мило улыбнулась и вновь предложила сесть. Ее голос действовал на меня расслабляюще-парализующе, я чувствовал себя беззащитным кроликом и помимо воли сел.

Мы поменялись позами, теперь она, стройная, осанистая, выглядалась надо мной. Ее колени оказались почти на уровне моего лица. Смиренно-сокрушенно, я поглощал манящие округлости как *тот юнец, манерно-угловатый, таких колен влюбленный соглядатай...* Юнец... Издевательски смешно звучит. Ко мне вдруг прихлынули безотрадные мысли о неумолимо надвигающейся старости,

которую я не ощущаю, но которую отчетливо видят другие. *Я утром седину висков заметил и складок безусловность возле рта...* Я – не заметил, и что с того? Дожил, что красивые девушки уступают место в транспорте... Как на это реагировать: печалиться или принять как должное? Рано или поздно, это должно было случиться. И вот – случилось. В первый раз. Поздравляю...

Девушка была погружена в свой айфон, не смотрела на меня, я ее нисколько не интересовал, она слушала музыку через наушники, и ноги ее в такт мелодии слегка подрагивали, казалось, по коже, как по воде, идет еле заметная рябь. Я смотрел на нее, чуть приподняв голову, любовался ее милым личиком, на котором выделялась крохотная родинка, мушка над верхней губой справа, делавшая ее похожей на Майю Плисецкую, Синди Кроуфорд и Еву Мендес...

Следующая остановка – West 4, где я привычно пересаживаюсь на поезд В, следующий в Бруклин. Я встаю, с сожалением говорю девушке: «До свидания» (она, судя по всему, едет дальше) и подхожу к двери. В стекле отражается моя физиономия. Смотреть на себя неприятно. Да, в старости человек получает то лицо, которого он заслуживает, беззвучно произношу и непроизвольно вздыхаю.

Вернувшись домой в тот день, когда мне впервые уступили место в саввэе, за ужином я по обыкновению перебирал в памяти подробности дня, словно перемывал породу, задерживая в мелких ячейках сита существенное, видел налитую соком молодости светло-волосую девушку, гладил вожделенным взглядом полные круглые колени, и в этот момент что-то в животе заныло, несильно так, но противно, боль шла справа, где печень, по ощущениям, ныло и жало ниже. Я попил минеральной воды, боль не унималась, стала даже чуть сильнее. Через минут пятнадцать боль, прячась в подвздошной области, начала слабеть, пока вовсе не утихла.

Так прозвенел первый звоночек, о чем я догадался позднее.

3

Сон вспорхнул, как птица с ветки, и растворился в пространстве. Из гостиной доносились мерные металлические удары, отвратительный скрежет и скрип, будто кто-то сознательно и беспардонно вспарывал ночную тишину. Впрочем, сон прервали не странные

пугающие звуки некоего вторжения – пребывающий в этой обители привык к ним, его барабанные перепонки обычно не реагировали на проделки отопительной системы многоквартирного нью-йоркского дома, а это были именно проделки, или, с тем же правом можно сказать, гнусные, мерзкие издевки.

В жилищах отсутствовали привычные ребристые радиаторы, кипятилок из котлов под давлением расходился по трубам, расползшимся по внутренностям кирпичных стен, и с тихим змеиным шипением выходил теплым воздухом сквозь узкие пазы решеток под окнами в каждой комнате; если прислушаться, возникала иллюзия плотной ровной стены шумящего снаружи дождя. Так происходило ночью раз в два часа. В спальне и кабинете шипение каждый раз длилось минут пять, не более, зато в гостиной обжигаемые кипятком трубы, прежде чем отдать тепло, мучились, словно под пыткой, нутряно стонали, корчась в муках и негодуя. У некоторых соседей происходило похожее, жаловались суперинтенданту дома, приходили ремонтники, все без толку – в квартирах с ноября по апрель поселялся подлец и истязатель, громогласный домовый, призрак, дух – *гоуст*, по-здешнему, которому доставляло безумное удовольствие играть на нервах.

Одна из пакостных *шалостей* сложенных из красного кирпича жилых строений семидесятилетней давности, а то и старше, где арендуют квартиры не столь имущие ньюйоркцы, не готовые разориться на покупку кооперативов или кондо, впрочем, и там вполне могут присутствовать те самые гоусты; но, в сущности, жизнь в них вполне приемлема, во всяком случае, горячую воду на лето не отключают, подъезды не разрисовывают, не бьет в ноздри запах кошачьих и человеческих испражнениями, если, конечно, немилостивая судьба не загнала вас в вонючие криминальные *проджекты* – жилища для совсем бедных соответствующего цвета кожи. Можно считать вполне сносным ваше существование и получать удовольствие, живя по правилам игры никогда не спящего города, вечно спешащего, загоняющего тебя в клетку с беличьим колесом, когда нет иного выхода, как мчаться по кругу, зная, в отличие от белки, что никуда не умчишься и ни от кого не скроешься; города бесконечного, беспечного, неряшливого, игриво-легкомысленного, отчаянного, задумчивого, великодушного, интимного, бурлескного, изумительно

красивого – при виде с Променада на темные силуэты небоскребов Манхэттена на противоположном берегу Ист-Ривер закипает слеза восторга, никак не могу привыкнуть, хотя смотрю на это диво бесчисленное количество раз; в одном своем романе, который меня чуть не угробил – редатируя толстенную, раздувшуюся боками, словно перекормленный боров, газету, еженедельно обрушивающую на читателей четыреста страниц рекламы вперемежку с незатейливыми, выдернутыми из интернета и из московских глянцевого журналов статейками, я, прилепившись к стулу, вечерами и ночами сочинял текст опрошлой московской жизни, вновь отчаянно, мазохистски мучил себя воспоминаниями – и едва не домучил до тяжелого инфаркта, отдав тело на растерзание эскулапам, охладившим мое сердце, чтобы все процессы жизненные замерли и ни на что не реагировали, разрезавшим грудину пилой – как цыпленка табака, готового к изжарке, Бродский, правда, другой образ дал: вскрывают грудь, будто капот авто – и поставившим в артерии три маленьких обводных канальчика-шунта, спася и продлив мне жизнь, как получается, на долгие годы; так вот, в первый раз заворожено глаза с Променада на небоскребы в половине второго ночи, я видел театральную декорацию, бутафорию из фанеры и папье-маше, в них не ощущалось дневного размаха, мощи и величия, они засыпали, по-родственному перешептывались, делились чем-то своим, на бесчисленных этажах кой-где перемигивались огни, манили, зачаровывали, рождали магию чего-то необъяснимо прекрасного и загадочного; небоскребы выглядели пришельцами из звездных миров, совершившими короткую остановку на приглянувшемся им острове и готовыми в любой момент воспарить и раствориться в галактической мгле... Но было в этой картине и нечто пугающее, зловещее. Намек, предсказание, предзнаменование. Чего? Я не знал. *Мегаполис, в дневное время больше похожий на людской муравейник, на черном бархате ночи обретал поистине апокалиптические черты Армагеддона, города последней битвы.*

Но часто, следуя в поздний час в метро домой, я видел с моста через реку уже других пришельцев – они светились и переливались огнями, завораживали, как Гулливер-гипнотизер, разрушая магию ночи; иногда я спрашивал себя: зачем, по какой причине жжется столько света, пришельцы могут уходить в ночь и в темноте, даже

лучше в темноте, бдящий их чуткий сон, да и экономия электричества огромная... – причина, оказывается, существовала и связана была с перелетными птицами: свет служил им ориентиром для облета, иначе в темноте могли разбиться... *Начала и концы там жизнь от взора прячет. Покойник там незрим, как тот, кто только зачат. Иначе среди птиц. Но птицы мало значат.* Ту страну я покинул, и вот уже двадцать с лишком лет обретаюсь там, где птицы что-то значат.

Что самое лучшее в сумасшедшем городе? Возможность из него уехать. Только мало кто уезжает, потому что от жизни в тиши и благодати медленно сходишь с ума. Вы не задумывались, почему в школах, колледжах, кинотеатрах и супермаркетах города не стреляют, уволенные не приходят с полуавтоматическими винтовками под поллой мстить ненавистным начальникам, и вообще, нет массовых убийств? Ужас 9/11 не в счет, там совсем иное. Я задумался и пришел к странному ненаучному выводу: в каждодневном ньюйоркском мельтешении, стоянии в «пробках», поиске парковок, во всей круговерти урбанистического безумия нервы тратятся куда больше, чем в тихом захолустье, и злобы и ненависти уже больше ни что не остается.

Я лежал на спине с закрытыми глазами, скрежет стих, шипение плавно угасло, словно пресмыкающиеся уползли в потаенное логово, воцарившаяся тишина побуждала повернуться на бок и сладко засопеть. Со сном, несмотря на возраст, у меня нет проблем, напротив, ночью я, так мне кажется, продолжаю жить насыщенно и эмоционально-изошренно, ночные фантазмагории (а иными они не могут быть) нередко отчетливо помнятся, могу пересказать их во всех подробностях. Удивительно, но происходит именно так. Сейчас же скрытая тревога мешала погрузиться в привычное состояние. Мозг пребывал в отключке, сумеречное сознание не выдавало четкий и ясный ответ, по поводу чего явственно возникла тревога. Бывает, замлеет, если отлежать ее, кисть, словно нет пальцев, их не чувствуешь – поменяешь позу и со слабым покалыванием, сродни комариным укусам, кровь начнет поступать в сосуды, пальцы начнут оживать, пока не приобретут прежнюю гибкость и подвижность. Сейчас вяло-беспомощные нейроны гиппокампа тоже замлели и не реагировали на команду – *вспомнить*.

А вспомнить я не мог... о ужас! – вспомнить не мог имя человека, уже без малого сотню лет влияющего, прямо и опосредованно, на литературу, притом все, что в мире писалось и пишется, в той или иной степени вытекает из его главной книги. Перед самым пробуждением, собственно, и спровоцированным тревожным смятением, вдруг пришло это *невспоминание*, и сна как не бывало. Боже, что со мной, неужто начало того, о чем страшно подумать? И раньше, случалось, забывал имена, скажем, русских и голливудских актеров, режиссеров, напрягался и через короткое время мозг услужливо подсказывал. Но вот уже с полчаса тщусь заставить память отдать требуемое имя, а та ни в какую.

Самая большая блядь – это твоя память, она изменяет тебе на каждом шагу.

Светлячками роилось разрозненное, не раз читанное и хорошо запомнившееся (значит, не совсем дырявое решето ношу): глаза-плошки под круглыми очочками, щепотка усов, выпивоха и завсегдатай дублинских борделей, родился в четверг и вполне оправдал ирландскую песенку: «Thursday's child has far to go» – «*четверговое дитя далеко пойдет шутя*», 16 июня девятьсот четвертого, тоже в четверг, встретил гостиничную горничную Нору Барнакл и обесмертил потом этот день, названный его почитателями Bloomsday, заключил с «прилипалой» (barnacle по-английски - прилипала) брак только спустя двадцать с лишним лет, прижив с ней двоих детей и оставив потомкам письменные свидетельства, что так хорошо в постели, как с ней, ему не было ни с кем (не стеснялся в письмах к Норе, сладкоглазой испорченной школьнице, чудесному дикому цветку на изгороди, описывать свое звериное, яростное вожделение, испытываемое к каждой потайной и стыдной части ее тела, ко всем его запахам и отправлениям), Нора не прочитала ни одной его книги, но разве это обстоятельство имело какое-то значение, между ним и женой не было никакого средостения; запечатлевший на тысяче страниц один день дублинского еврея, мелкого рекламного агента Блума – да-да, то самое 16 июня – «в Ирландии нет антисемитизма, потому что нет евреев», но один все-таки нашелся.

Но как же зовут автора... Джон, Джозеф, Джим, Джошуа? Нет, не то. Можно сойти с ума.

Спальня потихоньку набиралась мглистого, тусклого, оробело-

го утреннего декабрьского света. Я никогда не пользовался подсказкой будильника, во мне постоянно жило нутряное чувство времени, безошибочно определял часы и минуты дня, словно пробуя их, как слепой, на ощупь, и разница с реальным временем оказывалась ничтожной. Семь ноль пять, машинально отметил про себя, сел на кровать, помедлил мгновение, собираясь с силами, выпростал ноги из-под клетчатого пледа, рывком поднял длинное плоское пока еще послушное тело, вдел ступни в шлепанцы и проследовал в ванную. Спешить нет нужды, праздник – у католиков Рождество, а вместе с ними отдыхают и многие прочие, новое, третье по счету, издание, которое я редактирую, не работает и я избавлен от необходимости тащиться на сабвэе в Манхэттен.

В овальном пластиковом багете зеркала на меня глазел заспаный тип с белой однодневной щетиной, упавшем на лоб клоком пепельно-серых волос, который, если его уложить на место, не покрывает череп, оставляя плешь-прогал; оврагов, ям и борозд на лице, правда, почти не было, кожа возле губ не одрябла, щеки не обвисли брылями, однако это никак не составляло предмета гордости на общем фоне отечности под глазами и коричневых пигментных пятнышек, начавших выступать на лбу, выдавая возраст. *Старая облезлая собака*, без горечи и сожаления, просто как очевидный факт, отметил я. В таком возрасте в зеркале видишь лишь гримасы времени. Едва подумал об этом, в мозгу что-то внезапно включилось, будто кто-то вдел в розетку выдернутый ночью шнур и токи возбуждали дремлющие праздные нейроны. *Зеркала и совокупление отвратительны, ибо умножают количество людей*. Это – Борхес, едва не воскликнул, радуясь внезапному озарению. А еще жалуешься на потерю памяти...

Но как же все-таки зовут писателя... Мало кто может похвастать, что осилил «Улисса» с первой попытки, я сам с третьего раза, но все равно – гений, потому что первый сделал форму содержания, а содержание растворил в форме. Часто поминают гоголевскую «Шинель», из нее, мол, вся русская литература вышла, а из «Улисса» – мировая, в том и разница. Проклятье, маразм, предзнаменование болезни – забыть такое имя. «Внучек, как зовут того немца, от которого я без ума? – Альцгеймер, бабушка...» – вспомнил анекдот. С другой стороны, чего переживать? Подойти к компьютеру, нажать

клавиши – и вот тебе ответ преподнесен. Железка выручит. А сам, значит, бессилен? Напрягись, заставь шарики вертеться, избавь себя от позорища, хотя какое позорище – просто близящаяся старость и ничего более, семьдесят с лишком как-никак.

Старая облезлая собака, беззлобно, скорее по привычке, вновь обозвал я себя, снял трусы и шагнул в ванную. Горячие струи обдали тело, вогнав в вожденную дрожь сродни оргазмической, вода по обыкновению рождала во мне греховные мысли, являлась побудительным мотивом эротических видений, вот и сейчас помимо себя переключился с безуспешных попыток *вспомнить* совсем на иное – завтра приедет Ася и он снова восхитится ее прелестями, когда повернет ее к себе спиной, наклонит и задница в духе Ботеро откроется во всей дивной, непревзойденной, бесподобной красоте. Врут мужики, утверждая, что любят сухое вино и худых женщин, на самом деле они любят пиво и толстущек. Я был потрясен, увидев задницы Ботеро, не помню в какой галерее Нью-Йорка, лет десять назад. Мерило божественной красоты, плод потаенных мужских фантазий, огромные безразмерные задницы блистали, сверкали, угнетали, подавляли, манили, дразнили с холстов, упиваясь безраздельной силой и мощью. Асина задница вычерчена циркулем: опорный стержень с иглой на конце вставлен в то самое место, другой – чертежный, с грифелем, вывел идеальную окружность.

До дрожи и отвращения к *дурилаку на плечах*, я тем не менее часто воспроизводил про себя не единожды читанное, и потому оживить еще раз не составило труда: как *невспоминаемый* им исповедовался в письме все той же женушке в любви, рисуя желанную картину: повалить на мягкий живот и отодрать сзади, как хряк свиноматку, при этом упиваясь едким и сладким запашком, исходящим от ее зада; кажется, он воспроизводит точно – такое бесстыдно-беззастенчивое можно адресовать только совершенно, всеми фибрами души преданному и близкому человеку, при одном твоём имени трепещущему, растворяемому в тебе без остатка, как азот в воде. *Невспоминаемый* и его Нора были в этом отношении счастливыми людьми. Ася – из породы таких женщин, хотя и не жена мне вовсе, у нее свой муж. Она приезжает раз в неделю из Лонг-Айленда, где живет и работает в страховой кампании, иногда простаивает в «пробках», дорога в один конец занимает часа полтора, а то и боль-

ше. В постели она бесподобна, у нее нет нелюбимых поз, но коленно-локтевая... О, это блаженство высшего порядка – и для нее, и для него. *Старая облезлая собака* творит чудеса при виде пухлых, идеально вычерченных, все еще плотных, упругих, несмотря на Асин постбальзаковский возраст, ягодиц. Невысокая, плотно сбитая Ася забирается на постель коленками, выгибается кошкой, выставив перед собой руки, от этой позы он форменным образом балдеет: ее ягодицы в притемненном пространстве (оба не любят яркий свет во время секса) отливают лимонно-лунным светом, и кажется, Селена перекочевала в эти минуты к ним в спальню. Асины пальцы сжимают и царапают простыню, стоны непрекращающихся оргазмов окатывают спальню подобно водопаду, ягодицы входят в резонанс с движениями пениса, приближая уже его апофеоз – маленькую смерть.

Муж, по Асиным признаниям, обожает ее, он как мужик в порядке, к тому же в подмогу берется вибратор, так что удовольствиями отнюдь не обделена. «Зачем ты приезжаешь ко мне? Я далеко не молод, любовник не самый внимательный, мы редко ходим куда-то вместе – нет времени, на кой черт я тебе нужен?» – «Не знаю... Я думаю о тебе каждый день. Может быть, это то, что называется любовью?» Может быть. Ася напоминает мне скрипку, на инструменте надо играть достаточно часто, иначе струны перестанут чувствовать смычок, она охотно предоставляет возможность играть на скрипке мастерам, способным извлекать волшебные звуки, и никому другому. Волей случая я причислен к ним, заслуженно или нет, другой вопрос, наверное, какие-то основания для этого имелись, льщу себе, иначе не видать мне божественной Асиной задницы как своих ушей. В момент соития бледно-светящаяся, фосфоресцирующая в полутьме поверхность ягодиц подрагивает в такт маятниковым движениям, я трепетно глажу кожу, нежно пощипываю, кожа гладкая и чистая, без единого пупырышка, я чувствую это кончиками пальцев и ладонями, маятник то раскачивается, убыстряя амплитуду, то замедляет движения, ягодицы чутко реагируют, подрагиваниями дают понять, какой темп в данный миг уместен, я следую их безмолвным указаниям, и эндорфины – гонцы наслаждения, гормоны мгновенного счастья – уже спешат пронзить все мое естество...

Перешагиваю бортик ванной, встаю на заранее посланный на

холодный кафель коврик, обтираю порозовевшее тело махровым полотенцем, будоражащие видения покидают, и откуда-то издалека, словно само собой разумеющееся, приплывает утраченное во сне и мучительно вспоминаемое все утро. Джеймс. Ну, конечно, Джеймс, и тут же вмиг ставшая покладисто-услужливой память выталкивает – Джойс. А я-то мучился, напрягался, казнил себя... JJ. Так впредь будет легче запомнить, не потерять в закоулках гиппокампа...

4

Прошла зима, бесснежная, с ветрами и без морозов, какая часто бывает в Нью-Йорке, моя очередная иммигрантская зима, поразившая тем, что на Рождество, похоже, в то самое утро, когда я безуспешно боролся с выкрутасами памяти, зацвели подснежники. Обычно это происходит двумя с половиной месяцами позже – в марте. На воспетых Ленноном «Земляничных полянах» Центрального парка забелел ковер. А весна выдалась такой, какой ей и надлежит быть в этом ни на что не похожем городе, где становятся реальностью самые дикие и безумные идеи, – короткой, невнятной, словно и не весной даже, имеющей единственный признак смены времен года – обилие распускающихся, в отличие от подснежников в положенное им время, цветов. Город опушился нежно-розовой, малиново-пурпурной, золотисто-оранжевой благоухающей магнолией с бутонами, похожими на изящные бокалы с шишковидными пестиками внутри; цвела белая и розовая сакура, в разных уголках – не только в парках и ботанических садах, но и за оградами частных домов и близ многоэтажных жилых строений – появлялись орхидеи, тюльпаны, нарциссы, гиацинты. Каменные джунгли расцвечивались яркими красками оранжерей.

Минул апрель, наступила середина мая и грянула жара за семьдесят фаренгейтных градусов, пролились дожди, установилась летняя влажная погода, когда потеешь, как в турецком хаммаме.

В один из воскресных дней я приехал в Фэйрлоун в гости к Роберту. Близлежащий к Манхэттену район Нью-Джерси уже давно облюбовали русские, всей езды на машине через мост Джорджа Вашингтона над Гудзоном было минут двадцать. Я же, за неимением машины, добирался на автобусе больше часа. Роберт, кроме меня, пригласил чету Янсонсов с двумя детьми-погодками, мальчиком и

девочкой. они резвились на открытом воздухе, женщины хлопотали по хозяйству, готовя обед, а мы сидели на порче, в пяти метрах от которого беззвучно и незаметно протекал крохотный ручеек, обрамленный кустарником и деревьями. Порч – открытая деревянная веранда сзади таун-хауса – создавал иллюзию сельской идиллии. *Alabama porch monkey* («Алабамская обезьяна на крыльце») – выплыло когда-то услышанное, я повторил про себя небезопасное словосочетание, грозившее большими неприятностями тому, кто осмелится произнести вслух в присутствии темнокожего; звучало оскорбительно, примерно как *жидовская морда*. Почему-то упоминание порча – porch всегда вызывало у меня потребность повторить, просто так, упаси бог, без всякой задней мысли или умысла, про алабамскую обезьяну, облюбовавшую веранду. Так иногда бывает: дурацкое засядет в мозгу и не вышибешь при всем желании.

Мы потягивали пиво и трепались на книжные темы. О чем еще могут говорить в расслабленном состоянии трое людей, называющих себя литераторами. Ну, не вечно же о бабах..., тем более, что жены крутятся рядом, это я – разведенный и не жаждущий снова надеть хомут, а двое моих друзей – семейные, у Вадима дети-подростки, у Роберта уже и внуки. Впрочем, не возбраняется и о бабах, но сейчас разговор вился, причудливо петляя, убегая с магистралей в узкие улочки и переулки, совсем о другом.

Роберт изъяснялся в своей излюбленной манере: цедил слова, небрежно острил, делал вид, что обсуждаемый вопрос его нисколько не интересует, не задевает, и вдруг ни с того ни с сего взрывался, начинал яриться, наскокивать на воображаемого противника, хотя никто из нас ему особо не оппонировал; заводя себя и захлебываясь словами, он на мгновение прикрывал глаза и задира голову, как молящийся в экстазе, бритый череп с остатками волос по краям покрывался потом, он утирал его салфеткой; Вадим – крупный, грузный, похожий на бизона, немного вальяжный, с щеткой седых волос на крупной шаровидной голове и усами *a ля Джон Болтон*, не ввязывался в полемику, парировал наскоки точными, логически выстроенными фразами, словно выпадами на рапире, но нет-нет и сворачивал с главной колеи, и тогда начиналось представление, театр одного актера, монолог с копированием лиц, манер, голосов, интонаций незнакомых нам людей, которые открывались всеми

своими неподражаемыми чертами. Мы хохотали, монолог ни в коем случае не хотелось прерывать, и даже разгоряченный хозяин порча умолкал и слушал.

Я любил Роберта, мы были единомышленники, хотя я отнюдь не ярко выраженный демократ и поклонник Обамы, как он; в Москве сотрудник научно-популярного журнала, здесь, в Штатах, быстро осознал: пером иммигрант много не заработает, и предпочел выучиться, как и жена, на программиста. При этом написал несколько неплохих научно-фантастических романов и издал их в Москве, получив гонорар в виде кошковых слез, впрочем, не переживал по этому поводу – его и жены заработков хватало на небогатую, но вполне достойную жизнь, включая уже выплаченный таун-хаус и две машины. Вадим, напротив, являл пример невероятной и мало кому доступной в подражании жизни, построенной на отчасти бесшабашной, победительной уверенности, что любые невзгоды можно преодолеть, если знаешь, чего хочешь, имеешь твердый характер и немного удачи. Внук погибшего при штурме Перекопа латышского стрелка, славянин по матери, он работал в рижской русской газете. Женившись на москвичке, перебрался в столицу и устроился редактором в отдел прозы одного из издательств, выпустил под эгидой издательства сборник рассказов и повесть. По приезде в Америку, получив первые гонорары как фрилансер в «Новом Русском Слове» и на «Свободе», понял – на это не просуществуешь – и занялся бизнесом с Россией. На этом поприще, как ни удивительно, гуманитарий достиг немало, создал торговую компанию с миллионными оборотами. Конечно, рисковал, однажды на подмосковном шоссе пережил кошмарные минуты под дулом автомата и чудом остался жив. Такая неустойчивая жизнь – пребывание на палубе при сильной качке – по плечу лишь сильным и немного отчаянным натурам. Мне самому это несвойственно – не знаю, печалиться ли по сему поводу или радоваться, что избрал куда более спокойную форму существования.

В середине двухтысячных, уже при новой власти, на компанию, как следовало ожидать, был совершен рейдерский наезд, с помощью ментовской «крыши» удалось отбиться, и Вадим, проанализировав российскую обстановку, решил распрощаться с бизнесом. Сумел выгодно продать компанию, избавился от недвижимости, которая еще была в Москве в большой цене, и зажил в Нью-Йорке на нема-

лые сбережения. Его тянула литература, он много писал, ему было что поведать о жизни, открывшейся разными сторонами, однако печататься особо не спешил. Женатый вторым браком на русской много его моложе, он был счастлив.

Вадим был самобытен, ярок, умен и доброжелателен – редкое сочетание в среде иммигрантского обитания. Начитанность его поражала. Я питал к нему особую приязнь, мы были, кажется, интересны друг другу, тем не менее, оставались на «вы» – ни я, ни он не переходили в отношениях некую условную грань, как бритва, отрезающую любую возможность, хоть и в малой степени, развязности, панибратства или, куда хуже, амикошонства.

Роберт обычно начинал разговор спокойно, даже вяловато, без особого энтузиазма, как бы нехотя, словно по инерции, и вдруг воспламенялся, предпочтя плавному течению беседы огонь костра с треском горящих сучьев и веток, разбрасывающих искры и жгучие брызги. На этот раз избрал немного выпренный, доверительно-наставительный тон.

– Не кажется ли тебе, Даня (меня он не называл полным именем, данным при рождении – Даниил, а только уменьшительно-ласкательно – Даня), не кажется ли тебе, что мы все, пишущая по-русски в Америке братия, своего рода уходящие натуры? Кого здесь интересуют наши книги?! Тиражи мизерные, покупают преимущественно старики, ну, кое-кто среднего возраста, а молодежи мы и нафиг не нужны – читают на английском, если вообще читают, и то на своих планшетах. Страсть пошелестеть страничками, запах краски вдохнуть – былая роскошь, нынче насовсем утерянная... Ты в метро едешь, многие там книги в руках держат? Я хоть и не езжу, последний раз лет пятнадцать назад был, а уверен – единицы.

– Положим, мои романы, как и твои, в основном в России издаются, не в Штатах...

– Ну и что? За твоими романами очередь выстраивается? Ты серьезные вещи пишешь, рецензии хорошие, правда, редкие, рецензентам тамошним платить надо, чтоб откликнулись, а ты принципиально не платишь, и я не плачу, поэтому кто нас читает...

– Рецензентам? А издателям? Норовят три шкуры с автора содрать, за его счет публиковать. Особенно с нас дерут – америкосы,

они богатые... Риска никакого, а прибыль какая-никакая есть. Обещают распространять наши книжки, естественно, врут или не занимаются этим всерьез.

– Между прочим, некто Коровьев резонно заметил: люди ни в какой литературе не нуждаются. Им развлекалово подавай, что в глянце, что «по ящику», – заметил Вадим. – Не все однако так мрачно. Недавно в Москве побывал, походил по магазинам, пригляделся: народ все-таки читает, весьма избирательно. Есть и хорошие, серьезные книжки, но мало их...

– А что с романом твоим? Как опыт издания на родине-матушке? Первый блин комом или..?

– Все, Роберт, как положено: обед с редактором в дорожном ресторане, две встречи с читателями. Стоило мне это издание пару тысяч, зеленых, разумеется. Говорят, неплохо продается, хотя кто это знает, проверить невозможно. Вернуть и половину денег не удастся. Ну да бог с ними...

Разговор напоминал прыжки кузнечика: с литературы переходили на политику, не давали покоя выборы с внезапным появлением нового президента, коего никто в расчет не принимал, а он возьми да займи Белый дом. Об этом толковали, спорили с пеной у рта, ярились везде и всюду, доходило до скандалов, друзья расставались с друзьями, мужья едва не разводились с женами – народ ополоумел, с глузду съехал. Роберт неистовствовал, ему – ярому демократу это было как серпом по чувствительному мужскому предмету, он негодовал по поводу российского вмешательства в выборы, которое обозначалось все резче.

Вадим реагировал по-своему: наконец-то нашелся человек, смело говорящий правду. «Я думал, таковых в Америке нет, однако нашелся Трамп. Он победил и я рад... Штаб Клинтон в пяти минутах ходьбы от моего дома, когда стало ясно, что Хиллари проиграла, люди из штаба высыпали на улицы, в том числе на мою, многие рыдали, запах марихуаны преследовал всюду, не продохнуть...» И добавил, видя скривившуюся физиономию Роберта: «Трамп – не политик в устоявшемся смысле слова, я думаю, он как бизнесмен твердо будет стоять на выполнении своих обещаний. В бизнесе ведь как: ты можешь обмануть один раз, ну, дважды, но потом от тебя отвернутся, никто к тебе не пойдет... Другое дело, может не получиться. За

это никто не осудит. Но законы бизнеса, скажем, во внешней политике, срабатывают наполовину, не более...»

Я же считал, что не Трамп выиграл, а Хиллари проиграла – с ее фальшивой улыбкой, самомнением, абсолютной уверенностью в успехе и просчетами в оценке избирателей: оказывается, в глубинной Америке охотно верят популистам и демагогам...

В общем, ни до чего не dospорили, каждый при своем остался, и незаметно перепрыгнули опять на литературу. Я вдруг вспомнил, как боролся с гримасой памяти, предательски потеряв имя Джойса. Друзья посмеялись, посочувствовали – с каждым может такое случиться.

– Вот все говорят: великий писатель, роман – вершина модернизма и прочее, – я опустошил очередную бутылку Stella Artois и закурил шпротинкой. – Не спорю, великий, замахнуться на тысячу страниц описания одного дня Блума надо быть или сумасшедшим, или, действительно, гением. Но скажите мне, братцы, что нового он открыл в человеке, чего мы прежде не знали или лишь догадывались? Ничего. Ничего не открыл. В этом смысле Толстой и Достоевский куда выше.

– У него цели такой не было, – заспорил Роберт и закатил глаза. – Он пути развития мировой прозы указал. Все серьезное, значимое, что потом писалось и издавалось на Западе, джойсовским лекалам следовало.

– Касательно формы – да. А по части открытия человека – Даня прав, я с ним согласен, – поддержал меня Вадим.

– А вот в России никаким Джойсом и не пахло, никто не пытался писать, как ты, Роберт, изволил выразиться, по его лекалам, – ввернул я.

– Даня, дорогой, у нас свой Джойс был, хотя ни на что не претендовал, и не печатали его по иным причинам.

– Кто же? Почему не знаю? – я соорил соответствующую гримасу.

– Знаешь, не придуривайся. Платонов. Не было и нет ему равных...

– Между прочим, Бродский Платонова ставил в один ряд с Джойсом, а кое-кто сравнивал с Ионеско и Беккетом. То есть с классиками абсурдизма, – напомнил Вадим.

– На счет абсурда еще поговорим, да? Мне странная мысль пришла, – я налил пива, держа бокал под углом, чтобы не было пены – в отличие от друзей, пил не из бутылки – старая московская привычка. – Что для писателя самое важное? Ну, понятно, талант, чувство языка, глубина постижения реалий жизни и тэ дэ. А еще что?

– Этого достаточно, – усмехнулся Роберт.

– Нет, недостаточно. Надобна еще хитрость. Или, если угодно, ловкость

– Это как понять?

– Очень просто. Когда я в университете учился, в нашей группе один парень был, Эдик, Эдуард Иванович, с долгим еврейским носом, но «Иванович», поскольку отец – русский, кажется, погиб на фронте. Эдик курьером в «Новом мире» работал. Так вот, он нас в редакцию заводил поздно вечером, доставал из сейфа рукописи и кое-что мы коллективно читали, иногда до полночи. Рукописи на гулаговскую тему. Запомнил рассказ Ерашова, был такой калининградский писатель, «Комкор Пронин» назывался. Главного героя арестовывают и расстреливают. Заканчивался рассказ так: «И в этот момент у комкора Пронина родился сын...» Таких рукописей в портфеле редакционном уйма была. Твардовский не давал им ход, ждал чего-то особенного, из ряда вон выходящего. И дождался. Кстати, про Солженицына Эдик нам ни слова, ни полслова, а рукопись «Одного дня» уже лежала в сейфе... «Колымские рассказы» ни в чем не уступали, Шаламов по таланту выше, мне кажется, но... Солженицын хитрее. Ловчее. Надо было додуматься описать один *счастливый день* сталинского зэка, да еще вкрасить страницы про ударный труд каменщика Ивана Денисовича! Никита усерался от радости, тыкал Суслову в нос эти страницы при обсуждении, печатать или похерить: «Вот ведь каков советский человек: в лагере сидит безвинно, а работает с энтузиазмом, получает удовольствие от труда...» Сцена эта, похоже, судьбу повести решила – и проснулся Александр Исаевич знаменитым...

– Хочешь сказать – он свою вещь *приспособил* к публикации, прекрасно понимая, что в ином виде она света не увидит, – уточнил Вадим и погладил усы.

– Именно так. Изъял наиболее острые места, через цензуру заведомо не проханже. И ничего в этом зазорного нет – напротив...

– Откуда известно про изъятие?

– Не секрет. Писали потом об этом.

– Хитрость, говорите..., – Вадим меланхолически бросил в рот соленые орешки, слегка головой покачал и губами неопределенное движение сделал, вроде как засомневался. – Сдается мне, не в хитрости, как ее обычно понимают, дело. Я часто о судьбе его задумывался, о фатуме, выпавшем жребии. Желаящего судьба ведет, нежелающего – тащит. Его судьба вела. Вы меня сейчас начнете в конспирологии уличать, но я вам, братцы, вот что скажу: он заранее тернистый путь избрал, определил величие замысла, как иногда говорят. Что имею в виду? Вот слушайте. Пишет с фронта старому другу про Пахана, то есть, про Сталина, кроет его на чем свет стоит, намекает на желание создать после войны организацию для восстановления ленинских норм... Верил тогда в нормы эти... Знает, что письма перлюстрируют, что попадет оно в руки смершевцев – и отчаянно идет на это. К стенке за такие письма поставить могли запросто, а ему восемь лет отмерили – детский срок по тому времени. Зачем, спрашивается, рисковал по-глупому? О друге, которого подставил, вообще умолчу. А потому подвел себя под арест, что в душе примерял судьбу великого писателя и захотел быть там, где народ сидел, – в лагере. Сам потом жене говорил, что арест считает благом, без этого не стал бы тем, кем страстно хотел быть. Идем дальше. Мог попасть, как тот же Шаламов, на Колыму и кончился бы там, а попал вначале на стройку домов в Москве, потом в шарашку и только треть срока – на общих работах в лагере, где до бригадира дорос. Далее. Заболел раком и чудодейственно выжил без последствий. Лубянцы его ядом травили – любой бы загнулся, он опять выжил. Решается в верхах, сажать его и отправить в Верхоянск на верную гибель или выслать из страны, Андропов убеждает, что высылка лучше посадки: на Западе он быстро сдуется. И, сам того не желая, спасает его. Ну, разве не перст Божий?! Однажды написал Исаич, что каждый человек должен разгадать шифр небес о себе. Он – разгадал.

– Ты к тому клонишь, что он – убежденный фаталист, верит в божий промысел относительно себя? – Роберт произнес с нажимом, многозначительно.

– Да, именно так. Отсюда и хитрость, ловкость, как Даня утверждает. А, по-моему, стремление любой ценой осуществить

предначертанное судьбой, фатумом. Он смел и упрям, невероятно упорен в осуществлении задуманного, сметает все препятствия. Надо обхитрить Никиту и цензуру – он еще десять эпизодов доблестного труда на лагерной стройке придумает или нечто подобное, лишь бы брешь запретов пробить и выйти к читателям.

– А может, прав Андропов и Солженицын на Западе действительно сдулся? – я поднялся размять замлевшие ноги. – Что подсказал Александру Исаевичу шифр небес? Обнести забором усадьбу в Вермонте и вызвать оторопь местных жителей, сроду не видевших заборов? Еще б колючей проволокой обнести – и чистый лагерь. Это ж удивительно: советский человек на Западе прежде всего стремится уголок родины создать, в данном случае – малый ГУЛАГ... Выступить со скандальной Гарвардской речью, обвинить давшую ему приют и покой страну в смертных грехах, ни хрена не понимая в американской жизни? Но главное, потратить четверть века на красные колеса, которые поначалу ехали со скрипом, а затем и вовсе остановились? Никто в России не читает нудятину многостраничную, вывернутым наизнанку языком написанную. Разнесли автора на родине в пух и прах, признали оскудение дара, идеологическую пристрастность, затемнение громадного ума, словом, крушение великого писателя...

– Бог с ними, с колесами, но как увязать то, что великий человек вторую половину жизни тратит, чтобы миру доказать и самому себе – во всем евреи виноваты и революция была еврейско-ленинской? – Роберт подпер рукой подбородок и жестко, вприщур, оглядел нас. – Семен Резник прав: это ж своими руками убить то, что невероятными усилиями таланта и духа созидал в первую половину. Трагедия в квадрате, супертрагедия.

С минуту молчали, пережевывая услышанное, каждый по-своему. Солнце палило всюю, я пересел в тень, снял бейсболку, пригладил слегка взопревшие волосы. Роберт принес из холодильника новую пивную упаковку.

– Что славу писателя делает? При всех необходимых качествах, которые мы упоминали, – еще и скандал, – заметил я. – Что, банально звучит? Согласен, но от этого суть не меняется. К Солженицыну самое прямое отношение имеет. Вот другой пример. Не передай, допустим, Пастернак «Живаго» леваку предприимчивому Фельтри-

нелли и не включись в операцию цэрэушники, – не видать моему любимцу Нобеля. Я его стихи наизусть помню, поэт великий, за стихи и переводы достоин был премии – но не присудили бы, не будь скандала.

Роберт вскочил, прошелся по веранде туда-обратно, он был возбужден, заговорил нервно, задышливо.

– Сандал, говоришь? Вспоминаешь его травлю и диву даешься: из-за чего сыр-бор устроили... Полный идиотизм! Дали бы народу прочесть книгу, она ровно ничего не изменила бы, не подорвала устои... «Живаго» – не выдающаяся литература, и вы меня не переубедите. Да, прекрасны страницы о любви доктора и Лары, описания природы... Но в остальном – неестественность, натянутасть, недо-стоверность...

– Никто с тобой, Роберт, полемизировать не собирается. Я другого мнения, но это не важно, – Вадим тяжело отодвинулся от стола и вытянул ноги, заняв удобную позу. – Мы о другом сейчас. Скандал и впрямь – полезен, примеров уйма, и не только «Живаго». «Лоли-ту» издательства отвергали, Набоков поначалу собирался печатать под псевдонимом. Оруэлл, «Скотный двор», англичане откладывали издание из-за критики коммунизма. Кто еще... Миллер, «Тропик рака», вышел в Париже, в Америке был запрещен – дескать, порнография... И тем не менее, успех книги, фильма, спектакля на Бродвее от уймы обстоятельств зависит... Чаше всего автор сам не знает, что на пользу, а что во вред. Порой чистая случайность логические расчеты бьет. Один только скандал ничего не решает. Если бы можно было формулу успеха вывести, мы бы все стали знаменитыми. Один мой знакомый литератор занят этим, ищет заветную формулу, как алхимик – философский камень. Итог, понятно, нулевой. Успех разными неконтролируемыми мелочами достигается, учесть их невозможно. Но главное, насколько запрос читающей публики угадан. В кино еще заметнее: вышел фильм на месяц раньше конкурента – и произвел фурор, а конкурент с близкой темой провалился в прокате.

Вадим смолк и вновь принял задумчиво-отрешенный вид.

– Ты великие произведения перечислил, они и так бы дорогу пробили. А вот «50 оттенков серого» – полное говно, а тираж немислимый, мазохизм, оказывается, очень привлекает, особенно баб, –

выстрелил Роберт и победно пристукнул початой бутылкой пива о пластиковый стол.

– Так и я об этом! Угадан запрос читателей.

– Призываете подделываться под вкусы публики, так? – возразил я.

– Никого ни к чему я не призываю. Просто размышляю.

– Но как быть тем, кто сочиняет ради самовыражения, а не на потребу широкой массе?

– Ну и самовыражайтесь на здоровье и не заморачивайтесь, будут вас читать или нет. Только какое издательство риснет такую прозу издать?..

– Если человек замыслил роман и начинает прикидывать, словно на счетах костяшки гонять: это и это подогреет интерес, а вот это скучно и нафиг читателям не нужно, иначе говоря, заранее строит формулу успеха, как он ее понимает, то можно не начинать писать – ничего путного из-под пера не выйдет. Скажем, затребован сегодня тренд описывать лесбийскую любовь, без нее редкая книга обходится, давай и я выдумаю такие сцены... Заданность любой сюжет убивает.

– Поймите же: книга такой же товар, как машина, компьютер, костюм, да что угодно; она подчиняется законам рынка, моды, спрос рождает предложение.

– А наоборот? Я написал для себя, самовыразился, меньше всего думал о продаже, предложил читателям товар – и попал в точку, книга стала востребованной. Такое бывает, Вадим?

– На свете чего только не происходит... Но ваш, Даня, пример неудачный – все-таки писатель не может в вакууме творить, без учета желаний читательских.

– Да откуда известно, какие у них желания?! – взъерепенился Роберт. – Сегодня – одни, завтра – другие. Спор наш – чистая схоластика. Послушал бы кто со стороны и усмехнулся: вы чего, ребята, возомнили о себе, судите-рядите, приговоры выносите? Вы вообще кто такие, вас что, слава на крылах своих вознесла, о вас денно и ночью пишут критики, на английский и прочие языки вас переводят, к Нобелю представляют? Вы, может, и талантливые, хрен вас знает, однако не ведомы имена ваши массе читательской в России, ну, может, Даню знают, и то сомневаюсь...

– Еще не хватало самообразованием заняться... Ну, ты, Роберт, даешь! Я тебя спрашиваю: что, на нашей родине гении завелись, которых повсюду издают? Ладно, не гении, а просто писатели, которых западный мир признает? Где они, ткни пальцем, укажи? То-то и оно, нет их, властителей дум, творцов новых форм. Нет! А то, что плохо знают нас, не наша вина. Без раскрутки писатель стреножен. Как критики воспримут его работу, а на них управы нет, захочет ли издательство вложиться в рекламу, окупит ли расходы? А до этого – настойчивость агента литературного, его посылают подальше, а он продолжает во все дыры лезть. У большинства агентов же в глазах только дензнаки и ничего более. Притом вкус отсутствует, не понимают, где можно заработать, а где придется пустышку тянуть. Я ни одного толкового агента не встретил.

– Есть и умные, предприимчивые, со связями, авторитетом, – Вадим решил остудить страсти. – И еще актеры бесподобные. Представьте картину: женщина-литагент, испанка, правдами и неправдами пробилась в солидное американское издательство, села в приемной главного редактора и залилась горячими слезами. Секретарша начинает успокаивать, спрашивает, в чем причина слез, та не отвечает. Главный редактор занят, не желает принять слезливую бабенку, испанка в рев и только приговаривает: «Маркес, Маркес...» Дабы отделаться от нее, издательский босс приглашает литагента в кабинет, испанка мигом прекращает психическую атаку в виде слез, вытирает глаза и щеки и протягивает папку с рукописью: «Гениальный колумбиец, будущий нобелевский лауреат, верьте мне». На титуле неизвестное боссу имя: Габриэль Гарсиа Маркес, «Сто лет одиночества».

– И что дальше? – заторопил Роберт.

– Дальше слез не понадобилось – босс отдал рукопись консультанту и переводчику, и завертелась машина. Маркес впервые был издан по-английски. Остальное вы знаете...

– Где найти такую смекалистую особу? – мечтательно произнес Роберт.

– И предложить ей роман уровня великого колумбийца, – съязвил Вадим.

Роберт глубоко вздохнул...

– А маркетинг? Братцы-кролики, мы забыли о маркетинге.

– Валяй, Даня, просвети нас по сему поводу, – подъялдыкнул Роберт.

– Рассказываю как анекдот, а может, и правда – поди разберись. У некоего писателя совсем не продавалась новая книга – так он придумал и дал объявление в газетах: «Молодой красивый миллионер хочет познакомиться с девушкой, похожей на героиню романа...» – далее название. За день тираж был распродан.

Я открыл новую бутылку. Пиво обычно пью редко, а тут на свежем воздухе дорвался...

– Недавно у известного критика прочел: чтобы современная русская литература стала желанной на Западе, где ее сейчас не знают, поскольку не переводят, надобно взор обратить на абсурд тамошней жизни, – Роберт нетерпеливо поерзал на плетеном стуле. – Якобы литература абсурда есть наиболее художественная, ни от чего не зависит и привязана ко всему. Житейская логика вроде бы не обязательна для искусства, – по привычке он в возбуждении закатил глаза.

– Может, недалек от истины этот критик? Хармс недаром говорил: «Меня интересует только чушь, жизнь только в своем нелепом проявлении», – Вадим в очередной раз выказал начитанность.

– Итак, да здравствует чушь! Нас, долбаных реалистов, на свалку? – Роберт распаялся, беспрестанно вытирая салфеткой ядровидный череп. – У Хармса из окна человек без рук, ног и внутренностей вываливается, – так, кажется? Или у кого-то, не помню имя, говорится о введении «Дня открытых убийств».

– А что, классная идея! – усмехнулся Вадим.

– Роберт, можно похвалиться?

– Валяй, Даня, хвались, но не слишком.

– Обещаю. В последнем моем романе о *таблетках правды* говорится. Дают в ходе эксперимента по прочищению мозгов россиянам, от пропаганды одуревших. Чем не абсурд... Та самая чушь, о которой Хармс говорит... По моему разумению, абсурд легко облачается в реальность и люди даже не замечают... Давайте в литературную игру сыграем: навскидку несколько абсурдистских сюжетов. Вадим, начинайте...

– Хм... Дайте подумать... А можно географию расширить? Не столько к российской жизни, сколько к нашей, американской, под-

ходит. Абсурд как чистый маразм. Ну, скажем, такой сюжет: мужчинам запрещено к женщинам прикасаться. Если поймают на совокуплении, – тюрьма. Дети из пробирок рождаются. Резиновые куклы с влагилицами миллионами штук выпускаются. У баб – резиновые мужики и предметы самоудовлетворения.

– Здорово! Только на близкую тему уже сочинен роман, по нему сериал поставлен – «Рассказ служанки».

– Теперь моя очередь, – включился в игру Роберт. – Сталин падает в сегодняшнюю Россию. Или, скажем, нынешний властитель одной шестой части суши едет с маркизом де Кюстином по городам и весям, и что только перед ними не открывается...

– Мой сюжет: оживают герои литературных произведений, начиная с «Илиады» и «Одиссеи» и кончая акунинским Фандориным и кем-то там еще, и поселяются в одном большом городе. Кроме них, в городе никто не живет. И начинаются невероятные приключения, превращения, забавные и кошмарные истории.

– Дая, а в твоём сюжете Гамлет может жениться на капитанской дочке или Анна Каренина выйти замуж за Дон Кихота?

– Все возможно. Это же абсурд...

Пообсуждали, посмеялись, сошлись на том, что классные сюжеты абсурда придумать не так легко. Женщины позвали в дом – пришло время обеда.

5

В палату вползает кислотоватый рассвет. Меня никто не тормозит, медсестрины процедуры начнутся часа через полтора. Устраиваюсь на койке поудобнее, чтобы не мешал надутый, как камера футбольного мяча, живот. Жидкость в животе – хреновый признак, даже боюсь думать. Болей, правда, нет. Жидкость сегодня снова откачают, так обещали. Ну, и что дальше? Диагноза пока нет, не знают эскулапы, что в моем брюхе колобродит. Когда поймут, тогда и...

Веки прикрыты, и помимо воли возникают видения, лики, обрывки бог знает сколько лет назад виденного, происходившего, тихо плывут ко мне из бездонной глубины, колеблются, заволакиваются бисерной рябью, наконец, достигают поверхности, устанавливаются – и миг исчезают, будто кто-то камешек бросил в воду и пошли круги, на смену им рождаются давно забытые, казалось, навсегда

канувшие отражения, оказавшиеся живыми, легко возрожденными, будто происходили вчера.

Я смотрю памятью в прожитую даль и задираю голову, чтобы увидеть гору – мое детство, и думаю над тем, что жизнь каждого человека, и моя собственная, напоминает спуск с горы: так сбегают веселые звонкие потоки, мчатся по склонам незамутненные, независимые, гордые, постепенно слабеет их напор, сливаются они в спокойные речки, потом становятся реками, влекутся медлительно и важно, меняется их цвет – из ясно-голубого в землисто-коричневый, и, наконец, из полноводных превращаются они в неслышные, еле дышащие ручейки с морщинистой рябью на поверхности, мельчают, иссыхают, и наступает момент, когда от былых веселых и звонких потоков остается еле заметный след на песке.

Неудержимо хочется вновь очутиться на вершине горы, испытать упоение высотой, одновременно сохранив накопленный опыт – счастье и восторг, ошибки и разочарования, однако чудес не бывает, и я влекусь медлительным потоком по скудеющей равнине, и берега мои сужаются и сужаются...

На госпитальной койке, в рассветный кисло-сумрачный час, видения и лики заполняют мое личное пространство, словно выползает из кинопроектора, по-змеиному шурша, пленка в царапинах, зазубринах, шрамиках времени. Было все это со мной на самом деле, или я нафантазировал, следуя главному правилу сочинителя – отпустить вожжи и погнать вскачь воображение? Сдается, все так и происходило, а если нет, какая, в сущности, разница: и то, и другое – правда. Главное в том, что в преддверии врачебного вердикта кадры кинохроники выглядят психотерапией: я снова юный, здоровый, веселый, впереди у меня целая жизнь, я переполнен ощущением счастья.

Вот я, стоя посередине очерченного круга, высоко подбрасываю резиновый мячик, пацаны и девчонки разбегаются из круга с оглядкой – водящий, то есть я, выкрикиваю чье-то имя, он или она должны успеть вернуться в круг, поймать мячик и выкрикнуть магическое: «Штандр!» Что означает это слово, откуда пришло, никто не знает. Новый водящий выбирает себе жертву, салит ее мячиком, все опять бегут, и так без конца, покуда есть силы...

А вот я кладу на землю небольшой кусочек дерева с остро, как карандаш, заточенными концами, это «чижик», ударяю по носу широкой битой, чижик подпрыгивает, и в этот момент гибким замахом биты попадаю по нему и отправляю как можно дальше. В моем воображении я всегда удачлив, выигрываю у соседских пацанов, на самом же деле слышу далеко не лучшим, но какое кому дело – ведь это мои и только мои воспоминания...

Едва подсыхает весенняя трава и с огородов начинает тянуть сладкой прелью сжигаемых листьев, начинаются «ножички» – отголосок, отзвук войны. Чертится большой круг, делится на две, три, четыре, пять частей, в зависимости от числа играющих, каждый занимает свою территорию, начинающий первым вонзает перочинный ножик с открытым лезвием в примыкающую чужую территорию, отрезает кусок и присоединяет к своей земле. Отрезать по правилам можно дотуда, докуда дотягивается со своей территории, притом не опираясь на чужую никакой частью тела. Приходится мудрить, хитрить, завоевывать жизненное пространство постепенно, по сегментам... Чем не военная тактика... Но стоит ножичку упасть плашмя, в игру вступает следующий участник. Еще одно правило: земля принадлежит тебе до тех пор, пока ты можешь устоять на ней, неважно, каким образом – всей ногой, или на мысочках... Стоит кому-то захватить большую часть круга, как кто-то непременно реагирует: «У, фашист проклятый!» Не ругательство, скорее нарицательное обозначение несправедливой миссии захватчика.

Произношу это вполголоса и внезапно спрашиваю себя: почему сегодня никто не играет в «ножички», когда поводов более чем отбавляй – и Крым, и Лугандония... И сам же хмыкаю: вопрос столь же нелеп, как и возможность представить сегодняшних десяти-двенадцатилетних оболтусов, к примеру, вышагивающих на самодельных ходулях. Изготавливались ходули из отодранных от заборов штакетин и из украденных из сараев досок, они пилились, строгались, прибивались, делались приступки для ног. И пошли шагать, пугая окрестных собак и устраивая бои на верхних этажах.

А ловля майских жуков... Форменное сумасшествие, неумная страсть, неутолимое желание обладать неким капиталом, за неимением оного валютой служат жуки. Вижу себя в сатиновых шароварах, тенниске и с сачком, вместе с такими же заполошными паца-

нами ношусь, как оглашенный, между березами, стучу по стволам, прыгаю, визжу от восторга, захватываю саяком недовольно гудящих, потревоженных жуков. С бреющего полета жуки переходят на высотный, прячутся в кронах, но у нас на сей случай имеются ходули и жукам нет спасения. Добыча помещается в пустые спичечные коробки, остановятся они эквивалентом товара для обмена – на подшипники для самокатов, мячики, цветные стеклышки самодельных трубочек-каледоскопов, магниты, свинцовые битки, резину с кожей для рогаток...

Боже мой, неужели я когда-то был стриженным под ноль мальчиком в черных сатиновых шароварах на резинке и тенниске на молнии, звонким, легконогим, в меру шкодливым, но не любившим драться... Сглатываю горькую слюну и вновь погружаюсь в нирвану воспоминаний, желая видеть себя прежним. Ну, скажем, подкидывающим правой ногой *жостку* – тряпочку с песком, туго стянутую нитками у горловины. Эпидемия, массовый психоз, нечто совершенно ненормальное: в школьном дворе, или дожидаясь сеанса возле киношки, или заняв очередь с канистрами у керосиновой лавки, да где угодно, в любом подходящем месте пацанье непрерывно подкидывало ногами жостки. Тряпочку с песком старались делать не легкой и не тяжелой, так, чтобы не колебалась от ветра и не плюхалась на ногу, как блин, не маленькой и не большой, чтобы имела определенную площадь соприкосновения с обувью. Для игры мы предпочитали обуваться в широкие, гладкие, без рантов и застежек ботинки, сапоги или валенки – босиком играли подлинные виртуозы.

Смысл жостки был элементарно прост – удержать ее на лету как можно дольше, не позволив упасть на землю. Хорошие игроки набивали за одну попытку от ста до ста пятидесяти очков, ну а виртуозы – те творили чудеса: учившийся в моем классе вечно ухмыляющийся, строящий рожи, придурковатый парень-переросток Цымбалюк по кличке Цымба в среднем набивал по четыреста очков, притом обеими ногами. Учителя агитировали родителей объявить войну идиотскому увлечению, школьный врач, не жалея красок, расписывал ожидавшие нас беды: искривление позвоночника, выпирающее правое (у некоторых левое) бедро... Немалая доля истины в этом имелась – жостка отнюдь не способствовала красоте и строй-

ности фигуры, но несмотря на увещевания, день-деньской можно было видеть ритмично дрыгающих ногами и мерно подлетающие и опускающиеся тряпичные кулечки...

А еще была *пристенка*: ты ударяешь ребрышком монетки о стену дома, монетка отскакивает, твой противник делает то же самое и если дотягивается пальцами одной руки от своей упавшей монетки до твоей, то забирает ее. За час удачной игры можно заработать несколько рублей. Другим способом что-то заработать служила *педилка*: гладкой свинцовой битой следует так ловко ударить по лежащей монетке, чтобы она перевернулась с «решки» на «орла» или наоборот и стала твоей собственностью. Иногда мне это удается, и я покупаю на рынке жареные семечки, круглое, обложенное вафлями мороженое, которое надо не откусывать, а лизать, вращая на языке, как колесико, и варенец – топленое молоко с аппетитной розовой корочкой, продаваемое стаканами.

Выползающая из кинопроектора пленка, казалось, бесконечна, и начинает казаться, что самая безмятежная и счастливая пора жизни – именно та, когда мы, рожденные в войну пацаны, воровали со склада на пакгаузе магниты и подшипники, а из товарных вагонов – жмых; мы обожали коровью жрачку, отрезали ножами куски брикетов, засовывали в рот и жмякали не хуже животных, коим предназначался корм, во рту становилось вязко, начинали выделяться капельки масла из вроде бы до конца выжатого прессами подсолнечника, ан нет, наши зубы и языки довыжимали недоступное прессам, мы сплевывали буро-зеленоватую, тинистую массу, захватывали очередную порцию жмыха – и, боже мой, как это было вкусно! Так мы утоляли голод.

Мне не слабо было участвовать в зимних небезопасных забавах: железным крюком сзади за борт идущего на скорости грузовика и на «гагах» или «снегурках», а то и просто в валенках пролететь с посвистом в ушах за полуторкой по оледенелой дороге, вовремя отцепиться от борта и не сверзиться, не разбить нос в кровь, а главное, не попасть под колеса идущих следом машин...

Но еще была школа в моем родном подмосковном городе, до пятидесят четвертого с отдельным обучением – мальчики отдельно, девочки отдельно, и какие же невероятные случаи хранит память: начинаю кому-нибудь рассказывать – в сомнении качают го-

ловами, не верят; мне и самому порой начинает казаться, что все это я выдумал, но нет, не выдумал, все истории – всамделишные.

Цымба, тот самый виртуоз жостки, придурок с вихляющей походкой и полуидиотской ухмылкой, дружил еще с одним переростком – Титовым или попросту Титом, обоим было по пятнадцать, а учились в одном классе с нами, двенадцатилетними. Явственно вижу Тита, будто расстались вчера, – на голову выше остальных в классе, с водянистыми глазами и вечно сопливым, простуженным носом; иногда устраивал спектакли, падая в обморок на занятиях, при этом закатывал глаза, с медленным стоном-подвывом запрокидывал голову, с размаху валился навзничь и начинал биться в конвульсиях. Директор школы, тихий неприметный Клавдий Сергеевич по прозвищу Аппий Клавдий (был такой римский император) а пенсне и неизменных калошах, боялся Тита и называл его эпилептиком. Придуривался ли Тит или и впрямь страдал эпилепсией, никто не знал.

В сентябре к нам пришла новая учительница английского Кира Петровна, Кирочка, как ее тут же начали называть: только-только выпорхнув из института, невысокая полноватая девушка со смешными кудряшками смущалась и краснела по каждому поводу. Тит и Цымба быстренько разобрались с невинной училкой: на одной из перемен сграбастали, затащили в мужской туалет и грубо облапали. Еле вырвавшись, в слезах та побежала к Аппию Клавдию, тот только горестно вздохнул и беспомощно развел руками. Оба переростка имели по поведению «пятерку» – других оценок тогда, в 53-м, не ставили, из школы не исключали, такая была установка.

Новая «англичанка» особенно пришлась по вкусу Титу, он прямо пылал от чувств. Бедовое воображение подсказало ему развлечение: едва Кирочка склоняла белокурую кукольную головку над классным журналом, размышляя, кого бы вызвать к доске, Тит тихо вставал за партой и приспускал брюки, демонстрируя прыскающим в кулачок недорослям, то есть нам, вполне мужской предмет под волосами; хитрость заключалась в том, чтобы успеть сесть до момента, как училка оторвется от журнала и посмотрит на класс. Дважды Тит промахивался, и Кирочка падала в обморок.

Тит погибнет в тюрьме при невыясненных обстоятельствах лет через семь, Цымбу найдут на путях перерезанным скорым поездом,

но в ту пору они были моими соучениками и относились ко мне вполне терпимо, я, как и все в классе, опасался их, заискивал перед ними и поэтому был весьма польщен неожиданным приглашением: «Данила-мудила, пошли телевизор смотреть...» Имя мое Даниил забубенная парочка давно переделала в Данилу, что же касается «мудилы», то в их устах слово это не выглядело ругательством, а добавлялось исключительно ради рифмы.

Телевизор слыл редкостью, во всем городе имелось, наверное, не более десятка аппаратов с малюсеньким экраном, я дотоле смотрел телевизор пару раз в квартире отцовского приятеля, инженера местного, выпускавшего какие-то приборы секретного завода. «Интересно, куда это они поведут меня смотреть телевизор?» – думал я, шлепая погожим осенним днем в сторону платформы «Фабричная» в сотне-другой метров от школьного двора. Тит и Цымба подошли к платформе, где пассажиры дожидались электрички, воровато огляделись и шмыгнули под деревянный настил. Цымба зачем-то держал длинную, отточенную остро, как карандаш, камышину. Я последовал за ними, ничего не понимая...

Под платформой было темно и сыро, пахло человечьими испражнениями и кошачьей мочой. Мы могли стоять в полный рост, даже Тит, самый длинный из нас. Он поднял голову и, встав на мыски, прильнул к щели между досками, то же самое пытался делать и Цымба, но он не доставал и матерился. Они перебежали с места на место, жадно выискивали нечто непонятное мне, наконец, Тит возгласил: «Есть, нашел!», Цымба радостно подвизгнул и вместе с приятелем впился глазами в щель, благо земляной бугорок позволял ему почти дотянуться до досок. «Бля буду, без трусов!» – шептал он, возбужденно вихля бедрами. «Не, эта в трусах, сиреневых», – поправил Тит. «У моей пизда просвечивает, ты че!» – в экстазе приплясывал Цымба.

Я стоял рядом, вдыхая аммиачное зловоние, темное, мерзкое, поганое вползло в меня, хотелось сию секунду дать деру, но ноги словно приросли к бугорчатой, в нечистотах, земле.

– Эй, Данила, иди покночь телек, – Тит сграбастал меня и приподнял. Голова моя коснулась досок платформы. «Вверх смотри, мудила», – наставлял Цымба. Я прильнул к щели. Вначале ничего не увидел, потом, напрягшись, различил нечто такое, отчего сделалось

зябко и тошно, я судорожно глотнул спертый воздух, чтобы не вырвать, икнул и засучил ногами. Тит выпустил меня.

– Сейчас мы ее пощекочим, – захихикал Цымба и начал осторожно, мягкими, вкрадчивыми движениями, будто готовящий фокус иллюзионист, просовывать кончик камышины в промежность между досками, а затем резко, с силой послал камышину вверх. Мы слышали истошный женский визг, что-то тяжелое затопало над нашими головами. «Ах, гад, я ему сейчас яйца оторву!» – явственно прозвучало мужское обещание.

– Смываемся! – закричал Тит.

Не разбирая дороги, вляпываясь в вонючие ошметки, я помчался в противоположный конец платформы, выскочил наружу на ослепившее меня пространство и рванул к дому.

«Телевизор» запечатлелся в моей памяти самым постыдно-гадким и непотребным эпизодом школьных лет.

В таком окружении я вполне мог вырасти оголтелой шпаной, но по мере взросления происходила разительная перемена: мной овладевала склонность к уединению и размышлениям, не имевшим никакого отношения к тому, что меня окружало – подспудно вызревало нечто новое, неизведанное прежде, манящее и пугающее, знобко-будоражающее. Жизненная колея повела совсем в ином направлении, произошла путаница с намеченным маршрутом, водитель сбился с пути и впотьмах искал нужную дорогу.

Хлестнула память мне кнутом по нервам –

В ней каждый образ был неповторим...

6

Отчетливо помнится самое начало марта 53-го, смерть вождя.

Такие моменты есть только у молодых. Я не имею в виду очень молодых. Нет. У очень молодых, собственно говоря, нет моментов. Для ранней юности это привилегия – жить впереди своих дней в прекрасной непрерывности надежды, которая не знает ни паузы, ни самоанализа. Один закрывает за собой маленькие ворота простого ребячества и входит в заколдованный сад. Его самые оттенки светятся обещанием. Каждый поворот пути имеет свое соблазнение. И это не потому, что это неизведанная страна. Достаточно хорошо

известно, что все человечество так и текло. Это очарование универсального опыта, от которого можно ожидать необычного или личного ощущения – своего собственного.

Отец заявился с работы в начале десятого, веселый и пьяный. Таким я его прежде никогда не видел. Мать обомлела, прижав ладонь ко рту. Тетя Маруся зарыдала. Отец цыкнул и заговорил с патетическим надрывом, как на трибуне, чего раньше за ним не замечалось:

– Не смей плакать, Маруся! Сегодня самый счастливый день! Тиран сгинул! Вспомни о своем муже, о нашем дорогом, несравненном Саше Витошинском – кто погубил его? Вспомни, кто погубил миллионы таких, как он, кто посадил меня в тюрьму... Он что, не знал, не ведал, что творится в стране?! Им же самим все и направлялось. А вы слезы льете... Дуры вы все, безмозглые курицы...

– Опомнись, тебя могут услышать, – завохтала мать. – Здесь же ребенок, – решила прибегнуть к главному, по ее мнению, аргументу.

Меня словно ударили обухом по голове. Произносимые отцом слова были вовсе непонятными, будто звучали не на русском, и оттого не воспринимались. Дело было не в словах. Непостижимым было другое: горе, даже такое, как сегодня – оказывается, не всеобщее и не всеохватное, раз один из двух самых дорогих мне людей весел и даже выпил на радостях.

Отец возбужденно сновал по комнате, насвистывал, завел патефон, поставил пластинку – и поплыло ало-праздничное: «Утро красит нежным светом стены древнего Кремля...»

Замерев как истуканы, с немим ужасом мать и тетка следили за прыжками отца, схватившего меня на руки:

– Не смейте плакать! Сегодня праздник, и мы... мы будем веселиться! – кружился он со мной, не попадая в ритм музыки.

Длилось это минуту. Мать в гневе рванула патефонную мембрану с иголкой, пластинка издала противный треск.

– Довольно! Подумай о нас, коль себя не жалеешь.

Отец пьяно растекся в нежностях, адресованных присутствующим, которых он очень любит, и уже почти своим, прежним голосом, чуть запинаясь, поведал, как на Казанском вокзале узнал о смерти Сталина, как приехал на работу, заперся с товарищем, кому

доверял, они пили спирт, обнимались, целовались и благодарили судьбу за то, что дожили до исторического момента.

Угомонился он к полуночи и лег спать.

Ночью чьи-то руки осторожно извлекли меня из кровати. Я оказался в отцовской постели у окна и проснулся. Обычно отец брал меня к себе, когда я заболел. Сейчас он, опершись спиной о большую подушку, полусидя-полулежа, в темноте, повел быстролетно-нервным шепотом, перескакивая с одного на другое, трезвее и с каждой минутой становясь серьезнее и злее в словах, рассказ о том, что происходило в стране, в которой я родился, которую любил и о которой пел тоненьким голоском на школьных утренниках: «Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек...» Я мало что понимал в его рассказе, мелькали имена Кирова и его убийцы Николаева, Якира, Тухачевского, Орджоникидзе, Ежова, еще какие-то имена, незнакомые мне, он рассказал о муже тети Маруси, отце двоюродной сестры Сони, который, оказывается, не погиб на фронте, как мне говорили, а был расстрелян, о мамином брате, тоже арестованном, попавшем в лагерь на Колыме и по сей день живущем в том краю на поселении, потом начал вспоминать свой арест и пребывание в тюрьмах и невероятное освобождение с чистыми документами зимой 1939-го. Тогда, по словам отца, сменивший кровопийцу Ежова Берия вызволил из тюрем и лагерей три процента заключенных. Отец по счастливой случайности попал в их число.

Я немного запомнил в те сумасшедшие часы, в моей голове образовалась форменная каша, я уловил лишь самое важное, то, что полностью ломало мои детские представления: выходит, есть два мира – один, открытый передо мной, в котором совершаются разные действия и поступки, и другой, потаенный – о нем не говорят и не пишут, его скрывают, но без него нельзя представить жизнь во всей ее полноте; люди, скрытые в этом потаенном мире, ни в чем ни перед кем не виноваты, однако их называют врагами народа, контрреволюционерами, шпионами, диверсантами, на самом же деле все это брехня, они такие же, как мы все. И то, что некоторые мои близкие принадлежат именно к этому потаенному миру, не отторгло их от меня, а напротив, сблизило меня с ними после услышанного этой ночью.

Отец закончил рассказывать и заснул. Он сильно храпел, изредка стонал и всхлипывал. С острой, сверлящей болью в голове, пы-

таясь вместить расхристанные мысли, подавленный ворохом невероятных, невысказанных открытий, свалившихся на меня, я побрел в школу. Я не знал тогда еще не написанной фразы; прочитанная мною позже, она как нельзя лучше определяла мое тогдашнее состояние: «Я – стебелек, растущий в воронке, где бомбой вырвало дерево веры».

Прав ли тогда был мой отец в проделанном без всякого умысла, а просто по причине выпитого, эксперименте, прав ли был с точки зрения педагогики: имел он на это право или нет? Стоило ли кидать меня вот так сразу, без подготовки, в бурную, порожистую реку, где и опытные пловцы захлебывались и тонули, не в силах справиться с течением? В конце концов, не опасно ли было – для него и для меня? Размышляя над этим, всякий раз прихожу к убеждению: наверное, стоило. Хотя я сам, будь на месте отца, вряд ли осмелился рассказать двенадцатилетнему сыну такое. Просто побоялся бы – вдруг начнет болтать и нас всех загребнут? Отец почему-то не боялся. В нем всегда присутствовало нечто такое, что отличало от большинства известных мне тогда и после людей и чему я не могу найти строгого определения. Он был доверчив, непозволительно открыт душой, иногда поступал легкомысленно, совсем даже не по-взрослому, однако видел и чувствовал гораздо глубже других; эта самая доверчивость и непозволительная открытость, казалось, вовсе не вписывались в нормы несправедливого, жестокого времени, в котором он существовал; отец должен был не раз стинуть и наперекор всему выжить. Божья воля, или, как говорил отец, высшая сила, повелевающая судьбами?

Пытаясь сегодня, с Эвереста прожитых лет, влезть в шкуру наивного, напичканного всякими глупостями мальчишки, которые воспринимал как обязательное, само собой разумеющееся (с гордостью носил пионерский галстук, радовался приему в комсомол), прихожу к убеждению: именно тогда я впервые по-настоящему почувствовал несправедливость и враждебность окружающего мира, свое одиночество и потерянность; я вышел из детства, словно из яйца, разломав скорлупу, вылупился цыпленок.

Много-много лет спустя пронзившее меня четверостишие напомнило шепутного мальчишку, и я подумал – это про меня тогдашнего, хотя стихи еще не были сочинены.

– Ну как тебе на ветке? –
Спросила птица в клетке.
– На ветке как и в клетке.
Только прутья редки.

...Сколько минуло с тех пор? Уйма лет. Целая жизнь, если мерить пенсионным возрастом 65. Я уже не пожилой, я уже старый, как ни прискорбно признавать. Если бы мой отец дожил до наших дней, что он, угнетенный происходящим, мог сказать мне? Что я, ребенок, получивший урок всей жизни той мартовской ночью, став взрослым, мог сказать отцу? Только горестно глядели бы друг на друга, не в силах вымолвить застревающие в горле слова. Мы росли с твердой уверенностью – вождь и его правление будут похоронены в анналах истории, нам казалось несложным избыть содеянное зло. О, как мы ошибались! Со временем любая правда становится менее ужасной. Для наших детей и внуков миллионы загубленных жизней – лишь статистика, не возбуждающая эмоций, Сталин для них – симулякр. Народ не может быть плохим или хорошим, он такой, какой есть, каким его делают обстоятельства. У народа не может быть коллективной вины. И однако беспощадная Клио вносит поправки – немцев заставили пройти тяжелейший путь исправления и очищения от гитлеризма через покаяние, из них выводили бациллы нацизма жестокими, но единственно возможными, оправданными способами. Мой народ, несколько раз пропущенный через мясорубку, нуждался в очищении от скверны – увы, никто не решился начать действовать – отсюда памятники и бюсты вурдалаку и прочее. *«Русские – народ, который ненавидит волю, обожествляет рабство, любит оковы на своих руках и ногах, любит своих кровавых деспотов, не чувствует никакой красоты, грязный физически и морально, столетиями живёт в темноте, мракобесии, и пальцем не пошевелил к чему-то человеческому, но готовый всегда неволить, угнетать всех и вся, весь мир. Это не народ, а историческое проклятие человечества»*. Звучит страшно, немислимо обидно, кому-то покажется – справедливо. В Донском монастыре на могилу изрекшего такое писателя и философа нынешний Верховный правитель положил цветы. Знал ли он о существовании злого высказывания? Сомневаюсь, иначе не было бы почитания и могильного букета, по-

добострастные же служки побоялись бы просветить правителя, а может, и сами не ведали. *Для превращения народа в стадо баранов ему нужно каждый день говорить, что он богом избранный, мудрый, справедливый, свободолюбивый и героический.* Любой баран считает пастуха гением, а собаку – защитником стада. Я живу за тысячи верст от родины, казалась, какое мне дело до всего этого? – оказывается, есть и самое прямое, я связан пуповиной с землей, где прожил две трети, никак не меньше, отпущенного срока, пытаюсь по мере сил и возможностей понять, куда там все движется. Я не готов принять формулу: *теперь мы знаем наперед и то, что знать не хочется, и что вот-вот произойдет, и чем все это кончится...* Я – не знаю, только догадываюсь, и не дай бог, если мои догадки оправдаются.

7

В самом начале июня, когда влажная жара нависла над Нью-Йорком, высасывая воздух подобно гигантскому пылесосу, я отправился в близлежащие Катскильские горы в пансионат «Ксения», где решил вволю поработать над новой книгой. Здесь было прохладнее, чем в Бруклине, градусов на десять, иногда шли дожди, не приносявшие озоновой свежести, как в средней полосе России, но все равно желанные. Индейцы называли эти горы Онтеоре, «земля небес», лет триста пятьдесят назад тут поселились бежавшие из Франции гугеноты, спустя два века открыли для себя благословенные места художники и взялись рисовать полотна на библейские сюжеты с неперменными силуэтами Катскиль, долинами реки Гудзон, водопадами, озерами. Здесь нашел приют Шагал, как некогда гугеноты, покинувший Францию, но по другой причине. Природа гор напоминала европейцам их родину.

В обустроенном просто и без излишеств пансионате я любил быть в разгар лета и осенью, хрустальная горная речка с форелью и лечебный, словно настоящий на целебных травах, воздух создавали особое настроение, здесь хорошо думалось и писалось.

Через неделю я почувствовал, как начал расти живот. Надо умерить аппетит, меньше налегать на чесночные пампушки к борщу с мясом и на другую украинскую пищу, а кормили в «Ксении» от пуза, которое незамедлительно реагировало лишним весом. Попробовал сесть на диету, живот, однако, продолжал расти. В конце концов, я

перестал взвешиваться и плюнул на прибавившиеся килограммы – с учетом возраста, немудрено поправиться, тем более, при моей относительной худобе это не страшно, не производит отталкивающего впечатления на женщин, а это для меня своего рода лакмус, к тому же живот не болел и не проявлял себя неожиданным образом.

Миновала еще неделя, картина не менялась. Прихлынуло безотрадное ощущение – что-то не так. А далее – визит к доктору, проверка ультразвуком и вердикт – в животе жидкость. Я лег в госпиталь. Дренаж, откачивание, вроде стало легче, тесты нормальные, а жидкость вновь присутствует...

...Около трех часов дня в палату вошел незнакомый человек в белом халате поверх гражданского костюма. Представился: «доктор Кларк», протянул руку для пожатия и сел напротив. Поначалу я оторопел – передо мной был вылитый актер Клуни: просесть, прищур, ироничные губы, волевой подбородок – все точь-в-точь. Секунду-другую я вбирал его черты, при этом, наверное, выглядел глупо, вперившись в незнакомца, доктор Кларк, очевидно, привык к такому изумлению и длил момент, пока пройдет магия узнавания и можно будет приступить к разговору.

– Мы с коллегами посмотрели ваши анализы, – начал он. – Ничего страшного не увидели. Правда, тесты, включая ультразвук, не давали ясной

картины. Вчера, как вы знаете, мы провели CAT-Scan – компьютерную томографию. Не могу утверждать на сто процентов, но, похоже, проблема в аппендиксе, он воспален, увеличен в размере. Решение однозначное – вам необходима операция. Проводить ее буду я, – голос его звучал мягко, обволакивающе, точно с охотой сообщал приятную весть.

Я весь напрягся, доктор Кларк почувствовал и еще мягче:

– Операция недолгая, под общим наркозом.

– Зачем она нужна? – брякнул я. Вопрос прозвучал не вполне корректно – я словно сомневался в правильности вывода доктора Кларка.

– Аппендикс необходимо удалить. Вам понятно?

– Это как при аппендиците?

– Ну, не совсем так. Но удалить придется.

– Скажите прямо, вы подозреваете онкологию?

– Ничего нельзя исключать. Опухоль, возможно, присутствует, но определить, какая она, можно только во время и после операции. Вообще-то, рак аппендикса – крайне редкий, на миллион десять человек. С одной стороны, вам не повезло, а с другой – опухоль вполне операбельна. Удалим, поймем, есть ли метастазы, и если отсутствуют, вы отправитесь домой, оставшись под нашим наблюдением. Возможно, назначим химию и радиолучевую терапию, а может, и не назначим, в зависимости от данных биопсии.

Последнее слово прозвучало отталкивающе, я почувствовал себя дичью, которую специально потрошат перед употреблением.

Здесьним эскулапам вменяется в практику говорить с пациентами предельно откровенно, ничего не скрывая, и это, по-моему, правильно – не хрена темнить, наводить тень на плетень; но когда это касается тебя самого, то хочется услышать нечто успокаивающее, рождающее надежду, доктор Кларк, увы, режет по живому, хирург, одно слово, у меня к нему нет претензий, и все-таки...

– Скажите, доктор, а вы мне сильно разрежете живот?

«Клуни» улыбнулся – вопрос звучал наивно-беспомощно.

– Не волнуйтесь, не сильно. Вы хотите знать, как будет проходить операция, так? Она будет малоинвазивной. Я выполню разрез в области пупка и вставлю лапароскоп – это такой катетер с источником света и миниатюрной видеокамерой. Видеокамера транслирует изображение на большой экран. операционная бригада ориентируется на него. Далее я

сделаю пару дополнительных разрезов и вставлю в них нужные мне микроинструменты прежде всего, хирургический нож. Есть разные нюансы, вам знать их ни к чему. Суть я изложил. Уверяю – ничего страшного.

Я непроизвольно вздохнул.

– Доктор Кларк, я согласен на операцию.

– Кто вас будет сопровождать? Жена?

– Я живу один.

– Желательно, чтобы кто-то был.

– Кто-то будет.

– Тогда послезавтра утром встретимся. Не волнуйтесь, все будет хорошо...

Я остался наедине со своими мыслями, в которых не находил отрады, изгоняемая силой воли все последнее время тревога вновь овладевало моим существом, надеясь на лучшее, я готовился к худшему и вновь и вновь воскрешал не столь давние события, положившие начало моему теперешнему пребыванию в госпитале.

Не знаю, сколь долго обкатывал бы, как волна галечник, свое нынешнее положение и разговор с доктором Кларком, но в палату вошла Ася, и словно влетела шаровая молния, заполнила замкнутое пространство ярчайшей вспышкой, светилась и плавала в воздухе, не причиняя вреда. Вздрогнув от неожиданности и растерявшись, я инстинктивно подтянул одеяло к горлу, словно желая скрыть немоту тела.

Ее визит не планировался, в наших редких в последнее время телефонных разговорах тема встреч не поднималась, я не понимал, откуда Ася выведала, что я здесь. Она выкинула фортель, перестав со мной спать. Дескать, пропало всякое желание, не обижайся, спать не только с тобой, но и с мужем, который уже на стену лезет. Истек мой срок годности. Мужики в этом смысле перестали для меня существовать. Согласна, это невроз, надо консультироваться с психотерапевтом, но все некогда... Зазвав Асю к себе, я поговорил с ней начистоту, призвал включить здравый смысл, попробовал надавить, чуть ли не силой пытался стащить с нее брюки, она дала жесткий отпор. В конце концов плюнул и прекратил бесполезные попытки: бабья дурь или в самом деле сдвиг по фазе? А может, и впрямь нет желания. Кто ее разберет... Ася теперь общалась со мной преимущественно посредством интернета. От кого узнала про госпиталь, ума не приложу.

Она подошла к кровати, поцеловала меня в поросшую седой двухдневной щетиной щеку, разложила на прикроватном столике пакет с соком, мандарины, и устроилась у кресле, где час назад сидел доктор Кларк.

– Знал бы, что пожалуешь, побрился бы. Извиняйте, девушка, – начал отходить от гипноза ее появления.

– Ничего, и так сойдет.

– От кого узнала? Колись.

– Тебе не все равно?

– Нет, не все равно. Не хочу, чтобы по русскому Нью-Йорку

молва катилась: гигант большого секса загремел в госпиталь. Девушки любить перестанут, – перешел на привычный ернический тон.

– Когда же ты утомонишься..., – усмехнулась. – Что врачи говорят?

– Ни слова, ни полслова, пока не признаешься, откуда ветер дует по моему поводу.

– Черт с тобой, скажу, иначе не отстанешь, я тебя знаю. Видела нехороший сон, позвонила Роберту в Нью-Джерси, он и сказал.

– С него станется. Нечего болтать.

– Неужели не приятно видеть меня? Я специально покрасилась, шатенка в рыжизну, как ты любил.

– Цвет красивый, тебе идет. В общем, спасибо, что старого друга не забываешь.

– Сначала знакомый, потом любовник, потом друг. А дальше что?

– А дальше..., – и я негромко напел известную мелодию, обычно исполняемую духовыми оркестрами на похоронах.

– Тьфу, дурак... Мы будем жить долго и счастливо и умрем в один день.

– Это ты мужу говори, со мной не получится.

– Муж перебьется, – произнесла, как отрезала, и в ней что-то враз изменилось. Я ведал Асину особенность внезапно каменеть зрачками, скулами, ртом, *умирать* лицом. Она ведала за собой эту особенность, считала, что – благоприобретенное, ньюйоркское – в Питере, откуда она была родом, таких мгновенных перемен в ней, по ее словам, не обнаруживалось. Наши прежние отношения подразумевали, как мне казалось, (и возможно, я был не так уж неправ) ее полную растворенность в баснословном состоянии, о котором мечтают все женщины, однако редко кто по-настоящему достигает; испуг, боль, страх потерять присутствовали в ней; теперь же, увы, не было ни испуга, ни боли, ни страха потерять.

– Ладно, хватит трепаться. Что говорят врачи?

– Какой самый ненужный орган в человеческом теле? У муж-чин, в данном случае...

– Неужто тот самый?

– Уйдя из большого секса, можно смело шутить на животрепещущую тему. И все-таки?

– Ну, не знаю. Язык, который помело у некоторых...

– Так вот, уточняю: аппендикс.

– И что?

– А то, что на этом гребаном, вовремя не удаленном отростке образовалась опухоль. Тесты показали. Хирурги утверждают: крайне редкий вид онкологии. Мне повезло...

– Какой рак? Типун тебе... Кто это говорит? – она побледнела.

– Допрежь операции – никто. Лишь догадки, предположения. Может, и доброкачественная. Резать будут послезавтра. Сделают биопсию, тогда все и откроется.

– Да, весело... – Она покачала головой, словно прогоняя непрошенные мысли. – Не верю.

– Кстати, на счет веселья... Кто-то сказал, не помню: мы рождаемся с криком, умираем со стоном, остается жить со смехом. Вот только не получается... Когда мы виделись в последний раз? Давненько, правда? У меня за это время живот вырос. Жидкость появилась, ее откачивали. Откуда, почему? Как Булгаков писал: кирпич на голову просто так не падает. Анекдот вспомнил про нас с тобой – только осовременил. Абрам говорит Саре: «Помнишь, когда я зимой поскользнулся, упал и разбил локоть? Образовался бурсит. Так ты подняла на ноги всех знакомых докторов, выяснила, как надо лечить, и постоянно следила, как я выполняю врачебные указания... А помнишь, когда мне делали операцию на сердце, ты была рядом, не вылезала из палаты, нашла мне домашнюю сиделку в первые, самые тяжелые две недели после выписки... А помнишь, когда меня прооперировали по поводу рака, ты получила консультацию у лучших онкологов, помогла найти самый верный путь лечения... Сара, там, где ты, – одни несчастья!...»

– Смешно...

– Ладно, хватит о болячках. Как у тебя дела?

– Нормально. Никаких происшествий. Скучно.

– Оклемаюсь и приглашу тебя в Метрополитэн-опера.

– Выздоровливай быстрее, а то сезон закончится.

Проговорили еще минут десять, не касаясь болезни. Принесли ужин, всего много, все отварное, есть не хотелось. Я попил ананасовый сок из принесенного Асей пакета. Она засобиралась домой.

– Надеюсь, будут хорошие новости. Кто оперирует?

– Доктор Кларк. Копия Клуни. Красавчик. Ни одна баба не устоит.

– Ты опять про свое. Меня не красота его интересует, а какие у него руки. Посмотрю отзывы на интернете.

– Какая разница... Операция назначена на послезавтра, я дал согласие. Только..., – и я улыбнулся, – только девушек в палате не будет, не пошутишь, что уже в раю.

– Нет уж, оставайся на грешной земле. *Туда* спешить не стоит.

– Ты права: в гости к Богу не бывает опозданий.

– Прошу: не волнуйся, не накручивай себя, я тебя знаю, навображаешь черт знает что. Все обойдется, вот увидишь. Приеду на операцию, само собой... Не может быть, чтобы.., – Ася не договорилась, порывисто встала, чмокнула меня в небритую щеку и вышла из палаты.

8

После ухода Аси повисла гробовая тишина. Тьфу, черт, откуда это выплыло: *гробовая*... Неужто другой эпитет нельзя придумать... Абсолютная, безбрежная, безгласная, безграничная, бездонная, бездыханная, безжизненная, беззвучная, какая там еще – напряги извилины, покопайся в своем словарном запасе – безлюдная, безмолвная, белая, беспробудная, беспросыпная, больничная, гулкая, дрёмная, звонкая, неизъяснимая, безрадостная... Все, хватит.

Скоро ужин, неожиданно проснулся аппетит, чего давно не было, наплохой признак, правда? – уговариваю себя. А сам протягиваю руку к столику, беру вялыми, непослушными пальцами мобильник. Так, зарядки хватает, сейчас войду в интернет, наберу два слова по-русски и узнаю про сидящее во мне устройство мины замедленного действия.

Безотказная Сеть выдает нужное по пунктам, дотошно, скрупулезно. Читай, обретай знания, примеряй на себя. *Рак аппендикса включает несколько типов опухолевых клеток, которые могут поражать различные части червеобразного отростка. Некоторые опухоли аппендикса являются доброкачественными. Другие опухоли являются злокачественными и, следовательно, могут распространяться на другие органы.*

Ничего нового, все понятно, может быть так и эдак. Кому как повезет.

...Ночью, после очередного похода в туалет, не смог заснуть и провертелся на неудобной постели до утра. *Я пил как воду горький бром полубессониц-полудрем...* Ничего не болело, живот не надувался, но отрешиться от нежелательных и даже вредных в моем положении мыслей был не в силах.

Жизнь и смерть ходят рядом и ничего не знают друг о друге. В особые отношения с костлявой старухой в черном балахоне человек вступает не тогда, когда стар и немощен, а много раньше, когда молод, здоров и брыжжет силами. В разном возрасте с нами может случиться что угодно, вплоть до самого страшного; иногда происходит это в нашем младенчестве, мы и не подозреваем, сколь близка смертельная опасность, и узнаем об этом потом, со слов старших.

Мать рассказывала: родив меня через месяц и семь дней после начала войны, она поначалу без опасения гуляла со мной на руках, ибо коляска отсутствовала; записавшись в ополчение, мой 46-летний отец не успел ее купить, равно как и кроватку, поэтому я спал в бельевой корзине. Прутья не были как следуют пропарены, в корзине завелись насекомые, искусанный, я вопил что было сил, мать извлекла меня из клоповника и я приходил в себя в ее постели, дневал и ночевал, пока красные пятна от укусов не сошли. По словам матери, блаженствовал...

Город в часе езды от Москвы на электричке не бомбили, находиться на улице было безопасно. Неширокая, еще не сплошь застроенная, одним концом упиралась она в рынок, другим – в поросший высокой травой пустырь, где паслись коровы и козы. От железнодорожного полотна и станции улицу отделяло не более трехсот метров, жители деревянных домишек засыпали под неумолчный перестук колес эшелонов, днем, по словам матери, эшелоны шли редко, зато ночью земля гудела.

То ли близость станции, то ли приметный ориентир – двухэтажный дом, но однажды над улицей, едва не касаясь печных труб, протарахтел немецкий самолет-разведчик, его на фронте окрестили «рамой». Мать часто вспоминала этот эпизод, всякий раз с новыми подробностями, не противоречившими прежним, а лишь добавлявшими переживания; в моей памяти рассказ ее соткался из сшитых вместе лоскутков пестрого одеяла.

– «Рама»? Знать не знала ни про какую «раму», – обычно на-

чинала она излагать случившееся с ней – и со мной-грудником. – Гуляю с тобой на руках недалеко от нашего дома, вдруг слышу шум мотора, и появляется чудище-юдище, и впрямь на раму похожее...

– Двухфюзеляжный самолет-разведчик, – уточняю я.

– Ну да, – соглашается мать. – Я испугалась, прижала тебя, Даня, к груди, голову в плечи втянула и замерла как вкопанная. Немец резко развернулся и летит в моем направлении, так низко, что вижу огромные глаза летчика под очками шлема (в одном из описаний мать употребила выражение «застывшие-беспощадные глаза»). Мне не могло померещиться. Если б не эти глаза, так бы и осталась у забора, к штакетнику прижавшись, но тут полную беззащитность почувствовала и побежала в противоположном доме направлении.

– Так птица уводит хищника от гнезда, – слушая уже взрослым в очередной раз мамин рассказ, вворачиваю свое, литературное.

– Ну да, – снова соглашается мать и непроизвольно поправляет, дает более точное сравнение. – В немце инстинкт сторожевого пса проснулся, кусает особенно яростно того, кто боится и убегает... Пулеметную очередь не слышу, вижу впившиеся в землю буравчики и падаю, понимая, что стреляют по мне. Обдираю локоть, предохраняя тебя, Даня, от удара, а немец новый полукруг делает и заходит с другой стороны. Я отползаю к забору и накрываю тебя собой: если уж попадет в меня, то, может, хоть ты жив останешься. Очередь прошивает траву, подрубают штакетник, минуя мишень живую, скрючившуюся, то есть меня с тобой... И тишина. Видать, надоела немцу охота, улетел он восвояси... Я несколько минут лежу, не шелохнувшись, не в силах поверить в спасение, потом поднимаюсь, бреду к дому, вхожу на веранду, и тут озноб начинается, зуб на зуб не попадает, накидываю шаль, кофту, пальто на толстом ватине – не помогает, дрожу вся, как при сильной температуре. А самое удивительное, Даня, что ты, несмотря на мое падение и очевидное неудобство лежания на траве, не проронил ни звука, продолжая спать.

Таким стало мое первое соприкосновение со смертью, о чем я не ведал, а узнал только из рассказа матери.

Сам же я впервые увидел мертвеца в соседском доме через дорожку, где по случаю похорон двери были широко раскрыты и обычно бегавшие по двору две злющие немецкие овчарки посажены на цепь. Мне было восемь лет. Хоронили Домашу Воротилину, вред-

ную тетку, имевшую большой сад и огород с высоким забором, куда частенько залетали футбольные мячи, которые хозяйка с остервенением резала и выбрасывала нам продырявленные покрывки. Сам вид тетки Домаша – высоченной затетёхи, прятанной в мужской наряд из полувоенного френча и галифе, заправленного в кирзу, отпугивал нас, пацанов, как чучело – птиц. Я ни разу не видел, чтобы она улыбалась. Говорила, по-вороньему каркая, громко и резко-отрывисто, часто материлась.

Сейчас она лежит в гробу под простыней, вокруг горят свечи, огромные руки сложены крестообразно на животе, правая поверх левой, голова и челюсть подвязана платком, лицо одутловатое, силюшное, глаза закрыты и кажется, она спит, готовая в любой момент очнуться, обвести всех мутным взглядом и прокаркать: «А ну, пошли все нахер отсюда!» Душно, воздух спертый, пахнет стеарином и чем-то еще, приторным, мне хочется скорее выбежать во двор, глотнуть свежего осеннего ветра. Я не испытываю ни страха, ни ужаса, ни чего-то иного, покойница воспринимается неким посторонним, лишним в комнате предметом, я думаю о том, что теперь можно будет играть в футбол, не боясь запугать мяч во владения тетки Домаша, и тереблю мать за карман кофты, она все понимает, и через пару минут мы покидаем помещение.

Вторично все произошло неожиданно и моментально, и потому воспринималось острее. Мы с отцом переходим железнодорожный переезд рядом с рынком, опущенная полосатая стрела шлагбаума показывает – скоро пройдет дальний пассажирский поезд или электричка, люди и машины терпеливо ждут, и лишь низкорослая старушка в платке, плисовом жакете и белых фетровых бурках упрямо пересекает пути, несмотря на закрытый переезд. Ей кричат вслед, она не реагирует, электричка уже совсем рядом, метрах в ста, истошно воеет, а старушка идет себе как ни в чем не бывало. Отец бросается было по направлению к ней, пытаясь догнать, и тянет за собой меня, крепко уцепившегося за руку, это и останавливает, передний вагон электрички сметает старушку с путей, я вижу разлетающиеся ошметки ее тела... Отец прижимает меня к себе и закрывает мне глаза ладонью.

Потом кто-то сказал, что знал погибшую и что она была совсем глухая...

Железная дорога едва не оборвала мою жизнь в юном возрасте. Знобкий холодок по позвоночнику, едва представляю картину: зима, мороз и солнце, я перехожу пути в неположенном месте, не по мосту, опрометчиво ставлю ногу между рельсами, слышу короткий скрежет переводимой стрелки, и мой правый валенок цепко хватает металлический капкан. Судорожно пробую выдернуть ногу – тщетно, капкан держит добычу, словно лапу зверя. Ужас пронизывает, проникает во все поры, мой крик-плач глушится истошным сигналом машиниста электрички, он пробует затормозить, гудок заходится в пароксизме, а я рву и рву из последних сил ногу из валенка, – и, о счастье!, нога высвобождается, оставив носок в валенке, я успеваю отскочить на метр, электричка проносится мимо с бешеным воем, обдав снежной пылью, я стою, босой на одну ногу, не в силах двинуться, мороз сушит слезы на щеках...

Дома я ни словом не обмолвился о случившемся, вернее, *о не случившемся*, мне это стало наукой, не в том смысле, что через пути больше не шастал, а пользовался мостом, нет, привычке сокращать расстояние не изменил, но отныне шагал по рельсам с оглядкой, и ноги мои в валенках, ботинках или кедах больше не попадали в таившуюся в зловещем скрещении стальных полос ловушку стального зверя.

Смерть незримо витает возле людей, ее как злого духа страшатся, умирать никому неохота – это я разумел детским умишком, однако осознание того, что и со мной однажды случится, существовало отдельно, не овладевало моим существом. Лишь внезапно развившаяся склонность к уединению и разного рода размышлениям побудила всерьез об этом задуматься, произошло это позднее, на пороге пятнадцатилетия. Но полутора годами ранее состоялось открытие – внутри меня оно свило гнездо, птенец рос, оперялся, готовился выпорхнуть на волю – и точно так же мое открытие помогало взростеть, исподволь избавляло от самого пагубного после страха порока – зависти.

Наш двухэтажный дом из свежеструганного дерева, с покатою крышей в белой черепице и кой-где торчавшей из боков паклей выглядел самым приметным на улице, ибо все остальные строения были одноэтажные. На втором этаже жили Ильины – родители,

взрослый сын и дочь-малолетка. Виталий Ильин учился в военной академии: статный красавец, кровь с молоком, щеголь, он редко приезжал в наш город. Я обращал внимание на его снисходительно-надменную улыбку, даже скорее барственную усмешку превосходства; так он смотрел не только на меня-мелюзгу, но и на взрослых обитателей двора: кто они все такие по сравнению с ним, будущим политраблотником доблестной советской армии... Исключения Виталий не делал ни для кого, даже для жившего дверь в дверь с Ильиными печника Степана Степановича, фронтовика-артиллериста, тяжело раненого, как я знал, в Восточной Пруссии.

В этот раз Виталий приехал не один, а с двумя приятелями, тоже слушателями академии, в форме старших лейтенантов. Они отметили окончание курса большой пьянкой – я видел, как мать Виталия, завстоловой ткацкой фабрики, тащила авоську с четырьмя бутылками водки. После застолья офицеры решили проветриться. Какая нелегкая занесла их на кладбище за озером, никто не знает. Изрядно разгоряченные выпитым, ражие парни начали соревноваться, прыгая через могилы, – кто на спор одолеет самую высокую ограду. Виталий прыгнул и с маху повис на острых пиках ограды, пропоров живот. Искекая кровью, он прожил, как говорили, не более часа – этого времени не хватило, чтобы доставить его в больницу.

Таких похорон наш город и тем более наша улица не видели. Прибыл весь личный состав курса, военный оркестр играл траурные марши, гроб с телом Виталия несли на руках до автобуса, примерно двести метров. Женщины плакали, мать Виталия отпаивали валерьянкой, она не держалась на ногах, мужчины скорбно молчали, Степан Степанович, озираясь по сторонам, перекрестился и пробормотал (я отчетливо услышал) незнакомое слово «*кощунник*», добавив: «Бог, он все видит...»

В ту отроческую пору я имел весьма смутное представление о некоей высшей, руководящей нашей жизнью, силе, меня этот вопрос не интересовал. Но я понял по интонации Степана Степановича, что, похоже, Бог наказал офицера за неподобающее поведение. Меня же, если откровенно, занимало совсем иное: вот жил на свете молодой красивый самонадеянный, задиравший нос старлей, готовился к службе в войсках, наверняка мнил себя генералом, ну, на худой конец, полковником, – и нет его, будто и не было вовсе, лег в

землю, исчез, растворился, и никогда не улыбнется снисходительно и не взглянет сверху вниз, как поймавший удачу за хвост, на ничем не примечательных людишек-козляков. Виталию на нашей улице завидовали.

Какой же вывод можно сделать? Ответ соткался незатейливо простой: никому никогда не следует завидовать, потому что конец у всех одинаков, все люди смертны, одни раньше, другие позже, то есть мы все в одинаковом положении, уравновешены одним исходом. Этому выводу сызмалетства я обязан тем, что в дальнейшей жизни и впрямь, как мне кажется, никому не завидовал, разве что гениальным писателям... Ну, а немного позже, едва начал взрослеть, в голову стало приходить то, над чем размышляли философы и мудрецы в течение многих веков; не зная и не понимая этого, мой наивный умишко бился над вопросами, которые никогда не будут разрешены, мне же казалось, будто вижу дотоле неведомую никому бездну. Тогда же прочитал «Отрочество» Толстого и изумился, насколько все похоже: ощущение, что первый открываю такие великие и полезные истины, что например, что счастье зависит не от внешних причин, а от нашего отношения к нему; что самые большие беды и страдания легче переживаются, если сопоставить их с неизбежным концом жизни каждого пребывающего на земле – какая, в сущности, разница, как он прожил отмеренный ему срок – в радости или в горести? Идущие следом размышления приводили меня к совсем уж неутешительным итогам: если это солнце, и эта вода, и эти деревья когда-нибудь исчезнут для меня, то есть исчезнут для них я сам, то стоит ли вообще жить, к чему-то стремиться, не все ли равно, когда оборвется мое существование, коль оно несомненно оборвется – и меня охватывала жуткая тоска (впрочем, рассуждений о тщете самой жизни я не нашел, это было мое личное открытие). Все кругом казалось унылым, ущербным, бесполезным, и в голову начинало лезть совсем уж несусветное, дикое. Это называлось *страхом жизни*... И невольно открывалось вовсе иное, дикое и безумное: смысл жизни – в смерти, осознание временности бытия и неминуемого конца заставляет людей действовать, спешить, совершать поступки, добиваться известности, славы, стремиться как-то обозначить свое краткое пребывание в этом мире, оставить по себе хоть какой-то след, пусть едва различимый, тем самым бро-

сильный вызов забвению, исчезновению, пустоте. След этот мгновенно занесется песком, снегом, зальется водой, исчезнет навечно – и все равно люди живут иллюзией, что не бессмысленно их пребывание на земле...

Нагромождение разных, нередко противоречащих друг другу мыслей создавало в голове кашу, переварить ее я был не в состоянии. Помог разобраться с себе Толстой, но уже когда я переболел в острой форме страстью к уединению и склонностью к отвлеченному мышлению (хроническая форма осталась на всю жизнь); это было типа кори или скарлатины, переболеть ими неизбежно и даже необходимо именно в юном возрасте. Я выписал в тетрадку одно его наблюдение, абсолютно точно соответствовавшее тогдашнему моему состоянию – оказывается, я вовсе не оригинален: «...философские открытия, которые я делал, чрезвычайно льстили моему самолюбию: я часто воображал себя великим человеком, открывающим для блага всего человечества новые истины, и с гордым сознанием своего достоинства смотрел на остальных смертных; но, странно, приходя в столкновение с этими смертными, я робел перед ними, и чем выше ставил себя в собственном мнении, тем менее был способен с другими не только выказывать сознание собственного достоинства, но не мог даже привыкнуть не стыдиться за каждое свое самое простое слово и движение».

9

Ветер дул. Текла вода. Пели птицы. Шли года.

Я уже учился в университете, когда умерла тетя Маруся. Умерла внезапно, ужинала в одиночестве и упала со стула. Врачи говорили – оторвался тромб. Отец сильно переживал, на него больно было смотреть, Соня держалась стойко, Зина успокаивала ее, после похорон собрались в гостиной тети Маруси, сидели молча впотьмах, поминки не устраивали, атмосфера была угнетающей.

Через шесть лет пришел черед отца. Тяжелый инсульт приковал его к постели. Я добыл Москве дефицитный западный антибиотик, благо работа в большой газете открывала двери аптечного управления, отцу делали уколы каждые шесть часов... Более страшной ночи в моей жизни не было. Я лежал в соседней комнате на железной кровати с никелированными шишечками, вслушиваясь в издавае-

мые легкими отца монотонные хрипы, они становились сильнее с каждым часом, хваленый антибиотик проигрывал схватку за жизнь, я кусал губы от бессилия, вскакивал, наскоро одевался и выходил во двор. Мороз кусал щеки, ветер сбивал дыхание, влага из-под век застывала на лету, становясь бусинками стекляруса. Ночные неправдоподобно яркие, как в планетарии, звезды чудились совсем близкими – рукой можно дотянуться, лунный свет пятнал извилистую дорожку от крыльца террасы до ворот. Дорожку чистил отец – возле порога лежала неубранная лопата. И то, что он это сделал в последний раз, и внезапность его неизбежного *ухода*, когда только и надо было начинать радоваться жизни – родилась внучка! – рождало ощущение величайшей несправедливости.

Я плакал так, как плачет зрелый мужчина, незнакомо для самого себя, в груди щемило и резало, отдавало в переносицу, но слезы не текли, то есть они текли, но не наружу, а внутрь, надрывая мое нутро. Я возвращался в дом, где меня встречали тяжелые свистящие звуки, будто работали мехи кузнечного горна. Так тяжело расстался с жизнью мой отец.

Мать смачивала ему лоб и губы, пыталась давать пить – вода проливалась на подушку. Я прикоснулся губами ко лбу – лоб горел.

Под утро хрипы усилились, отец задышал чаще, я поспешил к нему, попросил мать зажечь полный свет всех лампочек светильника, взял его безжизненную, израненную осколками руку, прижал тыльной стороной ладони к лицу. Отец вдруг открыл глаза (мне не померещилось!), обвел меня и мать строгим взыскующим взглядом, еще раз глубоко, всей грудью вздохнул и замер навсегда.

Многие годы мне снится одно и то же: не умерший на моих руках от инсульта и отека легкого отец, а внезапно исчезнувший, растворившийся в людской массе, не подающий о себе вестей; я ищу его повсюду, рыскаю по чужим домам, прореживаю Москву вдоль и поперек, расспрашиваю знакомых и незнакомых – все тщетно; изредка отец появляется – в неизменных галифе и френче, высокий, несогбенный, лучащийся детской беззащитной улыбкой, и снова исчезает. Куда, зачем?... Мука бессилия, отчаяние безнадежности, я просыпаюсь на увлажненной подушке, я не чувствую слез, они проступают незаметно, как роса на траве и камнях. По Фрейду, отъезд, исчезновение означают в сновидении смерть, умирание. Во сне

я этого не знаю, оттого так горько просыпаться, возвращаясь в осмысленную неизбежность бытия.

Прошлое отбрасывает длинные тени. Тень отца незримо витает надо мной, словно оберегает от необдуманных, сомнительных, подлых поступков, впрочем, кое от чего не смогла предостеречь, но таких поступков было бы неизмеримо больше, если бы не отцовская тень, невидимая и взыскующая. Так случилось, что я не знал дедушек и бабушек по отцовской и материнской линии, скончались они в начале и в середине тридцатых, один дед был купцом средней руки, торговал мануфактурой и был лишен всего, другой, живший в Саратовской области, не пережил Голодомор вместе с женой, моей бабушкой; их лики были запечатлены на старых, тронутых патиной времени снимках, хранившихся в альбоме с бархатным футляром и золотистой фигурной застежкой. Страницы из твердой гладкой бумаги наподобие картона имели гнезда-прорези, куда вставлялись снимки. Любительских сереньких блеклых, набралось их не так много и они мало гармонировали с роскошным альбомом, невесть как попавшим в наш дом. Я видел отца в шинели учащегося коммерческого училища и фуражке с эмблемой торговли и промышленности – «жезлом Меркурия», голым по пояс с косой в руках, в военной гимнастике и галифе, видел сидящим на вечеринке в обнимку с молодой красивой женщиной, в которой узнавал мать, отец рано облысел и брил голову, потом завел усы и бороду, это когда, я догадывался, вышел из тюрьмы. Очень нравилось его фото в сбитой набекрень папаше – отец глядел добро и улыбочиво. Альбом я взял с собой в эмиграцию и иногда листал тяжелые страницы с прорезями, биение сердца при этом учащалось, эмоции захлестывали, как морские волны – прибрежный камень. Все было знакомо, существовало в глубоком прошлом и словно эхо доносилось до меня нынешнего, я только сетовал на себя – стал забывать имена родственников, которых никогда не видел.

Одно размышление при взгляде на фотографии отца не давало покоя. Таких людей я больше не встречал, он принадлежал к вымирающей доисторической породе динозавров и птеродактилей, вызывающей покровительственно-высокомерную, снисходительную, жалостливую улыбку и покручивание пальцем у виска – чудак, не сказать большего. И впрямь чудак! – ну как иначе можно описать

сцену разговора с директором артели и последовавшую отцовскую реакцию... Отец был начальником одного из цехов промкооперативной *лавочки*, выпускавшей гуталин, стиральный порошок, хозяйственное мыло и прочую продукцию, востребованную бедным послевоенным населением, он регулярно получал красные знамена передовика производства и премии, немного добавлявшие к его 150-рублевой зарплате. *Лавочка* имела четыре цеха, ими командовали, кроме моего отца-русского, – еврей, армянин и украинец: не стоит тратить пыл ради понятного даже ежу утверждения, что отцовские коллеги делали на гуталине, стиральном порошке, хозяйственном мыле огромные деньги, которых хватало на взятки ОБХСС, поэтому их не трогали. Отец в этом категорически не участвовал. Он ездил на работу в Москву в неизменной одежде – гимнастерке и галифе из синей «диагонали», кой-где заштопанной, одежда соответствовала нашему материальному положению, ибо мать, бухгалтер, к моменту незабываемой беседы директора и подчиненного не работала из-за нездоровья. Директор, мордатый мужик с красными апоплексическими щеками от частых возлияний, фотянул отцу конверт, произнеся всего два слова: «Товарищи решили...» Дело было в конце месяца, в пятницу вечером, когда в артели выдавали зарплату. Отец ничего не понял, вертел конверт и вопросительно смотрел на директора. «Здесь тысяча рублей. Будете получать каждый месяц. Может, наконец-то купите себе нормальный костюм...», – и директор гаденько хихикнул. По словам отца, рассказавшего мне, очевидно, в назидание, эту историю, глумливое хихиканье вывело его из себя. Как всякий страдавший гипертонией, он вспыхивал мгновенно, гнев не улетучивался, некоторое время жил в нем, побуждая порой совершать отчаянные поступки. Отец собирался после работы в баню и вошел в кабинет директора с фибровым чемоданчиком, где лежали мочалка, мыло, сменные майка и альсоны. Чемоданчик был обшит латунными уголками. Не помня себя, отец саданул чемоданчиком директора по голове, тот издал звук наподобие пороссячьего хрюканья и рухнул на линолеумный пол...

Агрессивная выходка сошла отцу с рук – милицию вызывать не стали. Отца не уволили, с директором он вскоре помирился, по конверт с деньгами никто не вспоминал, отец продолжал ходить в штопанных галифе и гимнастерке. Незадолго до смерти, невзначай,

как бы впроброс, он обронил: «Мне кажется, я неправильно прожил жизнь». Я не стал уточнять, что он имел в виду, отец избежал подробностей. В его устах, почудилось, прозвучало запоздалое извинение за бедность, на которую он обрек семью. Впрочем, я не настаиваю на верности расшифровки отцовского откровения – может, подразумевал он совсем иное, простирающееся на многих, на тысячи и миллионы, на целый народ, кому было и есть о чем глубоко сожалеть. Кто знает...

Я долго пользовался фибровым чемоданчиком с латунными уголками, казалось, чувствовал тепло отцовских пальцев, сжимавших ручку, чемоданчик одновременно служил напоминанием и предостережением – никогда ни от кого не брать и никому не давать денежных подношений; исключение поджидало в Америке, когда за вселение в просторную квартиру со сравнительно щадящим рентом пришлось отдать полторы тысячи долларов.

Позвонила Ася, сообщила, что навела справки и покопалась в интернете по поводу Кларка. «Хирург классный, можешь не беспокоиться – свое дело знает.» – «А я и не беспокоюсь». – «Вот это правильно».

Ближе к полудню неожиданно появились Роберт и Вадим. Водрузили два кулька с фруктами и соками на столик, медсестра (не Алисия, другая) по моей просьбе засунула содержимое кулков в холодильник – есть и пить не хотелось, да особо и нельзя было – в госпитале получал строго диетическую пищу, от которой воротило.

Друзья расселись возле кровати. Первый вопрос был ожидаем, не блистал оригинальностью, впрочем, от него это и не требовалось. Ответ я приготовил заранее.

– Как себя чувствуешь?

– Слава богу, сегодня так же хреново, как и вчера, но не хуже.

И тут же выдал коронную шутку: «Больной, поступили окончательные результаты ваших анализов. Думаю, вы покинете больницу в течение этой недели. – Доктор, огромное спасибо! – Боюсь, больной, вы не совсем правильно меня поняли».

– С чувством юмора у тебя порядок, – Роберт изобразил улыбку и продолжил в том же духе («Будем лечить или пусть живет?» «Если больной очень хочет жить, врачи бессильны»). Он демон-

стрировал нарочитый оптимизм: дескать, чего ты разлежся, нефига тут делать... Вадим смотрел задумчиво-сумрачно, гладил усы, интересовался диагнозом, выпрашивал детали, которых я не знал и не мог сообщить.

Я решил поддержать избранный тон.

– Ребята, а где пиво?

– Какое пиво? – удивился Роберт.

– Рак есть, а пива нет, – пояснил я.

Приятель напрягся, в глазах неподдельная тревога:

– Ну и шуточки у тебя...

– Старая светловская хохма, – внес ясность всезнающий Вадим.

– Ладно, тогда вопрос: что бы ты выбрал: болезнь Альцгеймера или болезнь Паркинсона? – спросил я, глядя на Роберта.

– Хрен редьки не слаще.

– Не скажи. Я бы выбрал Паркинсона. Лучше расплескать чуть-чуть коньяка себе на брюки, чем забыть, куда девал целую бутылку.

– Истинная правда... Ладно, давай о серьезном, – он погасил улыбку. – Когда операция?

– Завтра.

– Что тесты показывают? Врачи темнят или правду говорят?

– Они сами ничего не знают. Вот распорят брюхо и увидят...

Подозрение на аппендикс – вроде увеличен, воспален.

– Так это ж хорошо! Отчищают ненужный орган и финиш.

– Вот именно – финиш... Если бы было так просто... Хирург мой имеет подозрения – я из его слов понял.

– Нет более верного признака дурного устройства городов, чем обилие в них юристов и врачей, – ввернул Вадим. – Кто-то из древних сказал, не помню, но к нашей действительности самое прямое отношение имеет.

– И тем не менее, без них не обойтись... Ладно, хватит обо мне. Какие новости?

На сей раз обсуждали не литературные дела – только политику: Роберт пожаловался на растущее количество врагов в связи с его яростными публикациями против трампистов в русском еженедельнике. Я понимал волнение друга – весной 2017-го атаковать Трампа означало добровольно стать мишенью, в которую выстреливали все кому не лень. Перекинулись на Коми, на слушания в Сенате

по поводу его внезапного увольнения. Для директора ФБР факт российского вмешательства в выборы не вызывал сомнений, президенту это не понравилось, ну и... И пошло-поехало в нашем разговоре, запалился фитиль бикфордова шнура.

– Ты, Даня, послушай, что Путин сказал на днях в Питере... Вроде и не отрицал вмешательство, однако нашел хитрые аргументы contra: дескать, хакеры – они могут откуда угодно вылезти, из любой страны мира, они же люди свободные, как художники, настроение у них хорошее, встали с утра и занимаются тем, что картины рисуют. Так и хакеры – проснулись, прочитали, что там что-то происходит в межгосударственных отношениях, если настроены патриотически, начинают вносить свою лепту в борьбу с теми, кто плохо о России отзывается. На государственном уровне мы этим не занимаемся, заявил, вот что самое важное. Хакеры-патриоты! Додуматься сказануть такое!

– Кремлевские люди участвовали – факт. Знали ли Трамп и окружение его об этом, поощряли втихую? Вот главный вопрос. Пускай Мюллер разбирается.

– Разберется, Даня, не сомневайся.

– Я убежден: никакие хакеры не могли кардинально влиять на выборы. Никакие их происки не повлияли на сознание избирателей. Американцы, а не русские хакеры, избрали Трампа.

– Нет, дорогой Вадим, повлияли, хоть ты это отрицаешь. Фейковая информация капала на мозги, еще как капала!

– Ты Трампа терпеть не можешь, поэтому не удивляюсь твоей реакции...

...Приход друзей позволил на короткое время забыть о болячках, я снова стал бодрым и неунывающим, мы говорили так, будто ничего не происходило и мы снова пьем пиво и нежимся под солнцем на веранде Роберта. Они ушли, пожелав мне спокойствия и удачи.

Позвонили сначала Ася, потом еще трое знакомых, откуда-то узнавших об операции: русский Нью-Йорк – одна большая деревня, я выслушал пожелания скорейшего выздоровления. Принесли ужин: зеленый салат, жидкое пюре с паровыми тефтелями, клюквенный морс. Поел без желания. Усталость навалилась моментально,

растворилась в теле, как сода в воде, отозвавшись вялостью и апатией. Хотелось спать.

Надо бы известить дочь в Калифорнии и сына в Москве – предусмотрительно взятая в госпиталь телефонная карта «Матрешка» давала возможность связаться с ними. Решил отсрочить звонки – волновать попусту не нужно, лучше сообщить после операции, когда обнаружится или самое страшное или бог милует.

10

Что такое жизнь? След светлячка в ночи. Дыхание бизона, когда приходит зима. Тень, ложащаяся на траву и тающая на рассвете. Так говорили индейцы, или кто-то приписывал им это, поди установи. Моя теперешняя жизнь отмерена несколькими часами – до момента, когда в распластанное в наркозном состоянии на операционном столе безропотное тело войдет инструмент доктора Кларка и мой живот откроет, что же в нем творится и чего можно ожидать. А покамест я остаюсь один на один с неизвестностью.

Операция была назначена на утро. Шло по-залаженному: анестезиолог, атлетического сложения афроамериканец с французским именем Антуан (наверняка выходец из Луизианы), задал положенные по инструкции вопросы, главный из которых – есть ли аллергия на какие-либо препараты, оценил мое психологическое состояние и остался им доволен. Обошлось без премедикации успокаивающими средствами. Антуан ввел наркоз уколом в вену, подключил к аппаратам искусственного дыхания, поколдовал над чем-то там еще. С каждой секундой я все более смутно ощущал, что со мной происходит, а потом и вовсе забылся.

...Очнулся в послеоперационном отделении, где в боксах за занавесками лежали такие же, как я. Наркоз начинал отходить, руки и ноги были ватные, мозги плохо соображали. Медсестра-китайка, а может, кореянка, и врач интересовались самочувствием – я что-то мычал в ответ. Монитор показывал повышенное давление. Появилась Ася, бледная, ненакрашенная, наклонилась и поцеловала в лоб. Как покойника, подумал я.

– Все позади, все хорошо, Кларк тебе сам расскажет, я не успела с ним поговорить.

– Ваша жена? – участливо спросила медсестра.

Я кивнул и криво улыбнулся, вернее, сделал попытку двинуть губами.

– Сколько шла операция? – еле слышно, почти шепотом, спросил у Аси.

– Меньше трех часов. Болит? Не скрывай, не делай из себя героя, если болит, скажи, тебе дадут опиоиды, тримадол или морфин, если боль сильная.

Я не чувствовал сильной боли и помотал головой: все в порядке. Медсестра проверила, как держатся бинты.

– It's okay, – и дала мне попить.

Появился доктор Кларк. Бросил на Асю беглый оценивающий взгляд греховодника (а другим «Клуни» быть не мог, по моему разумению), присел рядом с койкой и произнес то, что я боялся услышать:

– Операция прошла успешно. Я удалил нейроэндокринную опухоль на кончике аппендикса. Опухоль небольшая, не более двух с половиной сантиметров. Экспресс-биопсия показала наличие озлокачественных клеток. К сожалению... Более точный, углубленный анализ получим завтра. Тем не менее, вы вовремя легли в госпиталь, время не упущено. Я провел правостороннюю гемиколэктомию, то есть удалил часть правого отдела толстой кишки, как обычно делают, хотя метастазов не увидел.

Сказанное хирургом тяжелым грузом упало в глухой колодец моего замутненного сознания и потонуло там. Я не все понял из слов Кларка, но главное до меня дошло: это онкология. Ася с ее совершенным английским разнервничалась, начала допытываться до деталей. Будет ли химиотерапия? Решим чуть позднее, когда ваш друг придет в себя и мы еще раз проведем тесты. По моему мнению, химиотерапия для страховки не лишняя...

Взглянул на меня и ободряюще улыбнулся:

– Everything will be fine, you will see. According to medical statistics, almost eighty percent of people live five years or more after such operations.

(«Все будет хорошо, вот увидите. По медицинской статистике, почти восемьдесят процентов людей живут пять лет и более после таких операций»)

Через три дня меня выписали домой. Эти три госпитальных дня спрессовались в единое целое, минуты сливались в часы, циферблат напоминал бергмановский – стрелки отсутствовали, время как будто остановилось. Сильная боль была в самом начале, длилась, угнетаемая опиоидами, полсуток, в остальное время терпимо. Я заставлял себя не думать о случившемся, о возможных и, скорее всего, неминуемых последствиях, пытался вспоминать красивые пейзажи, реально виденные когда-то и придуманные, воображенные; передо мной проплывали женские лики, обнаженные натуры, я занимался любовью, гладил, целовал, ласкал языком женские прелести, несколько раз возникали коленки девицы, той самой, из вагона сабвэя, с которой, как казалось, начались мои неприятности, – коленки полные и круглые, с невыпирающими чашечками и не морщинистыми складками кожи, натянутой, как на барабане. Но сколько бы не пытался отвлечься, занять мысли приятным, не получалось – в голове словно штырь засел, он неумолимо возвращал к вердикту доктора Кларка, то и дело мелькал воспаленный аппендикс с опухолью на конце в виде ядовитого мухомора с мясистой красной шляпкой... Почти восемьдесят процентов оперированных живут пять лет и более... А если я не окажусь среди этих *почти*?

Биопсия показала отсутствие метастазов. Ну и что? Где гарантия, что зловоредные клетки не спрятались в брюшине, печени, селезенке или где-то еще, как замаскированный боевой отряд, и только и ждут команды перейти в атаку? И что тогда? Тогда – мучения, превращение в одинокого, беспомощного, угасающего старика, короче, крышка. Больше всего я боюсь такого исхода, не смерти, неизбежной и неотвратимой для каждого, здорового и больного, а именно беспомощности в четырех стенах с запахом стариковской затхлости. В таком раскладе лучше уйти самому, не дожидаясь самого худшего. Доктор Кеворкян, где ты, ау, откликнись, тебя уже нет на свете, но дело твое живет, только не в Америке, где лицемерие правит бал. «Доктор Суицид», герой эвтаназии, дважды или сколько там раз отправленный в тюрьму за осуществленные намерения помочь людям, для которых житье тошней недуга. Ты мне пригодился бы в крайнем случае...

Я лежал и представлял: вот что будет происходить со мной, если... если обернется не так, как обещает доктор Кларк. Никогда не

может быть так плохо, чтобы потом не стало еще хуже. Скоротечность событий не позволяла проникнуться осознанием случившегося, сейчас я заново переживал болезнь, первую реакцию на кошмарное известие и мой подавленный беззвучный стон-крик: *нет, только не я, не может быть*. За что, почему, чем прогневил Бога? – терзался, будучи агностиком. За то и прогневил, составил ответ и тут же был отвергнут: разве истинно верующих не находит кара... И следом раздирали душу раздражение, гнев, ярость: *почему именно я?* Разве легко добивался поставленных целей, разве мог считаться любимчиком судьбы? Черта с два, лучшее, что я сделал в жизни, достиг не благодаря, а вопреки. Мозг сверлило: много лет жил в криводушии – думал одно, говорил другое, делал третье – стыдясь некоторых поступков и изводя себя болезненным, осудительным самокопанием; слабое утешение конформисту, что так живут почти все – но с кого-то как с гуся вода, а кому-то откликается. А может, потому и пал на меня жребий, что не терпел половинчатости и непоследовательности, а следовало терпеть и жить медленно и неправильно по завету Венички, *чтобы не успел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян*.

Про жребий выпавший, конечно, ерунда, рак, он не выбирает, не наказывает за что-то, он гвоздит всех подряд без разбора, правых и виноватых, мы с рождения носим вредоносные клетки, угнездились они, подлые, в нас, сидят тихо, безмолвно – и вдруг голос подадут, а почему, отчего, по какой причине – поди разберись. И про божий гнев ерунда, Бог не карает болезнями перед ним провинившихся, иначе какой же он милосердный? Это мы, и паства, и неверующие, и сомневающиеся в присутствии Того, кто всем управляет, чья длань простерта над всеми, придумали в утешение или в осуждение про наказание Господне. Грешники и праведники, если таковые находятся, в чем я сильно сомневаюсь, находят объяснение своим бедам, на поверку же – случайный выбор, принцип неопределенности, метод тыка, словно кто-то с нами в рулетку играет, крутит чертово колесо: чет-нечет, красное-черное, цифры такие, цифры сякие, а в итоге... Богу угодны не горделивые, а сокрушенные сердца, угодны ему не надменные, а смиренные, нужны ему не те, кто все может, а те, кто не может ничего, и тогда Он, воистину всемогущий, становится их силой. Я же, не горделивый и не надменный, просто попал под раздачу...

Я вел бой с самим собой, со своей темной стороной. Сотрясение воздуха, бой боксера с мнимым соперником, которого боец представляет себе; незримым соперником был я сам в окружении теней прошлого. Тени тревожили – нет, конечно, не мальчики кровавые в глазах – откуда им взяться, но мне и моих теней достаточно.

Избирая самый неблагоприятный вариант, я смутно представлял дальнейшее, не мог представить ничего кроме нарастающей боли и разложения организма наподобие куска мяса, который сначала заветривается, а потом тухнет, однако противился погружению в безнадегу: не может человек закапывать себя живого, не имеет права – однако думал об этом постоянно. Наверное, стану всеми силами цепляться за жизнь в попытке отсрочить неизбежное, потом, очевидно, впаду в депрессию и в самом конце приду к смирению, когда уже ни страха, ни отчаяния, ничего. Нет, лучше не ждать финала, уйти самому. Убить себя. Преодолеть Бога в себе. А человека, другого, не себя, смог бы убить? В каких-то обстоятельствах – да, смог бы.

Но что такое – преодоление Бога в себе? Я не могу знать, существует ли Бог, есть ли рай и ад, жизнь после смерти и прочее, не верю и одновременно не отрицаю, что Высшее начало присутствует и повелевает. Нечто непознанное присутствует в моей душе и всякий раз противится гадким поступкам, тем не менее совершаемым, я переживаю, страдаю, каюсь и вновь совершаю. Следовательно, Бог в какой-то форме существует во мне или я не прав?

Но как убить себя? Найти и принять яд. Наглотаться таблеток. Прыгнуть на рельсы перед идущим поездом метро или с моста или с крыши высотного здания. Проще всего, пустить в себя пулю, для этого надо пистолет иметь, а у меня оружия нет. Но перед этим погрузиться в нирвану. Не ведаю, как это сделать, я не буддист. Может, послушать дивную музыку?

Врач: вам осталось жить десять минут.

Пациент: Тогда поставьте четвертую часть Пятой симфонии Малера.

Врач: Но она длится одиннадцать минут.

Голос свыше: Я разрешаю.

Буддисты верят: хороший человек начинает остывать с ног, а плохой – с головы. Интересно, я хороший или плохой?

Я бы организовал собственные похороны совсем не так, как принято. Не зря говорят: похороны важнее покойника, как свадьба важнее любви. Никаких священников со скучными речами и наивными попытками разукрасить необязательными эпитетами сосуд скудельный, жизнь в котором прогорела до тла. Музыка, только музыка, веселая и печальная: веселая, тешащая душу – Вивальди, Штраус, Моцарт, печальная, для слез в душе – *Lacrimosa* из Реквиема, *Adagietto* Малера, *Adagio* Барбера. Дочь или сын прочтут мое обращение к собравшимся. Я попрошу друзей: пусть выступления будут короткие, без трагического пафоса, желательно с юмором, и пусть звучат и женские голоса. Потом – кремация, несмотря на глухое осуждение – нельзя, не по-божески, а я не желаю отдать себя на пожирание червям, мне проще прахом стать. Дети развеют там, где я укажу (еще не решил, где). Гениальную надпись видел на кладбище в подмосковной Малаховке: «Боря, вот и все...» Вот и все, Даниил: любовь, измены, радости, страдания, книги, чужие и тобой сочиненные, путешествия, добрые и скверные поступки, сомнения и страхи, умные и глупые решения, победы и поражения, несбывшиеся мечтания, надежды, деньги, никогда в достатке не имевшиеся, бессмысленное ожидание чуда, обиды и прощения, презрение и самоосуждение, стыд и искупление – и много чего еще, оставшегося за чертой, линией тени. Тень исчезнет с твоим бранным телом, чтобы не возродиться.

...Мы говорим: человек пришел в этот мир. Спрашивается, кто его звал? Кто меня спросил, хочу ли стать песчинкой в пустыне, каплей в океане, дождевой каплей, снежинкой? Никто не спросил и правильно сделал. Не найдется никого, кто не согласился бы появиться на этом свете, ибо чаша жизни прекрасна и глупость негодовать на нее только потому, что видишь ее дно. Если по этой части появится оппонент, оголтелый, полусумасшедший мизантроп, то не преминет сунуть мне под нос цитатку: *«Не родиться совсем – удел лучший»*. А покажется мало, прибежит к помощи Шопенгауэра: *«Если ближайшая и непосредственная цель нашей жизни не есть страдание, то наше существование представляет самое бесполое и нецелесообразное явление»*... Черт с ним, с философом, говорят, великим, наплевать и забыть; если бы не было смерти, не было бы и философов. И пусть от меня ничего не останется кроме горсти пепла, развеян-

ного на ветру, но, может, кого-то надоумит сказать на прощании: не станем горевать, что его не стало, а будем радоваться, что он был среди людей, жил как умел и не всегда как хотел, его присутствие среди нас было не лишним, и пусть песчинка, капля, дождинка и снежинка уступят место другим, которые в свой черед совершат то же самое...

И еще каким-то странным озарением властно вторгалось в мозг: земная жизнь человека обрывается в момент смерти и одновременно продолжается в существовании других людей до тех пор, пока человечество присутствует на нашей планете. Таким образом, мы бессмертны, если человечество не будет уничтожено в каких-либо катаклизмах. Все зависит от того, какую пограничную черту человек проведет сам для себя. Если мы полагаем, что существуем только в пределах собственного тела, физическая смерть подводит итог всему, но если воспринимаем себя звеном в бесконечной цепочке предков и потомков, или целого народа, или человечества в целом, или живой природы вообще, то в нашем восприятии моментом нашей смерти может стать лишь момент гибели всей цепочки.

Такая вот мудреная и в сущности простая философия. Что-то подсказывало несогласие: я знал, что со смертью кончается все, лишь память о человеке остается и то ненадолго, пока живы дети и внуки, а уж правнуки наверняка позабудут. Миллиарды людей несутся былинками в сплошном гигантском потоке, текущем бесконечно и неостановимо, и индивидуальной смерти как конца жизни отдельного человека в потоке этом не существует.

Просыпаясь среди ночи, я включал прикроватный светильник и пробовал читать – желания хватало на полчаса. На белой стене колыхались тени, блуждали световые пятна. Я поднимал руку – тень следовала за моим движением. Вдруг сам собой возникал силуэт Города, который я никогда не видел и мог лишь вообразить, Город этот придумал Мураками, жители его не имели теней, а новоприбывшим тени обрезами. Разве можно жить без отбрасываемой телом тени? Нельзя жить. Считается, что тень человека есть видимое явление его души. Нет тени – нет человека. Человек не может без тени, тень не может без человека. Люди подвластны суевериям, по сию пору верят: тень не только живет своей жизнью, но и может воздействовать на жизнь человека. Если у человека ранее была, но потом вдруг

пропала тень, значит, он скоро умрет. Но если человек умер, то кому же он передал свою тень?

В одной книжке, помнится, главный герой продает свою тень, и жизнь сразу оборачивается темной стороной, в другой сказке сбегавшая от ученого тень стала жить собственной отвратительной жизнью... В общем, ничего хорошего для тех, кто не относится к тени с трепетным чувством. В Древнем Египте даже существовала должность смотрителя за тенью, он следовал за фараоном и внимательно следил, дабы господин ненароком не встал на свою тень...

Когда-то меня занимали эти вопросы с точки зрения применимости к моим сочинениям, потом отпали за ненужностью и вот снова возникли мистическим видением, касающимся вовсе не литературы. Мои тени шевелятся на стене, принимают причудливые позы и положения в зависимости от осторожных взмахов руками, играть и забавляться с тенями нет сил – в любом случае, тени существуют и я покамест не умираю.

А может, махнуть рукой на надвигающуюся беду, собрать остатки сил и закружиться в безумной карусели – кутить напропалую, любить женщин, ездить по миру, получать удовольствие от каждой прожитой минуты, жадно восполняя пробелы жизни – и знать, что минут этих, часов, дней все меньше остается. Попытаться, елико возможно, достойно пройти испытание страхом смерти, понять, наконец, цену того, над чем прежде часто иронизировал – любви, нежности, участия, доброты. Как герой «Часа пик» – был такой спектакль в театре на Таганке. У него ничего не вышло, а у меня? Есть ли гарантия, что выйдет, получится? Нету такой гарантии... И приходил я к пониманию ужасающе простой истины: не для меня этот путь, элементарно сил не хватит, да и желания: кто жил не на полную катушку, тот не в силах бороться и оседлать карусельную лошадку, и закат свой встретит покорно и безропотно. И завещает написать на могильном камне, как повелел знаменитый актер вестернов: *«Завтрашний день – самая важная вещь в жизни. Он навещает нас в полночь. Замечательно, когда он приходит и отдается прямо в наши руки. Он надеется, что мы возымели хоть какой-то урок со вчерашнего дня».*

Хотел бы я знать, каким будет мой завтрашний день...

Вот такие заполошные мысли лезли в голову.

В эти трое суток что только не заполняло пространство моего воспаленного сознания: я прощался с жизнью и воскресал, пытался изгонять мрачное настроение, сеять надежду и впадал в тоску и безысходность, отвлекал себя потусторонними видениями, отдавая дань мистике, таинственности, суеверно представлял свое чудесное выздоровление, и вновь возвращался в реальность. Ночами дважды со мной случались приступы panic attack – я безошибочно угадывал ее свойства. Внезапно просыпался от жуткой тревоги и страха, сердце бешено колотилось, норовя выскочить из ребер, дрожь и озноб содрогали руки, ноги, суставы, как если бы через них пропускали ток, лоб покрывался холодной испариной, я задыхался, будто из воздуха высосали кислород. Паника охватывала все мое естество, бороться с ней не было возможности, я порывался вскочить и помчаться куда глаза глядят, сил бежать не было, я лишь, с трудом одолевая боль, садился в койке и широко раскрывал рот, точно рыба, выброшенная на берег. Глотки воды из бутылки не помогали. Так приходит скорая смерть, мелькало в гудящей голове. Длилось такое состояние три-четыре минуты, потом все приходило в норму.

Я осознавал, что panic attack подвержены миллионы американцев, глотающие пилюли, но мой случай особый, тут пилюли не помогут, да и где их взять... Признаться доктору Кларку? Вызовет психотерапевта, тот начнет лечить и хана – сяду на прозак и еще более сильные антидепрессанты, сойти с которых все равно, наверное, что бросить принимать наркотики – отзовется бедой. Бороться надо самому...

Меня выписали домой, где уже ждала сиделка, заранее нанятая предусмотрительной Асей, – женщина под шестьдесят, бывшая училка из Киева, в течение недели должна была ходить в магазины, готовить диетические обеды, выводить меня на прогулки. С прогулками не получилось – стояла страшная жара под сто фаренгейтных градусов, казать носа из помещения с кондиционерами невозможно. Все остальное училка выполняла добросовестно, хотя пища ее не нравилась. В свободные от обязанностей по дому часы она форменным образом изводила бесконечными разговорами о политике. Истовая либералка, честила в хвост и в гриву новоизбранного президента, кумиром ее был Обама. Я безуспешно пытался унять словесный поток. Ее бы с Робертом познакомить, вот с кем отвела бы

душу. Поэтому легко вздохнул, когда истек срок пребывания училки и она отбыла восвояси в Бруклин в семью дочери. Я вполне мог обихоживать себя.

Одoleвавшие меня в госпитале скверные предчувствия, тревоги и страх притупились дома (и впрямь, дома и стены лечат), я не впускал в себя, елико возможно, разрушающие эмоции, старался не думать о том, что ожидает, вновь засел за роман. Живот не беспокоил – ни болей, ни прочих признаков нездоровья. А может, пронесет? – робко успокаивал себя. Я свыкался, сживался с новой ситуацией ожидания.

Жизнь вращалась по заведенному прежде кругу, вот только обратил внимание: звонков на мобильник стало меньше, обо мне словно забыли. Братцы, я живой, куда же вы подевались, друзья-приятели, знакомые, заказчики воспоминаний о былом? Это не относилось к Роберту, Вадиму и паре-тройке других приятных собеседников – общение с ними продолжалось. Я пригласил Асю в классный французский ресторан Le Bernardin в Манхэттене на 51-й улице. Я был ей признателен за все. Жаль, секс отсутствует, но тут уж ничего не поделаешь. И однажды приснилась уступившая место в сабвэе девица с аппетитными коленками. Сон вышел диковинный, как все сны: девица в синей униформе медсестры делает уколы в ягодицы, мне неловко поворачиваться к ней задом, она смеется, забавляется моей стеснительностью, неожиданно, сам от себя не ожидавший такой смелости, я шаловливо глажу ее по коленке, девица не отталкивает руку, смотрит не осудительно, совсем не по-американски, скорее поощрительно...

Из госпиталя позвонили и назначили дату первого курса химиотерапии. Напоминание прозвучало вовремя, внутренний голос одернул, шепнул – зря ты, дружок, расслабился, поводов для самоуспокоения пока не предвидится. И вновь заняло внутри, вроде не физическая боль, скорее на фантомную похожа, однако от этого не легче.

Окончание – в следующем номере

Давид Гай – известный журналист, писатель. Около тридцати лет проработал в газете «Вечерняя Москва». В 1993 году эмигрировал в США. Живет и работает в Нью-Йорке. Он был главным

редактором русско-американских еженедельников «Еврейский Мир», «Русская реклама», «В Новом Свете». Ныне он – редактор международного литературного журнала «Времена». Регулярно выступает на русско-американском телеканале RTN в программе «Пресс-клуб».

Перу Давида Гая принадлежат около трех десятков художественных и документальных книг. Среди наиболее известных – роман «До свидания, друг вечный», посвященный истории любви Достоевского и Аполлинарии Суловой; повести «День рождения» и «Телохраниитель» (по одной из них в России выпущена аудиокнига); документальное исследование «Вторжение» – о войне, развязанной Советским Союзом в Афганистане (автор неоднократно бывал там в качестве журналиста); «Десятый круг» – повествование, посвященное жизни, борьбе и гибели в годы Второй мировой войны Минского гетто (книга затем вышла в США на английском языке под названием «Innocence in Hell»).

В последние годы в Москве вышли четыре новых книги Давида Гая: роман «Джекпот», сборник документальных очерков о крупнейших авиаконструкторах «Небесное притяжение», роман «Сослагательное наклонение» и 750-страничная сага «Средь круговращения земного...» Роман-сага описывает перипетии жизни двух ветвей, российской и американской, одной семьи на протяжении более чем века.

Изданный в США в 2013 году на русском и английском языках роман Давида Гая «Террариум» посвящен России сегодняшней и завтрашней. Он завоевал читательскую аудиторию. В 2015-м в Америке и в Украине увидел свет новый роман-антиутопия Давида Гая «Исчезновение», а в 2018-м в США опубликован роман «Катарсис».

Марина ТЮРИНА-ОБЕРЛАНДЕР

ИЗ НОВЫХ СТИХОВ

ЭПИДЕМИЯ

Леонарду

К проявлению такого сюра
непривычна моя натура
словно сколок родного мира
я не скептик и не придира
но
оголённые киновитрины
и закрытые магазины
в обрамленье пустынных улиц
в ресторан не завозят устриц
заржавели замки на петлях
затворили себя как в клетках
люди в страхе любви и смерти
две опоры
но где же третья?
Я не помню такого сюра
впрочем – было
когда ты умер

ВИРУС

Скажите правду – вирус обнажил
и скудость дум
и добрые деянья
быть может
мы избавимся от лжи
и силы соберём для покаянья

неправедные стают миражи
и сердца совесть обретёт дыханье
пока же разум тешится в тиши
и плоть печалют муки поруганья

досель умы затиснули в капкан
елеем клейким уши занавесив
глаза закутал заспанный туман
и снизошёл на города и веси
в себе упрятав вирусный обман
растёкшийся в короне поднебесья

выходишь в свет – а улицы пусты
на километр не видишь человека
но наводить меж душами мосты
придётся снова – до скончанья века
и в книге новой чистые листы
заполнятся стихами имярека

ПАМЯТИ ОСКАРА РАБИНА

Молю Тебя
не упади в экстаз
по временам
содвинутым с холста
и выплывающим
как тень небытия
в его картине
нынчева житья
бутыль *Московской*
скумбрии хребет
кусочек газеты
с заголовком громким
с тех прошло
уже немало лет
но эта тень
останется потомкам

напоминаясь
неизбывья бед
расплатой
за блуждание
в потёмках

* * *

Ветер бьётся в окно
словно синяя птица
а такое кино
и во сне не приснится
нам с тобой всё одно
не сносить головы
а какое кино?
только спросите вы

Как немое кино
расстели наугад
моей жизни рядом
с переплётом заплат
вышиваный розан
рядом след от огня
и любимый незван
на прострел – от меня

Не закрыть эту брешь
пёстрой тканью шелков
и поверьём не тешь
опустевший альков...

* * *

Чем останется жить
памятью
кем останется быть
матерью
бабушкой
тёщей

сестрой
не любовницей
и не женой
а весёлой вдовой

Хорошо ли мне жить
только памятью
хорошо ли мне быть
только матерью
только бабушкой
тёщей
сестрой
и весёлой вдовой
без надежды отведать объятие
без любви
отомкнувшей приятие
только с верой в грядущий покой

ПОСЛЕДНИЙ ВСПЛЕСК

И это был последний всплеск
простого притяженья тела
как бабочка – на внешний блеск –
моя душа к тебе летела
куда?
зачем?
не знаю сам
но в том и сила притяженья
когда душа – и аз воздам –
желала плотского вторженья
оно меж тем произошло
оставив привкус одночасья
и в темь беспамятства ушло
не дав ни горести
ни счастья

* * *

Если мне ещё раз
доведётся влюбиться
сколько строк я ещё сотворю
я пока не готова
надеть власяницу
и на постриг сойти к январю
мне досель не постичь
пляску сердца на взводе
созерцанья сплетения тел
возникающих в сонме
туманных рапсодий
тех
что разум схватить не сумел
тех
что разум не смог
повереньем гармоний
обуздать и свести в колею
беспорядочных слов
жестов
звуков
преклоний
и мелодий с навязшим
люблю...

* * *

Да, я люблю
слова любви
не стыдно повторять
я их сегодня повторю
как прежде
и опять
и завтра снова повторю
и каждый Божий день
что мне поделать
я люблю ...
пусть ты ушёл

но тень
твоя теперь всегда со мной
и оттеняет день
воздушной трепетной волной
где мысли набекрень
и так же оттеняет ночь
приютной пеленой
когда душе уже невмочь
и просится покой
который только снится мне
и прочит – подлый льстец
когда-нибудь в миру теней
слиянье двух сердец

НАВАЖДЕНИЕ

Сегодня в чудесатом сне
ко мне явился кот чеширский
и при блуждающей луне
он обошёл мой дом обширный
потом уселся на диван
и попросил: скажи мне сказку
Какую? – я усёк обман
и спросил его с опаской
Мою – откуда я сбежал
от доброй девочки Алисы
с которой вместе чай вкушал
и обсуждал её капризы
я вновь хочу туда попасть
но я как видно заблудился
и очутился – вот напасть
в твоей гостиной...
Я окстился
ведь я не помнил сказки той
она в подкорке не осела
лишь заголовок именной
всплывал в сознание то и дело

но как его расшифровать
и выгнать этого котяру?
мне надо что-то предпринять
иначе он задаст мне жару
и начал я слова с трудом
произносить настропалённо
*у лукоморья дуб зелёный
златая цепь на дубе том...*
кот встrepенулся – и притих
заслушался заворожённо
и вдруг исчез
я кончил стих
и подивился – отрешённо
Наутро долго я гадал
что мне привиделось
примстилось
и на диване увидал
записку – в оной говорилось:
Пусть вышло всё наоборот
и я попал не в ту кулису
но я теперь учёный кот
и бог с ней – девочкой Алисой

ВЕЧЕР

Константину

Невозможно читать в тусклом сумраке без теней
в этой комнате люстры нет
лампа с Кронборгом и простым абажуром на ней
источает неверный свет

в нём мерцают плывя очертанья твоих картин
вдоль окрашенной в синь стены
астероид
утёнок
осенний пейзаж

ПИНГВИН
и углы до утра смещены

а в пространстве души тлеет тёплый живой огонь
согревая меня изнутри
и в окно бьёт копытом красивый крылатый конь
заклиная перо
сколько можешь творить – твори!

Марина Тюрина-Оберландер – поэт, прозаик и переводчик. Член Союза писателей XXI века. Родилась в Ленинграде в семье выдающегося ученого-почвоведца, академика И.В. Тюрина. По образованию филолог-скандинавист. С 2000 года живет в Вашингтоне.

Переводы печатались в «Литературной газете», журналах «Иностранная литература» и других, альманахе «Поэзия», антологиях «Современная датская поэзия», «Современная норвежская поэзия». Книги «На остром рубеже пространства» (Водолей Publishers, 2008 г.), «Музыка слов» (Водолей, 2013 г.).

В 2014 г. на стихи Тюриной-Оберландер вышел альбом романсов и песен «Когда врывается любовь», музыку к которым написал композитор Виктор Агранович.

В 2018 году Тюрина-Оберландер за многогранную творческую деятельность была удостоена международной премии Леонардо да Винчи.

В ближайшее время ожидается выпуск двух новых книг Марины: «Высокая нота» (изд-во Вест-Консалтинг, Москва) и «I Simply Have to Fall in Love» (New Academia Publishing, Washington, DC).

Она – член редсовета журнала «Времена».

Леон МИХЛИН

МОСКОПИТЫ

Маленькие новеллы о времени, когда мы еще путешествовали

ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ

Весь июнь без устали шли дожди. Солнце словно возненавидело мой город. Оно закуталось в черно-серый плащ и не собиралось хоть на час порадовать своим ликом. Я как и все вокруг забыли, как выглядят его лучи. Мы ходили с зонтами и старались не смотреть на небо.

В самом конце изнуряющего мокрого месяца во мне начало восходить солнце. Эту радость пробудил во мне старший сын. Он закончил первый год обучения в далеко отстоящем от Нью-Йорка колледжн.– Пап, я получил отличные оценки и заслужил поездку с тобой в Европу. Давай полетим в Испанию. Там замечательные музеи, Прадо и другие...

Его звонок застал меня в Манхэттене на пути к метро, куда направлялся из своего офиса. Предложение сына мигом погрузило в иную реальность. Дождевые слезы уже не беспокоили, я представил голубое небо Испании, наши походы с сыном в Прадо и мысленно воспарил над городом, перенесясь на мадридские улицы... Действительно, почему не попутешествовать по Испании? Сын и впрямь заслужил такую поездку. Надо только освежить в памяти минувшие события, связанные с этой страной, почитать путеводители...

Спустя пару дней мы ехали с сыном в машине, вспоминали наши предыдущие путешествия втроем с его мамой, моей женой, и вдруг он произнес фразу, повергшую меня в изумление:

– Пап, я вот подумал: в Испании в это время года страшно жарко, особо не погуляешь... Я давно мечтал поехать в Россию. Может, изменим маршрут?

Я резко затормозил. Мне повезло, что сзади не было машин. Трудно объяснить реакцию человека на подобное заявление. Несколько секунд я соображал, как отреагировать. В Москву? В город, в котором я родился и жил до эмиграции, который знал как свои пять пальцев и не забыл по сию пору и в котором мой сын никогда не был? Что вдруг его потянуло туда...

Я размышлял, не давая ответа, сын напряженно ждал. Через пару минут, поддавшись импульсу, еще не до конца все обдумав, я взглянул на сына и улыбнулся:

– О'кей, меняем Мадрид на Москву. Успеть бы получить визы...

Что ж, совсем неплохо, будет что рассказывать сыну – ведь я родился и вырос в Москве, история России – для меня не пустой звук, и путеводители не понадобятся, – подумая я удовлетворенно.

ИСТОРИЯ ВТОРАЯ

Мы ехали в JFK, я, жена и сын. Мы молчали, каждый думал о своём. Поток машин еле полз. До вылета оставалось два часа. Мы уже должны были находиться в аэропорту, до него оставалось всего ничего, но движение замерло. Я нервничал.

«Пробка» вдруг рассосалась. Я так и не понял, в чем заключалась проблема. Шлюз открылся, течение понесло нас, словно ветер надул паруса яхты. И тут сзади раздался удар.

Сегодня, мои дорогие, вы не улетите...

В голосе жены прозвучала неподдельная тревога.

Мы выпрыгнули из Мерседеса. Водитель ударившей нас машины, по виду латинос, стоял с выпученными от страха глазами и бубнил:

– Взгляните, никакой вмятины.

Я осмотрел бампер. Почти ничего не было заметно. Отметил про себя: «Умеет Германия делать машины». Я махнул рукой в знак примирения: «Парень, тебе повезло, на разборку нет времени...»

Через десять минут мы влетели в тело аэропорта, обтянутого стеклянной кожей. Очередь на регистрацию была небольшая. Жена, прощаясь, долго обнимала сына, едва не всплакнула, идея московского вояжа ее не прельщала с самого начала, пыталась отговорить Петра, тот стоял на своем.

Мы успели зайти в бар и выпить за легкий полет: я – виски, сын – пиво. Скажу честно: выпить с родным сыном – одно из больших удовольствий на нашей грешной земле. Временные трудности остались позади. Впереди маячили Красная площадь и водопады Петергофа. Мы испытывали трепет сердца, дивное ощущение раскрепощенности и свободы.

«Аэрофлот» объявил посадку. Мы покатали маленькие дорожные чемоданы к чреву гигантского лайнера. Это был «Боинг», вмещающий едва ли не полк пассажиров. В салоне мы попали в русский мир. Глаза, речь, даже улыбки. Я повернулся к сыну. Поймал его взгляд. Он был слегка напряжен.

– Петр, здесь большинство русских. У них другое энергетическое поле. Оно пока непривычно тебе. Но поверь, очень скоро интерес примирит тебя с необычностью.

Думаю, он ничего не понял, но мирно улыбнулся и кивнул мне.

С задержкой в полчаса самолет оторвался от бетонной полосы и стал набирать высоту. Сын легонько толкнул меня. Его взор был прикован к крупному бритому наголо, похожему на борца мужчине, сидевшему неподалеку от нас. Он мерно двигал челюстями. Чувствовался запах соленой рыбы. Мужчина поедал бутерброд с лососем. Возможно, это была недоеденная закуска к предполетной выпивке. Сын скривился:

– Пап, в России везде будет так пахнуть?

Я не ответил.

ИСТОРИЯ ТРЕТЬЯ

Полет не доставил никаких неудобств. Кормили вкусно, стюардессы были милы, предупредительны, каждая по-своему привлекательна. Сыну они тоже нравились – я судил по выражению его лица. «Аэрофлот» держал марку, в отличие от американских авиакомпаний, где стюардессами работали и молодые, и предпенсионного возраста женщины. Пассажиров их возраст вовсе не волновал...

Сын смотрел какой-то боевик, я еще немного выпил и задремал. Сквозь дремоту сами собой, без понуждения, возникали обрывки стихов. Память прокручивала их, как ленту в кинопроекторе. В юности я грешил сочинением любовных и прочих виршей, поэтом

в итоге не стал, но стихи, в основном чужие, заучивались легко и на всю жизнь. И сейчас, под стать настроению и мыслям о начавшемся путешествии, строфы мелькали по странной прихоти, я не командовал ими, они рождались по внутреннему велению подобно пузырькам воздуха в графине с плотно ввинченной пробкой. Почему-то в них чаще всего звучала страна, давно покинутая мной, даже если она не называлась, а лишь подразумевалась.

Я вспоминал без напряжения, надсада – стихи жили во мне многие годы, были заучены легко и навсегда.

Я открыл глаза, дремота пропала, ее изгнали зябкие, тяжелые, как пудовые гири, слова. Хватит, достаточно. Тоска по родине! Давно разоблаченная морока!....

«Шереметьево» поразило нас. Это был совсем не тот аэропорт, откуда я улетал тридцать с лишним лет назад, будучи уверен, что никогда вновь здесь не окажусь. Так думали тогда, наверное, все эмигранты. Сегодня «Шереметьево» предстало в современном облике. Во всем чувствовался Запад. Только глаза таможенника были *прежними* – недоверчиво-подозрительными, неулыбчивыми. Он внимательно смотрел на моего сына:

– Это ваш отец? – спросил по-русски, указывая на меня.

Сын нервничал. Я вступился за него:

– Да, это мой сын. Знаете..., – я помедлил – он родился в Америке и, к сожалению, плохо владеет русским языком.

Похоже, мое уважение к языку, на котором говорил Ленин, понравилось таможеннику.

– Знаем, знаем, проходите.

Попад в «Мэрриот», сын внимательно и, я бы сказал, придирчиво оглядел гостиничный номер. Возможно, он подозревал, что в отеле могут быть установлены прослушивающие устройства. Потом подошёл к окну и осторожно сдвинул портьеру. За окном ничего не было интересного, открывался вид на старую кирпичную стену соседнего дома. Это успокоило его.

Мы покинули номер, решив прогуляться. Перед выходом из гостиницы мой сын остановился. Думаю, он решал для себя, вполне ли безопасно выйти за пределы американского отеля. Охранник

подбежал к нам. На лице его был вопросительный знак. Его помощь не понадобилась: мы двинулись на первую в нашем путешествии улицу Москвы.

Сначала нас ослепило красное солнце. Это было русское солнце. Ибо коммунизм и красное нерасторжимы. Пройдя час по городу, мы были ошеломлены. Витрины многих магазинов и бутиков являли европейский шик. Обилие ресторанов и кафе. Огромные стеклянные витражи. Чистота. Город казался обработанным мощнейшими пылесосами. Тысячи машин неслись, обгоняя нас и нам навстречу. Мерседесы, новенькие японские, корейские машины. Сын спросил:

– Покажи, пожалуйста, «жигули», на которых ты ездил много лет назад.

Увы, я не смог выполнить его просьбу. Забегая вперед, в Москве за все время пребывания так и не удалось найти хоть один экземпляр. Позже, в Санкт-Петербурге, удалось отыскать парочку.

Я не узнавал свой родной город. Казалось, убери русскую речь и вывески на русском языке (их, кстати, в центре города было не больше, чем на английском), и мы окажемся в Лондоне и вообще в Европе.

В нас проснулось главная жизненная потребность: набраться энергии посредством принятия пищи. Судя по привлекательным рекламным вывескам и комфорту, проглядывающему за огромными окнами, это было очень легко. И здесь мы столкнулись с проблемой выбора. На моей-то родине! Я не стал объяснять, что тридцать лет назад мы бы в лучшем случае прорвались после выстаивания в долгой очереди в какую-нибудь пельменную. Но сын не был на этой земле тридцать лет назад. Для него, появившегося на свет в Америке, выбор был впаян в кровь с первых дней. В эти минуты он копался в телефоне и читал отзывы на английском о ресторанах, мимо которых мы шли. А я молчал. Мне было все равно, хотя страшно хотелось есть. Чем больше сын перебирал места насыщения, тем больше желудочного сока выделялось во мне.

Наконец, мы вошли в японский ресторан.

Вошли и растерялись. Оба. Одновременно. Мы были в Японии. Точнее, островке Японии в России. Чёрные краски, золотые иероглифы, темные полы и потолки, вкусные запахи свежей рыбы, раскосые глаза официантов. Сын шепнул:

– Это настоящие японцы.

Я изобразил вопрос. Он пояснил:

– В таких ньюйоркских ресторанах обслуживают и готовят сплошь и рядом китайцы.

Я не стал спорить. Молодое поколение подобные вещи знает лучше. Кроме того, я пока не мог привыкнуть к тому факту, что здесь рестораны лучше, чем в Америке. Об этом мне рассказывали многие друзья и знакомые, посетившие Москву. Теперь я, кажется, получаю этому подтверждение.

Сын изучал меню, а я изо всех сил боролся с голодом.. Мне было абсолютно безразлично, какие суши и прочее он закажет. Я бы съел весь список.

Еду принесли через минут двадцать. Этот промежуток времени я перенёс тяжело. Меня не интересовало дизайнерское оформление ресторана.

– Пап, тебе плохо? Может, выйдем на воздух?

У меня не было сил что-либо объяснять. Я ожил, когда принесли множество видов суши. Это был праздник чревоугодия, подлинное пиршество. Я прошёл три стадии: подавление голода, быстрое насыщение, медленное наслаждение. В первых двух я пользовался вилкой, на третьей стадии манипулировал палочками.

Сын брал очередной ролл палочками, макал в соус и отправлял в рот. Глаза его закатывались от наслаждения.

– Пап, здесь изумительные суши.

Я молча кивал. Я родился в этой стране и хотел, чтобы она предстала перед сыном в лучшем виде. Пусть и в виде японских суши.

Закончив трапезу, мы получили не обременительный для кошелка счёт. В Нью-Йорке посещение такого ресторана обошлось бы куда дороже. .

Мы вышли из ресторана, переполненные чувством признательности к русско-японским трудящимся.

– Нам нужно срочно переехать в Россию. Мы бы каждый день ходили сюда, – пошутил сын

Через полчаса перед нами предстало великолепное сооружение. Это был Храм Христа Спасителя. Остановились и долго смотрели на золотые купола, на белые стены, на длинные узкие окна. Моя память

повела себя подобно проявляемым негативам в мастерской фотографа. Я указал сыну на маленькое здание метро «Кропоткинская».

– Мне было пятнадцать. Я выходил на этой станции. В руках у меня была сетчатая, сплетённая из суровых нитей хозяйственная сумка. Ее называли *авоська*. В сложенном виде она занимала очень мало места, её удобно было брать с собою в портфель или в карман. В авоське были плавки и полотенце с мылом. Я шёл плавать. На этом самом месте, где сейчас Храм, был большой бассейн. Его построили большевики взамен разрушенного храма Христа Спасителя. – Зачем они это сделали? Это был памятник победы над Наполеоном, который пытался захватить Россию?

Для лучшего объяснения я решил удариться в философию:

– Ваши нежные студенческие мозги в колледжах пытаются наполнить идеями социализма. Так вот, безумие замены Храма на огромный бассейн – одно из проявлений этой системы правления обществом. Вожди революции решили, что бога нет и всякие проявления поклонения ему должны быть вырваны с корнем. Ты правильно говоришь, что храм был построен в честь победы над французами, которые пытались захватить Россию. К сожалению, это был не памятник, арка или обелиск. Это был храм и социализм сровнял его с землей. Теперешняя власть решила восстановить историческую справедливость и заново отстроила храм.

Мы вошли внутрь, и ослепляющее величие поглотило нас. Стены и потолки были расписаны сюжетами из Библии. Огромные пространства. Тысячи квадратных метров сусального золота. Буйство красок, форм, орнаментов, сюжетов. Мы с сыном попали на пир красоты, взлетали под купола, приземлялись на великолепную мозаику пола...

Я невольно воскликнул:

– Ай да русские, ай да сукины сыны!..

– Что это означает?

Пришлось рассказывать сыну про Пушкина. Это не было легко, потому что сын был на лунном расстоянии от русской поэзии и её короля.

– Шутливая фраза. Служит для выражения радости от удачно выполненной работы, либо просто для выражения собственной находчивости, талантливости.

Вечером мы сидели в уютном ресторанчике в центре Москвы. Нас пригласил сюда двоюродный брат моей жены, походивший на сдобный пончик. Он лоснился от жира и в свете ресторанных огней напоминал Бальзака в зрелые годы. Он беспрерывно заказывал еду и съедал её со скоростью человека, прошедшего долгие годы в голоде и заточении. При этом умудрялся беспрерывно говорить. Оказалось, что он пожил несколько лет в Израиле, получил там образование и вернулся в Москву.

– Здесь куда легче заработать на жизнь и прокормить семью, – заметил он.

Родственник периодически вскакивал и обегал стол. Тяга к новой еде возвращала его на место. Вполне возможно, эти быстрые круги помогали переваривать пищу. Слова из него выкатывались плавно, подобно блинам, которыми он пытался угощать моего сына. Он прежде не пробовал такой антиамериканской пищи и сопротивлялся.

Я рассказал родственнику о посещении Храма Христа Спасителя, восхитившись работой русских мастеров. Родственник пожал плечами:

– Вообще-то, многие внутренние работы выполняли таджики и узбеки...

ИСТОРИЯ ЧЕТВЁРТАЯ

После обильного ужина мы гуляли по ночной Москве внутри Садового кольца. На обновленных улицах горели фонари, созданные по историческим чертежам, мосты ночью сияли так, будто сделаны из драгоценных камней и минералов, художественная подсветка украшала многие здания. Наружное освещение придавало российской столице магический облик. Мой сын улыбался. Ему нравилось все. Думаю, в таком настроении он съел бы даже пару жирных блинчиков.

Неожиданно подал признаки жизни мой мобильник. Звонила из Нью-Йорка жена. Нетрудно было высчитать, что на ее часах половина шестого вечера.

– Я звонила в отель, вас нет. Почему вы не в номере? Вы понимаете, что подвергаете свою жизнь опасности?

Она была очень далеко. В голосе чувствовалось не просто волнение, а подлинная тревога. Мы замедлили шаги. Сын взял у меня телефон, сказал доверительным голосом:

– Мама, кроме полиции, никого.

Ее было не так просто обмануть:

– Немедленно покажи, что происходит вокруг.

Сын направил камеру мобильного на то, что находилось рядом. Ему повезло. Впереди возле служебной Audi с тремя буквами на заднем капоте – ДПС стояли двое полицейских и следили за потоком машин. Это успокоило мою жену: во-первых, она увидела стражей порядка, во-вторых, множество машин.

Мы обещали прийти в гостиницу не позднее часа ночи.

В холле гостиницы недалеко от лифтов стояли две симпатичные девицы, не старше двадцати лет. Они улыбались нам, и мне показалось, что им понравился мой сын. Неожиданно из лифта вывалились два субъекта. Один, с гривой смоляных волос, похожих на паклю, высокий и накачанный, с бугрившимися мышцами, в майке, тренировочных штанах и тапочках. Сам его облик и злые глаза-бурячки не радовали окружающий мир. За ним семенил шкет, показавшийся ещё более мерзким. Это был явно прислужник громилы, он по-собачьи заискивающе глядел на него, задирая голову с ранними проплешинами. Они подлетели к девицам. Громила прохрипел:

– Эй, сучки, ...б вашу мать, почему опоздали? Вам платят, а вы выё....

Девицы погасили улыбки и понуро двинулись к лифту в сопровождении громилы и шкета.

Сын, кажется, все понял, но виду не подал, лишь попросил меня уточнить, что означает слово «сучки». Я перевел на английский – bitch.

– Я обратил внимание – в Москве много красивых девушек, – сказал он, укладываясь спать. – Неужели все они – bitch?..

Я улетел в сон за пару минут. Мне снились рубиновые звезды – наверное, потому, что завтра предстоял поход в Кремль и я накануне думал об этом.

Утром я обнаружил сына, лежавшего скрючившись на самом краю кровати.

– Я не мог нормально спать. Слишком мягкий матрас. Я проваливался при каждом движении.

Видимо, из-за усталости, мигом отключившись, я не почувствовал особенностей постели. Петр же при его внушительном росте и комплекции ощутил все неудобства. Вот тебе и отель-люкс... «Попробую исправить положение. Матрас заменят», – пообещал я.

Мы вышли из гостиницы. Сотня шагов, и повернули на Никитскую улицу. Впереди засверкали рубиновые звёзды из моего сна. Это была явь. Сын остановился.

– Пап, смотри – башни Кремля! Прежде я видел это на картинках и в альбоме, который ты подарил мне на день рождения! – он воодушевился.

А мне вдруг вспомнилось начало великого ерофеевского сочинения «Москва-Петушки», прочитанного уже в Америке. Книга стала для меня шоком. Не представлял, что такое можно написать. А Ерофеев написал. И не про пьянство беспробудное книга – про русскую душу, про советскую жизнь со всеми ее уродствами и несуразностями, про философию бытия. Поначалу я тонул в намеках, аллюзиях, реминисценциях, отсылах к философии, потом восхищался, первооткрывал, расшифровывал их для себя. Как это у Вени: *«Все говорят: Кремль, Кремль. Ото всех я слышал про него, а сам ни разу не видел. Сколько раз уже (тысячу раз), напившись или с похмелюги, проходил по Москве с севера на юг, с запада на восток, из конца в конец, насквозь и как попало – и ни разу не видел Кремля».*

А мой сын сейчас его увидит...

Когда мы подошли к Кремлю, мне стало казаться, что я здесь прежде никогда не был. Я все забыл. Годы сделали своё дело.

Ведущим по молчаливому согласию стал сын. Он вел меня как гид, сверяя маршрут с поисковой системой Гугла. Он шёл впереди, я подобострастно плёлся за ним. Когда-то, чтобы попасть сюда, нужны были пропуска. Сейчас требовалось приобрести билеты. Попытка сына купить их через интернет оказалась неудачной: всё до конца дня было распродано. На лице моего сына отразилась вся скорбь еврейского народа.

Во мне проснулась моя прошлая совковая жизнь. Пронеслась в голове эпизодами и вытолкнула из памяти нужное слово – «пе-

рекупщики». Интуиция подсказывала: не могли они исчезнуть за минувшие тридцать лет. Не могли! И я огляделся вокруг. Два парня прогуливались среди толпы туристов. Один, высокого роста, темно-волосый, с раскосыми глазами, постоянно улыбался. Второй, бело-брысый, слегка прихрамывал. Он был ниже ростом первого, но по поведению показался мне главным. Парни периодически доставали какие-то бумажки, похоже, входные билеты, и с преувеличенным вниманием рассматривали их. Со стороны казалось, кто-то одарил эту парочку билетами и они, не веря своему счастью, перепроверяют их наличие. Я вспомнил, как много лет назад фарцовщики бродили вокруг московских комиссионных магазинов и изредка доставали из сумок джинсы, давая недвусмысленный сигнал жаждущим заполучить американскую продукцию – предмет вождельных мечтаний...

Я не спеша двинулся к парням. Я не мог ошибиться адресатом.

– Ребята, – сказал я, глядя на белобрысого, – я приехал из Воронежа. Хотел показать ребёнку Кремль, а билетов нет и очередь до вечера. А у нас поезд...

Парни осмотрелись. Поискали глазами стражей порядка и заодно ребёнка, которому не терпелось зайти внутрь Кремля. Мой сын был выше их на полголовы, крупнее и никак не тянул на «ребенка».

– У нас есть пара лишних билетов. Купили своим девушкам, а они не смогли придти.

Они протянули билеты. На них значилась стоимость тысяча рублей, парни попросили за каждый по две тысячи:

– Понимаете, мы купили у спекулянтов. В очереди не было времени стоять. Мы студенты...

Перекупщики были опытными и на всякий случай лепили туфту. Вдруг этот играющий в лоха мужик окажется ментом... На студентов они были похожи, как мы с сыном на пожарников... Но я не подал вида. Меня волновала не цена, а факт подлинности билетов. Это была Москва...

Я тихо произнёс.

– Подойдём к охраннику и спросим, не поддельные ли билеты.

Парни вполне могли разозлиться и послать меня в мой Воронеж. Я рисковал. Но парни кивнули, и мы подошли ко входу в Кремль. Охранник подтвердил подлинность билетов, и, отойдя в сторону, я расплатился.

Кремль произвел на Петра неизгладимое впечатление – я видел это по его лицу. Особенно понравился Алмазный фонд. Способом приобретения билетов он не заинтересовался, единственно, спросил, действительно ли у парней оказались *лишние* «тикеты»? Я не стал вдаваться в подробности. Сын хитро улыбнулся. Он начинал правильно все понимать.

– Мне кажется, в России можно открыть любую дверь, все зависит от цены. Всегда найдутся люди, готовые в этом помочь.

Я не стал спорить.

Мы отправились в гостиницу. По дороге миновали одноэтажное стеклянное здание, набитое новыми мерседесами. Дилерская была уже закрыта. На электронном табло высвечивались цифры стоимости покупок, в зависимости от модели. Сын с помощью калькулятора рассчитал цены в долларах. Они были почти в два раза выше, чем в Америке.

– Зачем они здесь покупают машины? В Америке они сэкономят огромные деньги.

Что-что, а американский юноша умеет считать. Возможно, в этот момент в душе у него зародилась идея хорошего бизнеса.

Я вынужден был пояснить, что мерседесы – отличные машины, напомнил, что у меня в Нью-Йорке именно такая, их надо из Америки перевозить в контейнерах, а таможня берет деньги и немалые. Впрочем, перегонка машин из Штатов в Россию долгое время была доходным делом...

Мы вошли в наш номер. Я направился в ванную и тут услышал возглас сына. Я выбежал полуодетый. Врубился в происходящее не сразу. С трудом удалось понять, что под простыню работник отеля положил... лист фанеры. Сын ошеломленно смотрел на меня.

Сначала я хотел успокоить сына своими воспоминаниями: как спал в студенческом общежитии прямо на полу. Но сын не отреагировал. В дверь постучали. Я открыл. Перед нами стояла женщина, по виду, узбечка. Она услужливо предупредила про лист фанеры. Я поинтересовался, зачем она положила фанеру прямо под простыню. Но когда посмотрел в её глаза, в которых застыл позапрошлый век, понял, что вопрос мой неуместен. Мы помогли ей положить фанеру под матрас.

Она вышла, и я покачал головой: каким образом ее соплеменники участвовали в возведении Храма Христа Спасителя? Либо наш родственник ошибся, либо в каждом народе есть умные люди и идиоты..

ИСТОРИЯ ПЯТАЯ

Новое утро нашего путешествия ознаменовалось следующими событиями. Во-первых, я не смог разбудить сына до десяти часов. Казалось, он лег на дно как в подводной лодке. Наконец, он открыл глаза, выпростал длинные ноги из одеяла, поднялся и вместе с телефоном надолго засел в ванной комнате. Нарушая правила приличия, я прислонил ухо к двери. Мобильник был включен на громкую связь, были слышна беседа сына с абонентом, обладавшим молодым женским голосом. Сын рассказывал об увиденных в Кремле и поразивших его воображение алмазах, девушка интересовалась, сколько каратов в самых крупных.

Я написал сыну записку и вышел прогуляться. Погода была пасмурная. Серые мрачные клочья облаков заняли небо до окоёма. Но солнце упрямо посылало новые и новые лучи, чтобы отвоевать Москву у уныния. Я вспомнил свою молодость и защемило внутри, прихлынуло неизменно-грустное, захотелось вернуться в Москву, в то, какой она была и каким был я тридцать с лишним лет назад. Пусть без денег, пусть без нормального жилья, но с радостным ощущением бурлящих соков молодости. И улыбаться, улыбаться, родным, друзьям, девушкам...

К тротуару подъехала машина. Резко затормозила. Болезненно завизжали стертые колодки. С заднего сиденья выскочил молодой мужчина едва не баскетбольного роста. Он держал большую сумку. Он явно спешил. Не закрыв дверцу, заорал на водителя:

– Ещё раз, блядь, опоздаешь, выгоню нах...

Баскетболист всердцах ударил сумкой по капоту и устремился в другую от меня сторону. Машина рванула с места, будто пантера, завидевшая лань.

Ностальгическая грусть моя мигом улетучилась. Откуда в людях столько злости? Москва наэлектризована отрицательной энергией, подумал я и поспешил вернуться в отель.

За завтраком сын предложил маршрут, сообразуясь с вычитанным в путеводителе.

– В Москве есть огромный парк. Как у нас в Нью-Йорке Центральный парк. Поедем туда. Там есть музей, который построил на свои деньги один из самых богатых людей России. Кажется, его фамилия Абрамович.

Взяв такси, через пятнадцать минут мы были перед входом в Центральный парк. У меня замлело внутри. Сколько раз я был здесь много лет назад!... Я приводил сюда свою первую любовь. Я боялся ей признаться в своём чувстве. Мы гуляли по парку, и я боялся даже взять её руку в свою...

Прогулка по парку заняла около часа. Честно сказать, увиденное не понравилось. Отсутствовали свобода и свежесть соприкосновения с природой, натканные там и тут увеселительные заведения не способствовали, как нам казалось, безмятежному отдыху, бегающих по аллеям ради укрепления здоровья молодых людей не было видно. В Центральном парке Нью-Йорка все по-другому...

Настала очередь музея. Здание из бетона выглядело неповоротливым, напоминало бункер. Мы вошли внутрь и ничего не поняли. На весь зал первого этажа было представлено считанное число экспонатов. Трудно было уразуметь, зачем и для чего они. Мы переглянулись. В чем музейная достопримечательность? Подошли к девушке-дежурной. Она вздрогнула, когда сын заговорил с ней по-английски. Я прервал его на русском. Услышав знакомую речь, девушка успокоилась. Я спросил, учится ли она или уже закончила вуз. Она ответила, что на последнем курсе Московского университета. Здесь подрабатывает, ибо мать, давно разведенная, живет в провинции, бедная и денег присылать не может. Приходится самой крутиться.

– Скажите, для чего миллиардер истратил немалые средства на этот музей? Не могу понять, что выставлено на первом этаже. Может, второй этаж окажется более впечатляющим?

– Видите ли... Здесь представлена история парка. Возможно, не всем это интересно...

Девушка слегка покраснела.

На втором этаже было то же самое, невыразительное, скучное.

Неожиданно пошёл мелкий дождик. Гулять не представлялось возможным. Совершив промашку, мы отправились в город без зонтов. Пришлось трусцой бежать к выходу из парка и далее к метро. Это была наша первая поездка в московской подземке.

На эскалаторе спустились вниз и сели в поезд, идущий в центр. Когда-то я знал метро как свои пять пальцев, сейчас боялся запутаться. Сын сверял наше движение со схемой станций, извлеченной из мобильного. Путь до отеля был короткий.

Я вглядывался в лица пассажиров. Почему-то они казались невеселыми, ответные взгляды были жесткими, даже подозрительными, хотя одеждой и обликом мы не отличались от них. Американцев в нас определить было невозможно или нам так казалось?

– Пап, не смотри пристально на людей. Это некрасиво.

Мой сын был типичным американцем, я же в эти минуты оставался русским, мне все было любопытно, даже взгляды искоса. Почему они так смотрят на нас?

– Пап, ты заметил – никто никому не улыбается.

Я промолчал. Сын бы не понял меня, сколько бы я не пытался ему объяснять.

Мы приехали в гостиницу. Дождь усилился. Пообедав ближе к вечеру, остаток дня мы провели у телевизора. Сын вслушивался в русскую речь, многое не понимал, но упорно слушал, изредка переспрашивал меня по поводу тех или иных слов и выражений.

Завтра в семь утра нам предстояло отбыть в Санкт-Петербург. Сын читал путеводитель, что-то записывал в блокнот, похоже, я мог не беспокоиться – он вполне справится с ролью гида.

Сбор вещей не составил труда – часть содержимого чемоданов мы не распаковывали. Моя жена аккуратно все уложила, ничего не помялось.

– Пап, а где билеты на поезд? – как бы между прочим спросил сын.

Вопрос был задан по существу – в папке с документами их не было.

Билеты по моей просьбе заранее купил московский родственник и передал их в день нашего прилета. Куда же они девались?

Мы вывернули на изнанку все карманы пиджаков и брюк, проверили бумажники, перерыли кучу бумаг – билеты испарились.

– Сын, давай вспоминать, при каких обстоятельствах мы их получили .

– Мы обедали, мамин родственник сунул какой-то конверт, ты его спрятал.

– Куда? В чем я был одет?

– Кажется, ты был в твидовом пиджаке.

– Мы его уже осмотрели, там ничего нет...

Мы выглядели как Шерлок Холмс и доктор Ватсон, используя метод сверхиндукции. Тем не менее, наш мысленный поиск ни к чему не приводил, пока сына не осенило.

– Когда мы вернулись в номер, ты вытащил конверт из бокового кармана. Положил на стол. Выдвинул ящик и засунул внутрь. А я сказал: «Как бы не забыть билеты...» и положил их в боковой карман своей куртки.... Да, точно! Куртку мы не обыскивали. Дай взгляну...

И ликующее: «Есть билеты! Ура!»

Вызванное такси подъехало моментально, с этим в Москве порядок. До отхода поезда оставалось сорок минут. Есть люди, приезжающие в аэропорт или на вокзал за два, а то и за три часа до вылета самолета или отхода поезда. Мы с сыном являем прямую противоположность – прибываем в последние минуты. Так происходило и на сей раз. Такая дурная привычка едва не наказала.

Водитель-азиат вёл машину на уровне начинающего гонщика. Через двадцать минут мы подъехали к привокзальной площади. Она была забита машинами. Припарковаться негде. Делая у бордюра очередной вираж, наш водитель зацепил чью-то «тачку». Послышался скрежет металла. Первым из машины выскочил водитель. Из задетой им машины в его адрес послышался русский мат, произносимый с акцентом. Медлить было нельзя. Сын проявил завидную сноровку и мигом достал все наши вещи из багажника: два чемодана и два рюкзака. Я вытащил бумажник и дал несчастному таксисту 50 долларов, успев заметить, что выражение его лица из скорбно-несчастливого превратилось в удовлетворенное.

Как две резвые ипподромные лошади, мы поскакали к нужному вагону «Сапсана», успев впрытк к отходу.

ИСТОРИЯ ШЕСТАЯ

Я вздрогнул от настойчивого стука. Дремота слетела как птица с ветки. Стук колес и мерное покачивание вагона обычно убаюкивают. В пути, однако, никакого стука не ощущалось, фирменный поезд катился как по накатанной гладкой дороге.

В размагниченном сознании возникали разрозненные картинки, тут же соединявшиеся в пазл: лихорадочный поиск билетов, сумасшедшая езда, невозможность припарковаться на забитой транспортом привокзальной площади, гонка с препятствиями по перрону и, наконец, вожденное купе-люкс, не уступавшее, а может, и превосходившее по комфорту западные аналоги. Мне было трудно сравнивать – в Америке услугами Амтрака почти не пользовался.

Я приоткрыл дверь и увидел проводника. Он предупредил – через пятнадцать минут прибываем в Санкт-Петербург.

Мы вышли с сыном на перрон. Было утренне свежо. Мы никуда не торопились. Такси решили не брать – забронированный отель находился достаточно близко, в трех километрах, и мы захотели прогуляться пешком. После вчерашней суматошной беготни с чемоданами и рюкзаками нам ничего не было страшно.

Город сиял в лучах солнца, отражавшегося в золотых и голубых куполах соборов и церквей. Мы, забыв про вчерашние приключения, медленно двигались, впитывая красоты города, не похожего на вздыбившуюся новодельным многоэтажьем Москву. Сын следил за маршрутам по мобильнику, объявляя имена улиц, проспектов, каналов, мостов. Путь наш пролегал по Невскому, мимо Аничкова моста через Фонтанку с восемью клодтовскими конями, моста через Мойку, канала Грибоедова, мимо будоражащей и чарующей красоты. Сыну все нравилось, он изредка снимал на камеру телефона.

Вот и угол Вознесенского проспекта и Малой Морской улицы, наш «Англетер», откуда открылся дивный вид на Исаакиевскую площадь и собор. Вся прогулка заняла меньше часа.

Бог мой, сколько всего видел и пережил этот город! У какого из российских городов есть такая история! Обязательно расскажу о том, что знаю, сыну. Конечно, он может почерпнуть сведения из путеводителя, но живой рассказ не заменят никакие брошюры. Я

невольно думал об этом. Я много читал о блокаде Ленинграда во время войны. За 872 дня сотни тысяч погибли от голода и холода. Теперь много пишут, что блокады можно было не допустить, избежать стольких жертв среди мирного населения. Все ли было сделано из возможного? Помню, узнал из русских газет Нью-Йорка, что российский канал «Дождь» рискнул провести опрос телезрителей: «Не стоило ли отдать Ленинград нацистам, чтобы спасти тысячи жизней?» Понятно, вопрос этот кремлевские власти сочли оскорбительным и для ветеранов и для всех граждан России и мгновенно прервали опрос. Я непременно расскажу сыну об этом, а он наверняка спросит: «Как бы ты сам ответил?» Я бы ответил: «Нет, сдавать Ленинград немцам, чтобы спасти людей от голодной смерти, было нельзя». Да и Гитлер не хотел брать Питер, замыкать кольцо блокады, когда понял, что из-за разрыва фронта полное кольцо обойдется ему дорого. Фюрер просто посчитал, что ленинградцы вымрут и с незамкнутым кольцом. План для них был именно такой: чтобы сами вымерли и сами по возможности себя похоронили, не нагружая немцев лишними заботами. Он не планировал полностью уничтожить ленинградцев. Но не из человеколюбия (оно у фюрера не ночевало), а потому что считал опасным входить немецким солдатам в город из-за возможных эпидемий. Он хотел, чтобы население само куда-нибудь делось, и кормить, спасать его не планировал.

И словно в ответ на мои размышления, десятью минутами раньше, на стене одного из зданий Невского проспекта, возле Большой Морской улицы, глаз заметил табличку: на синем фоне белые буквы: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Я показал ее сыну и кратко поведал о том, что пережили город и его жители в войну. Сын сфотографировал текст, что-то пометил в мобильнике. «Пап, ты должен многое рассказать мне, я же ничего этого не знаю...» Я с радостью пообещал исполнить его просьбу.

Оставив вещи в камере хранения отеля (нас могли поселить на раньше полудня), мы захотели позавтракать. Взгляд мой упал на вывеску «Счастье» и пояснением на английском Sweet Home. Это было кафе, располагавшееся внутри отеля. Идти далеко не нужно... У входа висела мраморная табличка: «В бывшей гостинице Англетер 28 декабря 1925 года трагически оборвалась жизнь поэта Сергея Есенина».

Сын тоже увидел вывеску кафе, прочитал название на русском, спросил, правильно ли понял:

– О'кей, давай перекусим здесь и обретем счастье, – он усмехнулся. – А что это за табличка? – и он начал читать, шевеля губами. Потом устремил взгляд на меня:

– Пап, кто этот Есенин? Ты слышал о нем, когда жил в России?

– Не только слышал, но помню наизусть многие его стихи.

– Его знали при жизни? В Америке особо не чтят поэтов. А здесь?

– Он был знаменит. На его похороны в Москве пришли десятки тысяч человек. В самом конце декабря стояли сильные морозы, но люди пришли проститься.

– Что с ним случилось? Почему он умер?

– Он покончил с собой. Повесился. Или его повесили.

– Что ты имеешь в виду?

– Есть версия, что это не было самоубийство, а было убийство.

– Кто же его убил?

– Чекисты.

– Кто такие чекисты?

– Ну, по-современному, сотрудники КГБ.

– Понятно... А за что убили?

– Он не вписывался в революцию. Верил в Бога. Власть коммунистов была ему поперек горла.

*«Ах, родина, какой я стал смешной!
На щеки впалые летит сухой румянец.
Язык сограждан стал мне как чужой,
В своей стране я словно иностранец».*

Я прочел, сын, кажется, понял смысл, во всяком случае, не переспросил.

– Лишать жизни за это?

– Представь себе. Я тоже думаю, Есенин умер не своей смертью... Есть немало тому свидетельств...

Сын поглощал вкусную пищу молча. Он был серьезен и задумчив. Видимо, переваривал рассказанное мной о человеке, которого удавили в этом самом месте без малого сто лет назад.

После заселения в номер, где поразила мраморная ванна и впечатлил вид из окна на Исаакиевский собор, мы отправились на экскурсию. Там провели четыре часа. Сын восторгался увиденным, повторял слова гида: «Собор является одним из самых красивых и значительных купольных сооружений не только в России, но и в мире, уступая размерами лишь соборам Святого Петра в Риме, Святого Павла в Лондоне и Святой Марии во Флоренции».

Мы купили билеты на саму экскурсию и на прогулку по колоннаде. С колоннады открывался изумительный вид на Неву, Исаакиевскую и Дворцовую площади, Петропавловскую крепость....

Вышли мы из собора переполненные эмоциями...

Мы долго гуляли вдоль Невы, погода сопутствовала прогулке, было тепло и безветренно. Я рассказывал, какая прелесть – петербургские белые ночи. География подарила Питеру роскошное природно-климатическое явление, ставшее символом города на Неве. Тьма, ассоциирующаяся с ночью, тоска, расцветающая без солнечного света, покидают северную столицу, даря горожанам и гостям чувство радости, волшебства и восторга. В эти ночи действительно невозможно уснуть, почти круглосуточный свет на улицах будто продлевает и физические силы человека – хочется гулять, петь, влюбляться...

Питерские белые ночи вдохновляли художников слова, кисти, звуков всегда. У классика русской литературы Достоевского, тебе, сын, известно это имя, есть сентиментальный роман «Белые ночи» о любви, страстной, безответной и как полагается – прекрасной. Только во время белых ночей и мог случиться такой герой – Мечтатель и возникнуть такая высота чувств.

Однажды, примерно в твоём возрасте, я побывал в Питере в период белых ночей, глотнул омантики, поэзии, красоты. Это был как сон наяву...

Я пропел куплет песни, вдруг выплывшей в памяти, сын удивился – он никогда не слышал мое пение.

*Белая ночь опустилась безмолвно на скалы,
Светится белая, белая, белая ночь напролёт.*

*И не понять, то ли небо в озёра упало,
И не понять, то ли озеро в небе плывет.*

– К сожалению, белые ночи мы не увидим – они погасли в начале июля. А жаль..., – завершил я свой эмоциональный рассказ.

У входа в «Англетер» я, настроенный на поэтическую волну, вновь подумал о Есенине. Я любил его стихи, они казались легкими, музыкальными, трепетными. Я часто возвращался к мыслям о поэте. «Отговорила роща золотая», произносил, проезжая осенью на машине мимо небоскребов Манхэттена. Както в Америке мне попала его поэма «Чёрный человек». Я сидел в огромной библиотеке Колумбийского университета, в котором тогда работал. Вокруг сидели, изредка перешептываясь, американские студенты, а я слышал депрессивный голос Есенина, говорящего о безысходности по-русски.

Сейчас я был рядом с ним. Его призрак стоял передо мной, когда я брал в лобби ключи от нашего номера. Я тихо спросил девушку на ресепшен:

– В какой комнате его нашли мертвым?

Она и сын посмотрели на меня удивленно.

– Я имею в виду Есенина.

– А, поняла, простите, что не сразу, – девушка отстраненно улыбнулась. – Он остановился тогда в пятом номере...

Сын ушёл в ванную на свою обычную мобильную «связь» с незнакомой мне американской девицей. А я...меня неудержимо потянуло в пятый номер. Я пошёл по коридорам гостиницы как в тумане. Мне казалось, за мной идёт Есенин и читает свои мрачные предсмертные стихи.

Никакого пятого номера я не обнаружил. Его не было и в помине.

Я спустился в ресепшен.

– Девушка, вы говорили, что Есенин жил в пятом, а такого номера нет.

Она улыбнулась той же самой отстраненной улыбкой:

– Да, да. Этого номера не существует. Гостиница к 1991 году отреставрирована вновь с сохранением внешнего облика. Пятый номер отсут-

ствует. Ну, сами понимаете, чтобы не возбуждать нездорового любопытства. Я забыла сказать вам об этом. Извините...

В смятенном состоянии я не захотел возвращаться к себе и продолжил путешествие по коридорам отеля. На четвертом этаже обнаружился фитнес-зал с бассейном.

Я поднялся в номер и взял купальные принадлежности, захваченные с собой из Нью-Йорка на всякий случай. Петр продолжал беседовать в ванной с неведомой мне подружкой. Через пять минут я лежал на воде с закрытыми глазами и думал о том, что девяносто четыре года назад здесь все было по-другому. Потом начал плавать. Вода придала свежесть усталому телу. Затем я погрелся в сауне и вернулся в зал с бассейном. На топчане лежал молодой человек лет тридцати. Его прическу разделял пробор. Волосы были светлые, почти льняные. От этого видения мне стало жутко...

ИСТОРИЯ СЕДЬМАЯ

Луна будила меня всю ночь. Я вставал, подходил к окну. На меня в упор строго-взыскующе смотрел Исаакиевский собор, будто я чем-то перед ним провинился. Становилось не по себе, и я прятался в постель в надежде на сон.

Нас ожидало много прекрасного. Впереди были Петергоф и Эрмитаж. Величественный и изысканный Большой петергофский дворец, жемчужина в композиции ансамбля, связывая в единое художественное целое Верхний сад и Нижний парк, раскинув крылья над водяной феерией Большого каскада. Музей, равного которому не найти, как мне кажется. Метрополитэн, Лувр, Прадо – великие сокровищницы искусства, но Эрмитаж единственный и неповторимый.

Первый раз за всю поездку меня разбудил сын:

– В Петергофе огромная очередь во дворец, чтобы попасть, желательно быть там как можно раньше.

Сведения о неперменной очереди принес всезнающий интернет.

Потом была гонка по просыпающемуся Питеру, приплясывающий на невских волнах изношенный теплоход. Кажется, его спустили на воду, прежде чем я покинул родину. Сын любовался открывавшейся панорамой, восторг перемешивался с неприятием.

– Смотри, какой торчит огромный стеклянный билдинг. По-моему, не вписывается в архитектуру старого города.

Проходивший мимо матрос услышал и бросил невзначай:

– Мы называем его «кукурузой». Это здание большой нефтяной компании.

– Пап, я забыл слово «кукуруза». Что это?

– Corn. Мама не любит ее покупать или готовить.

Трудности начались после прибытия к причалу Петергофа. Толпа была огромной. Сын взял бразды правления в свои руки.

– Вперёд к кассам!

Он шёл решительной походкой, порой слегка толкая людей, расчищая путь себе и мне. Американская культура поведения куда-то испарилась. Я вспомнил фразу приятеля-янки, описывавшего приключения своего великовозрастного отпрыска в Москве, куда тот отправился зарабатывать деньги. «Русские – удивительные люди: моментально обучают иностранцев своим традициям и привычкам, и что характерно, иностранцы не сопротивляются, с удовольствием начинают жить по-русски, отбросив прежние представления о правилах достойного поведения»... Приятель употребил резкое определение: «*рассвинячиваются*». Моему сыну сие никак не соответствовало, однако сейчас передвигался он в толпе по-русски – расталкивая локтями...

Через десять минут мой сын был уже у касс. Что называется, пролез без очереди. Удивительно, но это сошло ему с рук, никто не возмущался, в том числе китайцы, заполонившие пространство. Сын оплатил билеты.

Мы шли по дорожке, ведущей к дворцу царей. Перед нами открывалось истинное великолепие. Одна из самых красивых лестниц, которые я когда-то видел, вела вверх к дворцу. Фонтаны, украшенные фигурами богов, водным салютом приветствовали нас. Перила утопали в золоте. Я поднимался по ступенькам, точнее сказать, возносился, лестница вела меня к небу.

Вокруг сновали люди. Вверх-вниз. Очень много китайских туристов, бесцеремонных и нагловатых, словно назойливые мухи, облепивших лестницу. Солнце весело смотрело на это броуновское движение. Легкое дуновение ветра доносило слова, произнесённые

на разных языках. Я был уверен, что каждое слово связано с чувством восхищения виденным.

Мы оказались перед дворцом. Попытка войти в помещение касс закончилась пониманием того, что нам надо выстоять очередную бесконечную очередь. Вернее, было две очереди: одна состояла из тех же людей, как мы, вторая – из китайских туристов. После часа стояния мы продвинулись не на много.

Я отправил сына гулять по паркам Петергофа. Он запротестовал: «Я не могу оставить тебя одного в этой чертовой очереди...» Я настоял на своем, и Петр отправился осматривать красоты ансамбля: Верхний и Нижний сады, дворцы Марли и Монплезир, павильон Эрмитаж, каскад фонтанов... Понятно, за час-полтора он узрит из упомянутого великолепия лишь малую часть, но иного выхода не было. И я вновь выругал себя за то, что не заказал билеты заранее, еще в Америке, по интернету. Извиняло лишь то, что поездка наша родилась спонтанно и на серьезную проработку маршрута не оставалось времени.

Используя нудное пребывание в выстроившейся гуськом толпе, я занялся чтением буклета, выпущенного к осеннему празднику закрытия фонтанов 20-21 сентября. Увы, он пройдет без нас – мы уже улетим в Нью-Йорк и Петр отправится в свой колледж. А зрелище обещает быть грандиозным: при тысячи салютных залпов, полторы тысячи световых приборов, звук мощностью в сотню киловатт, гигантские панорамные экраны... И разумеется, виновники торжества – сотни фонтанов... Народу явится и сама Екатерина Великая...

Это явление, кстати, зарождалось именно при императрице. Фейерверки, иллюминации, игра огней и кристально чистых струй Большого Каскада – обязательные атрибуты уже в конце XVIII века. Из того, что я знал и что не вошло в буклет: в готовящемся празднестве одновременно и логика, и парадокс. 290 лет со дня рождения императрицы отмечать праздником того, что она едва выносила! Про фонтаны Екатерина писала, что они «мучают воду» – не любила она всё нерациональное, усложнённое, неестественное. Но ведь из противоречий складывалась вся её жизнь – девочки, приехавшей бог знает откуда, из маленького городка маленького государства, проникшейся, казалось бы, чужой для нее культурой, и многое сделавшей для процветания страны, которую она полюбила. А ее

фавориты... Так это прекрасно, что она любила и была любима на фоне весьма странного поведения муженька... Кто без греха, кинь в нее камень...

Петергоф для нее был местом знаковым. Она здесь стала императрицей, она отсюда уехала за братьями Орловыми в Петербург, ей присягнула гвардия, и она вернулась русской императрицей!

А еще я подумал, что сама история этого места – это история переплетения разных культур. Немецкая, французская, итальянская, британская. Всё русское здесь вытекает из иностранного влияния. От этого никуда не деться. Бедные квасные патриоты – как же им тяжело пережить такое!

Меж тем вернулся сын.

– Ты не представляешь, какой красивый парк. Версаль близко не стоит.

Наконец, мы вошли в вестибюль дворца. Мы были счастливы. Мы вытерпели и победили. Но праздновать успех было рано. Мимо нас едва не военным строем прошла китайская группа. Беспокойство начало вползать в наши с сыном души. Интуиция не подвела. Чуть позже к нам подошла работница музея:

– Просим прощения, но сегодня вы не сможете попасть. Китайцы заранее закупили билеты, у них договор с нашей администрацией. Мы можем вам предложить билеты на послезавтра или вернем вам деньги.

Мой сын вначале не понял, что она сказала. Когда до него дошло, он изменился в лице. Я боялся, что сорвется и выдаст запас ругательств на обоих языках. Он еле-еле сдержался. Мы уходили из резиденции царей, опустив головы. Думаю, наказанные за какие-то проступки много лет назад придворные испытывали меньший позор, чем мы.

ИСТОРИЯ ВОСЬМАЯ

После неудачи в Петергофе мы вернулись в гостиницу. Мы не обмолвились с сыном ни словом. Обычно мы гуляли вечерами по городу. На этот раз мы предпочли остаться в номере. У меня в голове мучительно крутилось: «Сын злится на меня? Злится на мою

родину, которая открывается не лучшими гранями, или держит зло на ушлых китайцев ?». Я решил молчать в надежде, что он ответит на мои потаенные вопросы. Но сын разделся и лёг в кровать, даже не посетив ванную для связи с девушкой в Америке.

Утром мы пошли в Эрмитаж. Наступил предпоследний день нашего путешествия. Сын продолжал молчать. У входа в музей стояла огромная очередь. У меня потемнело в глазах. Очереди преследовали нас на всем пути, вновь зло напоминая мой просчет: билеты надо было заранее покупать в Нью-Йорке, а не надеяться на везение. Ох уж эта извечная русская привычка уповать на авось, не избытая в иммиграции...

Я брел в прострации, медленно, как старик, передвигая вмиг одеревеневшие ноги. Сын, напротив, резко ускорил шаги, лицо его отражало вызов, решимость обороть обстоятельства. Он как нож вонзился в толпу и исчез из виду.

Вскоре вернулся сияющий, словно получил неожиданный подарок.

– Это очередь на импрессионистов. Выставка из Франции. Мы уже видели с тобой эти картины...

Он вспомнил нашу поездку в Париж, посещение Лувра и *музея д'Орсе* на левом берегу Сены. Я вздохнул с облегчением...

Я мысленно начал подсчитывать, сколько раз до этого бывал в Эрмитаже. Получилось пять. Многие картины я запомнил с детства, репродукции с них печатались в «Огоньке», присутствовали в альбомах. Часть альбомов я привез с собой в Америку. Сын иногда листал их. Сейчас он, счастливец, имел возможность видеть шедевры воочию.

На входе у него забрали бутылку воды. «С водой нельзя, не положено». – «Куда ее деть?» – «Сдайте в камеру хранения или выбросьте». Сын принял второй вариант.

– По-моему, во все музеи пускают в водой, не так ли? – спросил он меня. Я подтвердил. Петр иронически улыбнулся.

Мы бродили анфиладами комнат, впитывая нетленную красоту. Солнце из внешних окон засвечивало картины – нужны были более плотные шторы.

Мы зашли в небольшой зал, где висели несколько картин Рембрандта. Возле «Возвращения блудного сына» стояла группа людей. Экскурсовод говорила по-английски и мы невольно прислушались:

– Это самое большое полотно Рембрандта на религиозную тему. Вершина творчества великого голландского мастера светотени. На картине изображён финальный эпизод притчи, когда блудный сын возвращается домой, «и когда он был ещё далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его», а его старший праведный брат, остававшийся с отцом, «осердился и не хотел войти». Отец прощает сына...

Сын пригнулся к моему уху:

– Пап, если я сбегу с твоими деньгами, воспользуюсь твоими кредитками, все потрачу на удовольствия и. вернусь через год, ты примешь меня обратно?

Я покачал головой, и мы почти беззвучно рассмеялись.

Группа ушла, мы продолжали стоять и наслаждаться картиной. Через несколько секунд комнату заполонили китайцы. Как по команде нацелили на Рембрандта камеры мобильных, некоторые защелкали затворами фотоаппаратов. Мы поспешили покинуть помещение.

– Между прочим, за право фотографировать надо было платить двести рублей, представляешь? Отменили идиотское правило первого апреля, в день дураков, я читал об этом.

– Нормально. Вообще, пап, в этой поездке меня уже ничего не удивляет.

Мы спустились в кафе. Если б там был алкоголь, то мы бы выпили, чтобы забыть присутствие вездесущих посланцев Поднебесной. (Никогда прежде у меня не возникала антипатия к представителям других рас, мне это чуждо, но в нынешнее путешествие китайцы стали исключением. Хорошо еще, что произошло это до пандемии коронавируса...) Спиртное в буфете отсутствовало.

В Эрмитаже мы пробыли до половины шестого вечера. Народу значительно поубавилось. Мы облазили все три этажа и устали. В одной из комнат сын сел на подоконник огромного окна. Ему требовалась передышка. Внезапно, будто явившись из ниоткуда, перед ним выросла старушка-дежурная.

– Немедленно встаньте! Нельзя сидеть на подоконнике. Запрещено!

Голос ее напоминал скрип двери на проржавелых петлях. Сын не внял приказу и ответил на английском с деликатной просьбой дать ему пару минут на отдых. Тем более, что в комнате отсутствовали места для сидения. Старушка внимательно выслушала, но так как английский язык в долгой её жизни не присутствовал, настойчиво, уже с металлическими нотками, повторила распоряжение. Я понял, что конфронтация ничем хорошим не закончится, и увел сына.

Время приблизилось к шести. Работница Эрмитажа напомнила, что пора выметаться. Сказано было в коронном стиле, от которого мы напрочь отвыкли, а мой сын и не привыкал.

– Молодежь, разуйте глаза, вы на часы смотрите? Музей закрывается!

– Почему она кричит? – спросил сын. Я пожал плечами...

* * *

... Уже в летевшем в Нью-Йорк самолете он удовлетворенно произнес

– Пап, спасибо тебе за путешествие. Мне было очень интересно. Будет что рассказать маме и друзьям. Только боюсь, всему не поверят...

Леон Михлин – москвич. Закончил МГУ, по специальности геофизик. Не успел защитить кандидатскую диссертацию в связи с эмиграцией в США. В Нью-Йорке сменил род занятий: занялся компьютерным бизнесом, затем строительством, стал девелопером.

Леон Михлин в юности писал стихи. В последнее время вновь взялся за перо, перейдя на прозу. Несколько его рассказов были опубликованы на страницах нашего издания. Эти рассказы и роман «Индийский гамбит» составили книгу «Дом на канале», увидевшую свет в прошлом году.

Напомним, что Леон Михлин – издатель журнала «Времена».

Владимир НЕКЛЯЕВ

ИЗБРАННОЕ

По приглашению белорусских иммигрантских организаций с визитом в США в феврале-марте 2020 года находился один из лидеров белорусской оппозиции Владимир Некляев.

Он – широко известный поэт, прозаик и общественно-политический деятель, лауреат ряда национальных и международных литературных премий. Его перу принадлежат более 20 книг поэзии и прозы, включая два написанных сравнительно недавно романа.



Владимир Некляев (в центре) после одной из встреч с читателями

В феврале 2010 года Некляев стал лидером общественной кампании «Говори правду». В том же году выдвинул кандидатуру на президентских выборах в Белоруссии. В день выборов был арестован и обвинён в организации массовых беспорядков. Amnesty International объявила его узником совести.

Во время поездки по Америке Некляев выступил на канале русско-американского телевидения RTN. В ходе визита состоялись встречи в библиотеках Бруклина, Коннектикута, Колорадо, Иллинойса, Нью-Джерси. Он также был принят в Госдепе в Вашингтоне. Гостя сопровождал член Союза белорусских писателей Леонид Зуборев.

Мы публикуем подборку его стихов в переводах Леонида Зуборева.

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ

Из студёных криниц звёзды пьют синеву,
Отражаясь в росинках на зорьке далёкой.
Опустился с небес на траву-мураву
Добрый ангел-хранитель страны Синеокой!

Вот от красных калин засиял древний гай,
Над лугами мотив льётся светлым потоком.
Я молю, чтобы ты не покинул мой край,
Добрый ангел-хранитель страны Синеокой!

На луга и поля я душою стремлюсь,
Где сверкают снега голубой поволокой.
От беды и несчастий спаси Беларусь,
Добрый ангел-хранитель страны Синеокой!

ГРУСТНАЯ МЕЛОДИЯ

Что за грустные песни
ты поёшь нынче, Белая Русь?
Как тоскливо во ржи
васильками они прорастают!
«Ой, ляцеў белы гусь...»
А куда ж полетел белый гусь,
если в небе твоём
только серые гуси летают?

С дальних нив дорогих
долетает печальный напев.
Но продолжить его
– даже голос мне дай –
не возьмусь я.
И утешусь лишь тем,
что хотя бы, немножко успев,
промелькнул над землёй,
над тобой, Беларусь, белым гусем.

ДЫМ

Пройдёт земное на земле.
Как предки, что когда-то жили.
Мы все растаем в дымной мгле,
Чтоб искры над костром кружили.
Вселенная, судьбы юдоль,
Нас в звёздной мельнице размелет
И в мирозданьи нашу боль,
Как горькую полынь, развеет.

* * *

До Бога – тяжкая дорога...
Я шёл к Нему своим путём.
Во всех краях искал я Бога
Во всём: ведь Он и есть во всём.

И в искушеньях билось тело,
И дух был с телом заодно.
А небо пламенем горело,
И проступало в небе дно.

И в яме, в раскалённой жиже,
Свой лик узрев на дне огня,
Спросил себя: «Кого увижу?»
И выдохнуло дно: «Меня!»

* * *

Ночь, играет дьявол на трубе,
Зазывая песней ведьм-бесстыдниц.
Никому, и прежде всех – тебе,
Не узнать бессонниц и бессмыслиц.

Нет, не на твоём плече во сне
Родинки считал я золотые...
Ах, как пляшут ночью при луне
Дьяволицы – ведьмы молодые!

* * *

Признать себя виновным без вины –
Суд дьявола. Не Бога!
Когда душа – стена острога,
То стереги её от сатаны.
Не виноват ты в том,
Что был обмана толстый том...

Но справедливость всё же сдюжит.
Ты не с других – с себя начни:
Разрушь тюрьму и разгони
Смертельный страх – врагов оружие!

ПОГОНЯ

Что затужили как будто на тризне?
Духом слабы, мужики? Воля – в нас!
Как бы и что б ни случилось с Отчиной –
Хуже не будет, чем стало сейчас.
Глянь, Беларусь заблудилась в трёх соснах!
Маятник мечется... Время несносно
Носит мой бедный народ как челнок
Из пасти на Западе – в пасть на Восток.
Новое племя не знает ущерба.
Символ родной уж сияет сквозь вербы:

Призраком древних веков на коне
Рвётся «Пагоня» с державного герба,
Громко копыта гремят в вышине!

СТРАХ

Из раба подневольного
Страх не просто изгнать:
Лень за волюшку вольную
Мужикам восставать.

Не свободы изгнанники,
Лишь холопам сродни,
Ждут кнута или пряника,
А не воли, они.

* * *

Когда я выйду
Из тюрьмы на волю,
Не стану клясть я
Ни судьбу, ни долю.
А стану дубом
Во чистом поле,
Качать ветвями
Под ветром вольным.
И если сядет
На ветку ворон,
И каркать станет,
Что он мой ворог,
Не стану Бога
Молить о каре:
На то он ворон,
Чтоб злобно каркать.

Я ПРИШЁЛ, ЧТОБ ПОБЕДИЛИ ВЫ!

Мы лежим снопами на токах.
Нас молотит каждый, кто в руках
Держит цеп. И так во все века...
Белорус, спроси у земляка:

Что тебе, поэту, до политики?
Может плахой обернуться критика!

Как вопрос, так и ответ мой прост:
– Я пришёл, чтоб ожила Свобода.
Мы без страха встанем в полный рост,
И воспрянет снова дух народа.

Зря вы ложь за правду принимаете,
Не сносить обману головы!
Чтоб сбылось всё то, о чем мечтаете,
Я пришел, чтоб победили ВЫ!

Джейкоб ЛЕВИН

В ОЖИДАНИИ БОБРА

Стоять в подземном переходе около Рижского центрального рынка, рядом с сидящими на холодном цементном полу калеками, обрусевшему шведу Вейнольду Густафсону было стыдно. Но он нашёл и отремонтировал солнцезащитные очки, которые немного скрывали его интеллигентскую внешность. Шесть лет назад он проиграл в карты все свои накопленные деньги, а их было немало, и теперь был официально признан нищим. Он жил на окраине Риги в бывшем помещении для конюхов, в старинных конюшнях барона Раутенфельда. Главная деталь, которая давала конюшне статус квартиры, там всё же присутствовала. Это был «сухой туалет», а значит – там была когда-то проведена канализационная труба. Лошади бы без этого не смогли. Горжилотдел это учёл, и теперь Вейнольд Густафсон легально жил в бывшей конюшне вместе со своей сожительницей, Скрипачкой, некогда работавшей в ресторане «Астория». Потом у неё случился парез лицевого нерва, она окривела и теперь подрабатывала игрой на скрипке в разных точках города. Когда она прижимала скрипку подбородком, кривизна её лица казалась естественной и совсем не была заметна. Прибыльнее всего было играть недалеко от Домского собора на Площади семнадцатого июня и у памятника немецкому просветителю Хердеру. Но там были свои проблемы: это не нравилось Горисполкому. До трёх раз в день надо было менять место и «уносить ноги», прихватив футляр со скрипкой и мелочь.

У Вейнольда тоже были свои трудности. Тайно собираться и играть в карты на деньги в шестидесятых годах в Риге было запрещено. Но именно это запрещение и создавало особый колорит и азарт. Среди игроков в карты встречались довольно обеспеченные и влиятельные люди. Нет, они не искали денег, их у них было достаточно, но им нравилась атмосфера вседозволенности, и они были готовы платить за неё. Это была их вторая, тайная жизнь. В главной жизни

некоторые из них занимали высокие посты, их развозили шофёры, а дома встречала прислуга. Но за зелёным столом оказывалось, что у них много общего с людьми другого калибра и сословия. Правда, у тех были крохотные квартирki, где детские кровати соседствовали с обеденными столами, а жёны этих людей вынуждены были ежедневно работать в магазинах, в детских садах и поликлиниках за небольшую плату. Объединяло их то, что все они были игроками.

Вейнольд мог только играть в карты и больше ничего делать не умел. Он был человеком необычной, странной принадлежности. Станным было его скандинавское имя, его одежда, его уважительное отношение к окружающим. Каждый рубль, который он потом мгновенно проигрывал, доставался ему таким духовным напряжением и унижением, о котором другие не догадывались.

За двумя зелёными столами был всегда почти постоянный состав игроков. Одни играли в малую игру, Вейнольд был с ними. Другие – в крупную. Все они каждую неделю приносили плату за право посещать это общество. Деньги, принесённые ими из дому, больше не принадлежали их семьям.

Деньги эти распределялись между присутствующими следующим образом: постоянную прибыль получал только «Тумбач», то есть хозяин «тумбы» или игровой квартиры, деньги остальных почти всегда уменьшались, хотя редко бывало, что чьи-то иногда и увеличивались. Но одни постоянно проигрывают, другие – проигрывают часто, третьи – иногда выигрывают. Если ты постоянно проигрываешь, то лучше бы тебе уйти и не играть, а если не можешь уйти – плати. Но если ты выигрываешь, то будь осторожен, умей иногда проигрывать и относи домой не больше, чем тебе могут позволить. Везение – не бездонная бочка. Если твои товарищи не смогут обеспечивать тебя твоей зарплатой, ты потеряешь работу, ведь твоя зарплата – это их деньги. Зарплата Вейнольда когда-то доходила до четырёхсот рублей в месяц. Он не был шулером, это знали все. Он бы мог выигрывать и больше, но тогда был риск разрушить компанию. Он понимал, что игроки не могут проиграть больше денег, чем у них есть.

Вейнольда в то время жизни устраивало всё.

Иногда у них за столом оказывался один таинственный игрок. По жизни он был отставным генералом, с правом ношения военной

формы, но не носил её. На службе никто никогда на протяжении всей его карьеры не догадывался о его тайной страсти. Он как-то признался Вейнольд, что его генеральская пенсия составляет почти триста рублей. Вейнольд легко выигрывал столько же. У Вейнольда были и другие знакомства, и он иногда очень осторожно играл и в других компаниях. Это приносило ещё больше денег, но он боялся репутации шулера и профессионала. Его бы стали избегать. Так продолжалось довольно долго, пока на его жизненном пути не возник Бобёр.

Вейнольд, как и многие, проиграл ему всё, что ему удалось скопить за годы жизни, и, будучи «выброшенным из лодки», на пять лет исчез с картёжного горизонта. В то время он бесцельно слонялся по городу и, можно сказать, нищенствовал. Игроки на тумбе постепенно менялись, и понемногу он был позабыт всеми.

Через пять лет после катастрофы он вернулся, и теперь новые игроки с любопытством наблюдали, как среди них иногда появлялся новый человек, которого можно было легко принять за городского нищего. Он им и был. Теперь свои деньги на нищенское пропитание Вейнольд зарабатывал, стоя в чёрных очках в подземном переходе у рынка. «Излишки» он регулярно проигрывал в карты.

Когда холодной дождливой осенью раз в неделю он приходил играть, его серый милицейский брезентовый плащ покроя сорок пятого года, без погон, с одной единственной блестящей пуговицей на хлястике, висел на вешалке рядом с богатой шубой известного доктора-гинеколога Иеронима Гекса. Зимой, когда плащ был мокрый и промерзший, его можно было и не вешать на вешалку, а просто ставить в угол, он бы стоял и не падал, даже когда оттаивал. Но за зелёным сукном стола Вейнольд забывал о том, что он единственный из всех играл на нищенские деньги, собранные им в подземном переходе. К нему возвращалось достоинство. Здесь он был равным среди равных уважаемым игроком. Правда, последнее время выигрывать он почти перестал и едва сводил концы с концами. Игроки иногда, проходя в подземном переходе мимо, узнавали его, давали ему денег, он благодарил их, но ни они, ни он никогда не разговаривали и не здоровались друг с другом. Все делали вид, что они незнакомы. И действительно, их знакомство оживало только за зелёным сукном.

Единственный, кто помнил Вейнольда, был молчаливый «тумбач» Но ему полагалось хранить молчание, и он хранил его.

Все это было частью сегодняшней жизни картёжника и профессионального нищего Вейнольда Густафсона.

По понедельникам, как только он набирал достаточное количество мелочи, он спешил в ближний гастроном и менял их на бумажные рубли, пятёрки, десятки и если повезёт, то другие, более крупные ассигнации. Продавщица соков за мраморной стойкой охотно делала это для него. По вторникам он шёл в городскую диетическую столовую «Вита». Там собирались картёжники, они заказывали горячий молочный суп и решали, когда состоится следующая игра.

Однажды в ужасную зимнюю погоду, греясь в столовой «Вита», Вейнольд увидел Бобра. Он зашёл в расстёгнутом роскошном ратиновом пальто с бобровым воротником, с богатым, густым, мохеровым шарфом на шее, держа в руках кожаный портфель.

Синими от холода дрожащими губами, прячась за брезентовым воротом своего милицейского плаща, Вейнольд прошептал: «Ты – мой. Никуда ты от меня не уйдёшь.»

Доктору-гинекологу Иерониму Гексу было семьдесят два года. Он был не самым удачливым игроком из всей компании, но выигрывал приблизительно столько, сколько проигрывал. Однако, доктор Гекс не нуждался в деньгах, поскольку был врачом в те времена, когда аборт были запрещены. В компании игроков его интересовали только молодые партнёры. Да и то – всё реже и реже. Страсти в его жизни почти угасли. То, что многим ещё предстояло, для него было пройденным, но он никогда не кичился этим. Напротив, если кто-то из окружающих его молодых игроков делал какие-то печальные семейные открытия, доктор Гекс почти всегда искренне переживал вместе с ним. О любви, измене, предательстве, ревности, ненависти, рождении и смерти он знал всё или почти всё. Супружеские обвинения, венерологические заболевания, беспочвенные подозрения, притворство, семейные обманы, ханжеские ритуалы были частью его повседневных забот.

Он уже едва помнил, что раньше, кроме игры в карты, у него были и другие интересы. Безусловно, в компании игроков он был авторитетом и арбитром.

Единственное, чего иногда не хватало доктору Гексу – это непосредственного участия в жизни, потому что все свои знания он приобретал в закрытом помещении – в тиши смотрового кабинета.

Мало кто догадывался, что больше всего на свете доктор Гекс боялся сделать неправильное предсказание и пошатнуть этим свой непререкаемый немецкий авторитет. Ибо был он прибалтийским немцем.

Но это случилось потом, а пока – по-старчески несколько слабоумный романтик доктор Гекс по-своему объяснял игрокам причину посещения игорного дома Вейнольдом. То есть по-немецки и сентиментально. Объяснение было таково: «Никто не согревает нищего Вейнольда добротой. Ежедневно он мёрзнет в подземном переходе, а по ночам ложится голодным спать в холодную постель. Только зелёное сукно, приглушённый свет лампы над головой, компания игроков за игорным столом и тёплое внимательное отношение способны животворно повлиять и спасти душу и будущую жизнь нищего картёжника Вейнольда».

Соблазн быть оракулом у Иеронима Гекса был непреодолим. Поэтому до поры на картёжника Вейнольда все игроки смотрели глазами доктора Гекса.

Но всё на самом деле было не совсем так, точнее – совсем не так, потому что Вейнольд с тех пор, как случилась катастрофа, только и жил надеждой отыграть свои проигранные деньги. Он сгорал этой страстью. Он думал об этом утром, днём и вечером. Даже ночью во сне Бобёр приходил к нему в зимнем ратиновом пальто с роскошным бобровым воротником, за который он и получил свое прозвище. С тем же кожаным портфелем с большой серебряной монограммой в виде православного креста, увитого терновником, и в «боярской» норковой шапке. Во сне Бобёр, слащаво улыбаясь, манил его пальцем и приглашал сесть напротив.

А Вейнольд во сне был одет в свой брезентовый непромокаемый милицейский плащ, о котором он никогда, даже во сне, не забывал. И когда он просыпался, его каждый раз бил озноб от фальшивой учтивости Бобра.

Про Бобра говорили, что он был бухгалтером в Загорске в резиденции Патриарха Всея Руси и имел доступ ко всем финансовым поступлениям и передвижениям. Другие считали его побочным сы-

ном селекционера И. В. Мичурина. Хотя, скорее всего, всё это были придуманные «коммерческие» биографии. Картёжник такого разряда должен выглядеть платежеспособным, но ... «тайна его окружала черты».

Все прошедшие годы, пока Вейнольд страстно и болезненно мечтал о встрече с Бобром за зелёным сукном, она как назло не происходила.

Но другого способа вернуть проигранные деньги он не видел.

Неудача, сестра нищеты, преследовала его всё больней и больней. В довершение всего, его сожительница Скрипачка стала всё чаще заходить попить кофе и погреться к своему знакомому – безработному музыканту еврею Калману, жившему в Старой Риге. Вейнольд знал это, но до поры терпеливо молчал.

Сказать, что Вейнольд был совсем нищим, было нельзя. В его жилище, на колченогом столе, стоял радиоприёмник «Минск Р-7» образца 1957 года. Он давно не работал, но, если поддеть отвёрткой его заднюю стенку, то за ней вместо радиоламп лежала пачка денег. Тысяча рублей. Эти деньги были неприкасаемы и имели одно единственное назначение: они лежали там в ожидании Бобра. С меньшей суммой игра не могла состояться.

Но фортуна «подстерегла» Вейнольда с той стороны, с которой он совершенно не ожидал. Холодным декабрьским днём, когда колючая косая снежная позёмка хлестала Вейнольда по щекам, он, пригнувшись, вошёл в знакомый подъезд. В кармане у него было двадцать рублей. За столом для малой игры было пусто, наверное, сказала плохая погода.

Зато большая игра была напряжённой и агрессивной. За столом сидел член партии, главный бухгалтер Рижского универмага Матвеев, заместитель заведующего овощной торгово-закупочной базой по прозвищу «Цитрус», помощник капитана Рижского порта Эдельвейс и ещё один, едва знакомый игрок по прозвищу Тюринген.

Пепельница была полна окурков. Вейнольд устроился на диване в ожидании появления желающих играть в малую игру. На большую игру его денег хватило бы на три-пять минут.

Вдруг Эдельвейс встал и сказал: «У меня деньги кончились, но вот пришла «новая кровь», уже ждёт и с нетерпением бьёт копытом, а я поеду на вокзал, встречать жену».

Вейнольд и без того уже сжимал в потной ладони две десятирублёвые ассигнации и мысленно сидел за столом с игроками. Это была не его игра, но он всё же сел на ещё тёплый стул Эдельвейса. Играли в покер. Вейнольд попросил у Тумбача разменять свои деньги на пятёрки. Раздали карты. Он открыл их и увидел, что проиграл первую пятёрку. Но после третьей раздачи ему очень повезло. Ему вдруг сдали «каре тузов». За столом все загудели.

Игроки резко увеличили ставки. Это был психологический приём, они хотели испугать его, но у них ничего не получилось. Всё вышло наоборот. Он стал выигрывать так часто, что его партнёры несколько раз занимали у Тумбача новые деньги. Тот выходил куда-то на лестничную площадку и возвращался с деньгами. Игроки платили ему «ночные» проценты. Вейнольду несколько раз сдавали «стрит», пока ему опять на этот раз не достались четыре «джокера». Банк увеличивался и, наконец, ему пришёл долгожданный «Флэш-рояль». Он сорвал банк. Сомнений быть не могло – это была та самая «пруха», которую он ждал много лет. Какое счастье, что это произошло в крупной игре, в которую он боялся играть уже пять лет!

Вдруг один из игроков по прозвищу Тюринген извинился и попросил Вейнольда встать и развести в стороны руки. Вейнольд не только встал, но и закатал рукава рубашки.

Откуда-то появился доктор Гекс, фантом всех картёжных компаний и уселся на диван. Ему было скучно дома. Вейнольд даже не заметил его. Что-то произошло в «небесной канцелярии».

Когда в три часа ночи они закончили игру, у него оказалось больше двадцати тысяч рублей! Это было необъяснимым безумием. Но он вспомнил старую еврейскую пословицу: «Деньги считают, когда калоши надевают». Он боялся спугнуть своё счастье и решил не радоваться, а дожидаться пока игроки разойдутся.

Сейчас вступало в действие следующее железное правило: если тебе повезло, и ты очень крупно выиграл, больше не садись за зелёный стол.

Ведь за такие деньги в то время можно было купить небольшой домик на Рижском взморье и безбедно прожить свою жизнь. Игроки с каменными лицами, не прощаясь, разошлись. Доктору Гексу ни с кем сыграть так и не удалось.

Вейнольд отдал на сохранение Тумбачу половину своих денег, а вторая половина в квадратной коробке от вермишели была уложена в сетку-авоську. Везти ночью домой все деньги Вейнольд не рискнул. Тумбач вызвал такси, и Вейнольд с авоськой в руке оказался на пустынной улице. Ветер стих, и погода была волшебной. Тихо падали редкие пушистые снежинки. Таксист медленно ехал по безлюдному ночному городу и, казалось, наслаждался висящим в воздухе Рождеством. На чёрных стёклах спящих окон отчётливо белели вырезанные ножницами школьников затейливые бумажные снежинки. Всё это время Вейнольд боялся думать о том, что он теперь богат. С тем он и подъехал к зданию конюшни. Скрипачка не спала и встретила его с тревогой в глазах:

– Что случилось, Вейнольд?

– Мы богаты, – безразлично сказал Вейнольд и осторожно, чтобы не сесть на торчащие пружины, опустился на кровать. – Сейчас – спать, а утром поедem в магазин «Мужская одежда», что на улице Лачплеша, и выберем мне ратиновое пальто с бобровым воротником.

На другое утро в одиннадцать часов, надёжно спрятав деньги, они попили кипятка с кусковым сахаром и отправились за пальто.

Скрипачка с беспокойством заглядывала Вейнольду в глаза и всё спрашивала:

– Что теперь будет?

Скорее всего, Бобёр никогда не бывал в Москве или на Патриаршем Подворье в Загорске. И вообще он не был бухгалтером. Не все знали, что Бобёр на самом деле жил не очень далеко от Риги, на пустынном берегу моря, почти один, в крохотном коттедже с печным отоплением, с двумя борзыми. Когда почтальон сообщил Бобру, что ему звонили из Риги, он чистил во дворе снег. Он бросил фанерную лопату и отправился на почту. Бобёр безошибочно знал, кто ему мог звонить. Конечно, это был Тумбач. Он рассказал ему последние новости о том, что Вейнольд ночью «поднял» почти тридцать тысяч рублей.

– Ради этого стоит «зачистить подушечки», – сказал Тумбач.

Бобёр позавтракал миногой и хлебом с маслом, приставил лешенку и полез на антресоли за листами свежей наждачной бумаги.

Нужно было подготовиться к игре. Он уселся за стол, положил на него лист наждачной бумаги и начал медленно стачивать подушечки на своих нежных пальцах. Он делал это всегда до такой степени, что они приобретали необычайную чувствительность к вязкости свежей типографской краски. Потом он брал колоду карт, поднимал глаза к небу и быстро сдавал себе наугад любые карты. Если было необходимо, он стачивал эпидермос до тех пор, пока не начинал чувствовать всеми четырьмя пальцами даже маленькие цифры на уголках карт. Мизинец его был менее важен, чем другие карты, но и он отвечал за самую нижнюю карту в колоде.

Правда, на другой день кожа на подушечках трескалась и грубела, но он знал, что через три-четыре дня вырастет новая. Зато, если беречь подушечки пальцев от жира и на время надеть перчатки, то можно целый вечер, тасуя и сдавая карты партнёрам, хорошо знать, что ты им сдаёшь. Бобёр знал и другие уловки, но эта безотказно кормила его уже много лет.

Тумбач сообщил ему по телефону, что до вечера Вейнольд придет к нему за деньгами. Встретить его как бы случайно будет для Бобра несложно. А дальше – игра состоится.

Бобёр снял с вешалки на стене из-под слоя газет своё знаменитое пальто с бобровым воротником, приготовил остальной гардероб и стал, не торопясь, одеваться у зеркала.

Через час электричка уже везла его в сторону Риги.

Бобёр знал, что Тумбач не даст Вейнольду уйти, пока они не встретятся, и был спокоен.

В это время ничего не подозревающий Вейнольд со Скрипачкой сидели за столом в удобной квартире Тумбача и пили настоящий цейлонский чай со «слониками». Аромат чая наполнял тёплую гостиную. Зазвенел звонок, Тумбач пошёл открывать двери, и через мгновение запах дорогих духов из передней предвварил появление Бобра. Он небрежно бросил на диван кожаный портфель с серебряной монограммой, лайковые перчатки и обратился к Тумбачу:

– Если не ошибаюсь, так пахнет только настоящая «индюха». (Цейлонский чай – *прим. ред.*)

– Да, да, я сейчас принесу, садитесь. Ну как там Москва?

– Москве что делается? Она стоит, – бодро ответил Бобёр.

– А вы не знакомы? – спросил Тумбач.

Бобёр протянул Вейнольду руку:

– Геннадий. Рад познакомиться.

Вейнольд протянул ему руку в ответ:

– А это моя жена.

– Мы раньше встречались? – спросил Бобёр. – Я вас где-нибудь видел?

– Да, шесть лет назад.

Скрипачка поднялась со стула и сказала:

– Ну нам пора идти...

– Может быть, ты сама отвезёшь покупку, а я приеду домой потом? – сказал Вейнольд.

– Нет, мы поедем вместе. Я подожду тебя.

– Незачем.

– Тогда я поеду на автобусе одна.

И она вышла, негромко хлопнув дверьми.

Через четыре часа Вейнольд проиграл все деньги, которые хранились у Тумбача.

– Ждите меня здесь, я вернусь с новыми деньгами, – непослушным языком пролепетал он и вышел в переднюю.

– Я вызову такси, – вслед ему сказал Тумбач. – Жди его внизу.

Когда за Вейнольдом закрылись двери, он сказал:

– Сердце может не выдержать, слишком много у него произошло за последние сутки. Но он вернётся.

– Знаю, что вернётся. Ты приготовь мне новые карты, старые стёрты, и я уже не чувствую краску. А ему приготовь валидол или что-нибудь покрепче.

Оставалось свободное время. На всякий случай, если игра затянется, Бобёр попросил у Тумбача свежие карты, линейку и двусторонний – синий с красным карандаш. «Рубашка» у карт являла из себя множество тонких голубых и розовых линий, расположенных по диагонали крест-накрест. Они были однообразны, и от них рябило в глазах. Бобёр выбрал четырёх дам, положил их на стол рубашками вверх и под линейку провёл в разных местах остро отточенными карандашами едва заметные красные или синие линии поверх голубых и розовых. По одной линии на карту. От этого ничего почти не изменилось, но если прикрыть веки и прищурить глаза, то выделенные голубые и розовые линии станут заметны.

Потом Тумбач запечатывает колоду и отнесёт её в магазин «Мужская галантерея», где работает продавцом его племянница. Если придёт Вейнольд, внешность которого опишет по телефону её дядя, он получит именно эту колоду карт. Очень важно, чтобы в магазин пришёл сам Вейнольд. Это – на всякий случай.

Когда Вейнольд переступил свой порог, Скрипачка уже была дома. Она поняла всё и бросилась перед ним на колени.

– Вейнольд! Я устала! Мне надоела эта нищета! Вейнольд, не уходи, останемся дома!

– Не задерживай меня! Такси ждёт. Где новые карты?!

– Вейнольд, не бери все деньги, умоляю тебя! Вейнольд! Я больше не выдержу такой жизни, я уйду от тебя!

– Куда ты уйдёшь? К цимбалисту Калману? Уходи, а пока скажи, где мои деньги? Бобёр может уехать. Я должен отыграть их! Он устал, у него дёргался глаз, я это видел. Сейчас моя очередь выигрывать!

– Нет, в таком состоянии ты проиграешь всё, что у нас есть. Ты себя не видишь, посмотри на себя! Подойди к зеркалу! Бобёр возьмёт тебя голыми руками! Останься, Вейнольд!

– Из-за тебя я упущу его, и он уедет в Москву! Я ждал его шесть лет! – Вейнольд закипел. – Отдавай мои деньги, сука!

И он ударил Скрипачку кулаком в живот. Она согнулась от боли и подняла на него глаза, полные крупных слёз.

– Хорошо, возьми, они на полке, в уборной, в старом футляре от скрипки. Только оставь мой футляр. Я ухожу от тебя.

Но он уже не слышал её. Он рассовывал деньги по карманам.

Ещё через час игра продолжилась.

Ещё через три часа Бобёр встал со стула и сказал:

– Благодарю за игру, а мне надо пойти умыться перед дорогой.

Вейнольд, измученный картёжными страстями, молчал не в силах ничего сказать.

Вдруг он встрепенулся:

– Хотите ещё играть? У меня ещё есть деньги, только дома.

Бобёр удивлённо посмотрел на него. Тумбач безразлично и лениво потянулся к телефону, чтобы опять вызвать такси.

– У меня нет денег на дорогу, – сказал Вейнольд.

Обое мужчин почти одновременно с готовностью протянули ему деньги...

Выйдя из такси, Вейнольд вбежал в свою холодную комнату. Угли в печке давно погасли. Скрипачки уже не было.

В пустое окно смотрела синяя ночь. Он зажёл свет, быстро подошёл к столу и стал искать отвёртку. Задняя крышка приёмника почему-то не поддавалась, отвёртка выпадала из его дрожащих рук. Он разорвал матерчатую панель, вырвал динамик вместе с проводами и шурупам, вытащил пачку денег, сунул в карман и вышел.

Когда он подъезжал к подъезду Тумбача, уже светало. Он позвонил в дверь, прошёл, не снимая своего брезентового плаща, бросил на зелёное сукно деньги и сел за стол. Иероним Гекс, дремавший на диване, едва заметно осуждающе покачал головой.

Вейнольд нарушил контрольную наклейку коробки от карт, вытащил свежую колоду, перетасовал и подал Бобру. Бобёр неспеша начал сдавать карты.

Вейнольд играл почти без памяти, лицо Бобра то возникало, то исчезало перед ним, а его голос пропадал и слышался снова. И вдруг он пропал совсем.

Больше ничего Вейнольд не помнил.

Когда он проснулся и открыл глаза, он увидел, что лежит на белой постели в небольшой комнате. Скрипачка сидела рядом и прикладывала мокрый платок к его губам. С другой стороны кровати Иероним Гекс склонился над ним, и Вейнольд понял, что находится в больнице. «Почему я здесь? Кто меня привёз сюда? Где мои деньги? Неужели я проиграл последние? Ах, если бы эта тысяча остались, то жизнь могла бы ещё продолжиться. Как же его подвела Скрипачка!» – пронеслось в его голове.

– Иероним, где мои деньги? – почти шёпотом произнёс он.

– Ты всё проиграл.

В это время открылась дверь, и вошёл человек в белой шапочке.

– Я доктор Ламстэрг, – представился он. – Я вижу, вы уже лучше выглядите. Лежите и не двигайтесь, иначе провода не будут держаться.

На столике стоял компактный осциллограф, по экрану которого бежала зелёная зазубренная линия.

– Что это за штука, коллега? – спросил доктор Гекс у доктора Ламстэрга и указал на осциллограф. – Я такого ещё не видел.

Всё это время Вейнольд с трудом возвращался из беспомыслия. После инфаркта кровь плохо снабжала его мозг.

Перед ним опять возникла Скрипачка.

– Вейнольд, всё будет хорошо. Я едва тебя разыскала. Спасибо Иерониму, если бы не он...

Теперь она смотрела ему в глаза и ласково гладила его руку.

– Это ты? А тебя видеть здесь я хотел бы меньше всего. Уходи отсюда. Ты предала меня. Ты видела, в каком состоянии я был, и ты отпустила меня играть...

– Я тебя не отпускала, но ты ударил меня в живот!

– Не сейчас, не сейчас, потом будете разбираться, – откуда-то издали донёсся голос кардиолога Ламстэрга.

Вейнольд опять провалился в небытие. Теперь доктор Ламстэрг в хромовых сапогах стоял на столе. Позади него на столе лежал плоский бобровый хвост. Он был в зелёной фуражке русского пограничника и с русским автоматом на груди.

Кровь ещё плохо снабжала мозг Вейнольда. Но усилием воли он заставил себя участвовать в происходящем и услышал голос реального доктора Ламстэрга.

– Вы кардиолог? – спрашивал доктор Ламстэрг у доктора Гекса.

– Нет, всего лишь уролог, – по-латышски отвечал доктор Гекс. – Просто любопытно, что это за чудо, – и он опять указал на осциллограф.

– Это наша гордость! Только у нас! Спасибо Центральному проектному конструкторскому бюро Министерства автоматизации и приборостроения! Это последнее, что было украдено в Швейцарии в прошедшем 1964 году!

– Какое-то длинное название, – сказал доктор Гекс.

– Ну, если вам угодно короче, то пусть будет ЦПКБ МА, – улыбнулся доктор Ламстэрг.

Через неделю, ещё не полностью пришедший в себя печальный Вейнольд в новом ратиновом пальто с бобровым воротником, которое передала ему Скрипачка, медленно плёлся из больницы домой. Он опять был нищим. Денег на транспорт у него не было. Было холодно. Путь лежал мимо его постоянного места в подземном пере-

ходе. Там у него на глаза навернулись слёзы. В новом пальто с бровым воротником его никто не узнал. В его руке был свёрток с несъеденным больничным обедом.

Когда через два часа Вейнольд вставил ключ в скважину своего жилища, дверь оказалась открытой. Он понял, что Скрипачка уже дома и ждёт его. До него донёлся манящий запах рождественского яблочного пирога и едва уловимое тепло домашнего уюта. Он обрадовался предстоящей встрече и впервые подумал, что был с ней несправедлив. Но когда Вейнольд вошёл в комнату, на него пахнуло холодом, а запах пирога исчез. Он споткнулся о лежащую на полу табуретку. На массивном железном крюке, вбитом в стену конюшни сто пятьдесят лет назад, в старой домашней кофте и в одной туфле висела его Скрипачка.

Джейкоб Левин эмигрировал из Риги в Нью-Йорк около 40 лет назад. По образованию он инженер по обработке металлов. Основная тема его литературных произведений – Холокост и судьбы людей в период и после оккупации Прибалтики.

Книги, изданные в США: «Удо и странные предпочтения Боргманов», «Встреча в ньюйоркском сабвее», «Encounter in the New-York Subway» (на английском). Готовятся к выходу его книга на французском и русском языке под условным названием «Ньюмен», а также полный сборник его рассказов на русском языке.

Джейкоб Левин – постоянный автор журнала «Времена».

Виктор ФЕТ

ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ

ВОЛНА И СВЕТ

Мне кажется, что вроде
я спал и видел сны
о двойственной природе
частицы и волны;
под звуки их мотива
порою засыпал
у полосы прилива
в тени эллинских скал.

Рассматривая строки
стихов из этих лет,
я вижу все намёки,
как падающий свет;
вплетаясь безупречно,
они питали стих,
но мы тогда беспечно
не понимали их.

Есть нечто за пределом
бумажного листа:
есть в мире опустелом
особые места,
меж грязевых лиманов
и пойменных террас,
среди исходных планов,
ещё не знавших нас.

Но способ вспомнить это
для нас недостижим,
пока волны и света
не сменится режим;
придёт законом строгим
развития систем
известное немногим,
понятное не всем.

Всё, что казалось мнимым,
застынет коркой льда
и станет осязательным,
как небо и вода,
и по своим законам
слова соткнутся в дым
путём необъяснённым,
и, в общем-то, простым.

НАЧАЛО

Над болотом лет прокинем снова
Досок смысла временную гать.
Говорят, в начале было слово.
Что за слово – нам не угадать.

В языках каких оно звучало,
Книг каких украсило листы,
Утерявши признаки начала,
Обретя привычные черты?

Где-то, где в пустыне перестала
Разливаться древняя река,
Залежи мельчайшего кристалла
Пестуют начало языка.

Поезд жизни нас пронесёт мимо
Той пустой, неведомой страны,

Где слова, горящие незримо,
В каменных слоях погребены.

НОВОГОДНЯЯ БАЛЛАДА

Из новых времён, из старинных земель,
Где слиплись в комок бытия карамель
И смысла безглазая маска,
Прискачет прекрасная сказка.

Там главный герой с медициной знаком,
Там сахарным звезды сияют песком,
А снег – новогодней ватой,
Над каждой трубой застыл трубочист,
И выглядит мир словно титульный лист
С виньеткою замысловатой.

Там слышен там-там по дикарским лесам,
Полковнику снятся медали,
И алым дивятся своим парусам,
Где издавна их ожидали,
Там тучи ползут по альпийским снегам,
И все корабли пристают к берегам.

Там стражнику на ухо шепчет пароль
Из раннего Блока картонный король,
И кислого вкус витамина
Мешается с дымом камина,
И входят герои в свой пряничный дом,
Где жить полагается честным трудом.

Там жались игрушки к витринным огням,
И счет не велся утраченными дням,
Там вздрогнули Гензель и Гретель
От скрипа несмазанных петель,
И я поднимал, словно меч-кладенец,
На палочке свой петушок-леденец.

ЛЕТА

Серебряная Лета,
Забвения река!
С иного края света
Бежишь издалека.

Вбираешь пыльны томы,
И годы, и простор,
Державинские громы
И пушкинский задор.

Вода прозрачна летя,
Студен летейский хлад,
Двадцатого столетья
В тебе остынет ад.

Сквозь нас событий сила
Продергивает нить,
Чтоб всё, что есть и было,
Запомнить и забыть.

Исчезнем без остатка,
Погрузимся в твои
Придонного осадка
Безмолвные слои.

И новых дней геолог,
Познав добро и зло,
Твоих слоёв осколок
Уложит под стекло.

ТАЙНА

Тайну вечного секрета
Наконец узнали мы:
Там, где есть источник света,
Должен быть источник тьмы.

Скорлупой орехов грецких
Стены мира стали вмиг
За пределом наших детских,
На страницах взрослых книг.

Кто и тьмой, и светом правит?
Кто орехи дверью давит?
Без картинок наши дни:
Разговоры в них одни.

Наши знания случайны:
Как понять, где тьма, где свет?
Может, в мире нету тайны;
Может, в этом весь секрет?

ДЕТСКАЯ ПЕСНЯ

Основатель нам оставил
сотни глиняных таблиц
с описаниями правил
для молекул и частиц,

правил для души и тела,
для последствий и причин,
для разумного предела
всех доступных величин.

Но останутся секретом
те, иные берега,

омываемые светом,
где земные наши страсти –
только ёлочные сласти
да блестящая фольга.

ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ

Пока есть время – пой, пиши
бесстрашно и беспрекословно,
сведи прилежно и готовно
за путешествием души.
Веков разрушенные соты
ещё хранят волшебный мёд;
ещё хрустелен небосвод,
ещё известны наши ноты,
но за словесным частоколом
мир предстаёт случайным сколом
чужих, осадочных пород.
Суть времени обнажена;
достигнув нового предела,
мы на доске кусочком мела
выводим формул письма.
И снова смысла ищем мы
под вечный ритм зимы и лета,
за спектром пушкинского света,
за гранью гоголевской тьмы.

ИОНИЧЕСКОЕ МОРЕ

Не опишешь словесами
то, что правит небесами,
не придумаешь в уме
то, что зиждится во тьме.

Пролистаю, не читая,
череду начальных глав,

где частиц исходных стая
разлетается стремглав.

Этот текст силён и скучен;
разум мыслить не обучен
на бездонном языке;
я лежу, избит и скрючен,
на твердеющем песке.

Я взираю в пропасть мира,
я смотрю вперёд и вниз,
как на острове Керкира
исстрадавшийся Улисс.

Потешаясь надо мною,
правоту мою кляня,
посейдоновой волною
смыло с памяти меня.

В царстве доброго феака
тишина и благодать,
знак обучен форме знака –
но мне нужна моя Итака,
и до неё рукой подать.

Боги! я ещё живой!
Растворяясь в древней влаге,
я стою в последнем шаге
от черты береговой.

КАМЕНЬ

Кто водит этою рукой?
Я сам вожу: я свой вожатый,
своей наивности глашатай;
я – камень, брошенный в покой
моих болот, в их свет и холод.

Мой мир на истины расколот.
Смотри: я падаю сквозь мрак,
где ни движения, ни звука.
Так говорит моя наука,
и я пишу, что это так.

Виктор Фет родился в 1955 г. в Кривом Роге (Украина), окончил Новосибирский университет в 1976 г., работал зоологом в Средней Азии. С 1988 – в США.

Преподаёт биологию в Университете Маршалла (Хантингтон, Западная Виргиния). Автор более 100 научных публикаций.

Публиковал стихи и эссе в периодике и альманахах в США, Германии, России. Автор ряда очерков и исследований о творчестве Льюиса Кэрролла и Владимира Набокова. Опубликовал шесть книг стихов по-русски. Издательство «Everytype» (www.everytype.com) в 2016 г. выпустило его перевод «Охоты на Снарка» Льюиса Кэрролла, а также научную фантазию «Алиса и машина времени» (2016, по-английски и по-русски).

Владимир БАТШЕВ

ЛАСТОЧКА

Нет плохой погоды, есть плохая одежда.

Поговорка

*Не бывает некрасивых женщин,
бывает мало водки.*

Российская пословица

Мои испанские дети удивляются, что их мать Анита прожила со мной более десяти лет.

А моя польская дочь Агнешка считает, что ее мать правильно сделала, уйдя от меня через неделю совместной жизни.

Дело в том, что я храплю.

Храп мой несносен, как утверждали мои жёны и подтверждают дети.

Но давайте с того, когда...

...на перекрёстке бульваров Сен-Мишель и Сен-Жермен можно отдохнуть – здесь обдувает ветерок, как и в жару 19 августа, когда раскалённый термометр показывал 37 парижских градусов.

В фонтане Медичи плавали рыбы – красные, жёлтые и другие – с красными плавниками, а в стороне мелькал, не обращая внимания на уток, то ли судак, то ли бестер (смесь осетра с белугой). Впрочем, это был не совсем фонтан, а пруд при фонтане, куда скатывалась вода из чаш фонтана и там, где она оставалась, тоже паслись белые и чёрные рыбы, а утки что-то старательно вылавливали среди опавших листьев. Интересно, листья убирают? Чистят ли этот пруд?

И что обозначают эти символические статуи?

И главное – фонтан-то не здесь, а за стеной – оттуда вода перетекает по трубе в чашу, а дальше вниз.

Но вернёмся к рыбам – что это за рыбы, знакомые своим окрасом по Франкфурту, где они также спокойно плавают перед банками и страховыми компаниями, которых здесь не счесть.

Но здесь – резвятся и другие рыбы, может, карпы или сомы – не знаю. Их хочется непременно погладить, как мы это делали в Пальменгартене. Впрочем, очень давно я был там, и не знаю, жива ли та рыба, и можно ли её гладить. Помню её спину, прохладную с плавником, она, как кошка, замерла под моей рукой. Словно ей нравилось это поглаживание.

Но местных рыб едва ли можно погладить. Они и глубже плавают – моя рука не дотянется, точно. Эти чёрные сазаны-мурены-толстолобики появляются, чтобы подышать кислородом из падающих сверху струй – они словно пьют его и тут же уходят в глубину. Утки не реагируют на рыб, а может, боятся. Рыбы здесь в бетонном аквариуме похожи на подводные лодки, а крейсера и миноносцы – утки – уступают им дорогу.

Когда заворачивал с бульвара к университету, там, где знаменитый сквер, обратил внимание на человека с трубкой. То ли близко к ограде сидел, то ли ещё почему, то ли смотрел на меня, но запомнил его.

– Эй, – крикнул он и махнул рукой, – идите сюда! Ну, да! Вы, вы! Я вас зову!

Так подзывают полицейские, подумал я, хотел не услышать, пожать плечами, пройти дальше, но под ноги попал детский мяч, я за чем-то согласился и пошёл мимо играющих детей.

– Садитесь, – хлопнул по скамье трубку курящий, – дым не мешает? Вы же курите, я знаю.

Я сел. И посмотрел на него искоса. Собака чёрного цвета, терьер, кажется, без интереса рассматривала собеседника своего хозяина.

– Ошибка. Не курю. Давайте выясним отношения.

– Да-да! – согласился он и показал мне удостоверение ДСТ*.

Я вздохнул, сплошные буквы Д, но ДСТ – не полиция, кажется, более приличная организация, разведка или контрразведка, по морде там не бьют. Хотя, кто их знает, французов, может не по морде, а по почкам... А причину найдут всегда.

– Собака тоже из ДСТ? – спросил я.

Он хмыкнул и пустил клуб дыма в сторону.

– Не сомневайтесь! – и погладил терьера по голове.

– Что вы хотите, – деланно равнодушно произнёс я.

– Чепуха. Пара вопросов – гуляйте дальше в свой Люксембургский сад. Вы бывали в Русском Клубе в Майнхаттене?

Ха, хотелось мне ответить. Кто же там не бывал.

Туда ходили юные предатели, пожилые бабники, старые диссиденты и алкоголики всех возрастов.

Ещё комсомольские работники с большим стукаческим стажем.

Помню, при входе кто-то из этой шоблы споткнулся и крикнул: «Шайзе!» (что ещё может крикнуть немец или желающий поскорее стать немцем бывший русский).

– Шайзюк, ты! – сказал я ему.

Зал заполнялся до отказа, но отказа здесь никому не было – ни в вине, ни в закусках, ни в женщинах. Только гляди по сторонам. Вот – вылитая Брунгильда! А вот – шики-мики, которые по пятницам сортируют пакеты в «Хлеб и соль», а по вторникам плещутся в джакузи в бассейне «Панорама-бад».

В такую октябрьскую стынь, в осеннюю зябь под серым, пусть и не мокрым небом, начинается парижское – сначала то ли из Андрея Седых, то ли из Генри Миллера, но, наверно, всё-таки из первого – всё-таки земляк, русский. А может из второго – похабень быстрее пристаёт по странной ассоциативной тропе.

Пиня, нет не из Жмеринки, а только что с Майорки, загорелый чёрт с сигарой в зубах и семья цыган вылезает из БМВ, никто друг с другом не здоровается, будто не живут в одном квартале или – упаси Бог! – случается в одном доме, чинно стоят в очереди, переговариваются, пока не появляется некая нимфетка, просто дриада полей с похабным созданием на поводке, непонятного цвета ублюдком, который скалит на очередь кривые зубы и зовётся не иначе, чем блаухауз, хотя подобные благородные псы в его крови не ночевали. Очередь с отвращением взирает на образину и с состраданием на юное создание на поводке.

Ах, ты сукин сын, знаем тебя, собаку съел на этом деле, собаке – собачья доля и смерть, дурной у тебя глаз, тёмный, черный, дурной, и что с тобой связался. Кто с тобой связал.

Входит, обнюхивает – пёс, пёс! чистый пёс, свадебный гене-

рал – свадебный генерал и должен быть таким, важным, как бультерьер.

Да, правда, там я и Ласточку встретил.

– Когда это было, не помните? – ухмыляется человек с трубкой.

– Лет пятнадцать назад.

– Не раньше? – уточняет он.

Я пожимаю плечами. Может и раньше, на рубеже веков, как любят писать пижоны из новой литературной поросли, мои несостоявшиеся ученики.

Там в клубе было много женщин. И Ласточка моя пришла с какой-то девочкой...

– Что за девочка? – ткнул трубкой воздух человек из ДСТ.

Так это же её дочь, сказал я человеку ДСТ, и он кивнул головой, будто знал, а на самом деле не знал. Сейчас начнет выяснять наши с ней отношения...

И тут я вспомнил, что не так обстояло дело, не так.

В клубе я её видел, но забыл, а она меня запомнила, заприметила и решила порезвиться.

Кто из жителей Франкфурта не знает Ост-парк! Тем, кто не знает, я сочувствую. Это – несомненно мои бывшие соотечественники, только они ленивы и нелюбопытны.

У забора начиналась дорожка, и там мелькнула женская фигура, стала приближаться – очень пожилая дама двигалась в мою сторону, но вдруг свернула на соседнюю дорожку и пошла по диагонали через ровные гряды, на которых только что высадили рассаду.

Дама пожилая плечами пожимая...

Меня умилило такое отношение к чужому одиночеству, уважение к незнакомому человеку, которому ты можешь помешать.

Пусть этот незнакомец и пьяница с одинокой бутылкой и одиноким стаканом, но помешать ему переживать свое одиночество – ни-ни. Замечательно.

Прошедшая в другую сторону молодая... Нет, совсем юная пара – мальчик с девочкой, только покосились на меня и улыбнулись – вот, ещё один падший, ещё один человек дна, хотя я не падший, не человек дна и не алкоголик.

Идущий в ореоле раздумий мужик в шляпе издалека внима-

тельно рассматривал меня, даже не скрывая, и я в ответ на подобную наглость налил из бутылки в стакан и выпил хороший глоток, но пошло плохо и я энергично принялся заедать бутербродом. Ветчина свисала с ломтя лохмотьями, я наслаждался ею, как Бунин.

Да. С его точки зрения (прохожего, а не Ивана Алексеевича), уточним – по её взгляду – я одет в дорогой плащ на подстёжке, не из магазина Вульворт, а не иначе из Клапенбурга, у меня новая хорошая шляпа, глядя на которую ценитель определит, что она не из универмага, а от шляпника (что и есть – правда, шляпник разорился, и я приобрёл дорогую шляпу в треть цены, но на то и конкуренция, чтобы одни разорялись, другие богатели, а шляпы стоили дешевле чем обычно), модные велюровые брюки и длинное белое кашне, на французский манер, завязанное небрежно.

Точно – не падший. Тем более, не ангел. Но разве меня интересует, что он обо мне думает? Абсолютно не интересно.

Бегун на другой стороне пошёл на следующий круг, пробежал мимо деревьев, скрылся, надо посмотреть на часы – за сколько он пробегает свой круг по аллеям парка, хотя он может бегать по разным аллеям, так что никакой хронометраж не имеет смысла.

Сколько собак вокруг, каких пород не увидишь. Но никто не гуляет на поводке кота – моего литературного персонажа. Нет такого, нет.

Значит, придумую его.

Но зачем придумывать, если я сам прогуливал кота Агафона у Гайстайга в Мюнхене, помню как он был потрясён, увидев кролика, которого тоже прогуливали. Он понимал, что кролик не белка – за белкой он с удовольствием бы лазил по дереву и свалился бы неизбежно в мои подставленные руки, а белка издевательски причмокивала язычком с соседнего дуба. Но кролика он видел впервые и не мог определить – что это, кто это и зачем.

Мимо шла симпатичная женщина в синем пальто, держа за руку девочку в белой шапке. Она поздоровалась со мной. Я пожелал ей хорошего дня. Она улыбнулась.

Как же хорошо, когда с тобой здороваются незнакомые люди. Да будь ты пьянь-пьянью, а как бы меня в Москве расценили – вот такого, сидящего на скамейке. С кошёлкой, из которой торчит горлышко бутылки. Да, но у меня в руке стакан и бутерброд – в другой. На мне

шляпа и галстук. Разве я похож на пьянь? На подзаборную пьянь – нет, а на интеллигентную пьянь – похож.

А здесь здороваются как с приличным человеком, как с соседом, может быть, а я сижу, подставив рожу солнцу, а оно, подлое, слабо греет, и посмотри на меня внимательно – пьянь, но здороваются.

Женщина остановилась и сказала вдруг:

- Вы очень симпатичный человек.
- Согласен с вами, – согласился я.
- Просто очень симпатичный, – подтвердила она.
- Несомненно, – шляпа кивнула вместе с моей головой.
- Вы даже красивый, – рассматривала она меня.
- Да, говорят, – ответил я, подбирая слова.

Я вижу, что посреди поля стоит молодой человек и жонглирует шариками. Вокруг никого, а он жонглирует. Значит, тренируется. Мимо пробежал бегун от инфаркта, вдоль скошенного весеннего поля, а жонглёр подкидывает свои шарики.

– Вы очень красивый человек, не хотите ли стать отцом моей дочки и моим мужем?

Она не ушла, а может и вернулась.

Я не удивился предложению, даже вроде бровью не повел.

– Извините. Вы тоже очень красивая и даже симпатичная женщина. Но я уже являюсь мужем и отцом. А вам могу быть лишь отцом. А девочке вашей – дедушкой.

Она рассмеялась, села рядом и попросила сигарету. Узнав, что я не курю, искренне удивилась:

– А что же вы здесь делаете?

Я смутился.

– Созерцаю.

– Что же вы созерцаете?

Мне стало неловко.

– Свой внутренний мир.

– Здесь? На этой скамейке? С бутылкой канадского виски в сумке?

Я скривил губы.

– Так получается, что канадский. Я люблю ирландский. Бушмильс, например.

– Как нобелевский лауреат Бродский?

– Какие образованные дамы гуляют в Ост–парке! – скривился я, потому что она мешала мне сосредоточиться. – А вы? Тоже созерцаете? Или ищите мужа и отца девочке?

Она засмеялась.

– Ужасный акцент! Вы поляк? Или русский?

– Из Москвы, – кивнул я.

Девочка отошла в сторону, смотрела на нас исподлобья, потом стала каблуком ковырять гравий. Впрочем, это называется не ковырять, а иначе.

– О! Их фершнее, их фершнее... Я учила в университете – Достоевский, Гоголь, Лео Толстой... Загадочная русская душа! Так? Ich lese Булгаков. Пастернак!

Я не сомневался. Что во время учёбы в университете она могла читать эти произведения в рамках программы.

– Так на моём диване его будет созерцать удобнее! – утвердительно решила она на хорошем русском языке.

– Так бы сразу и сказали, что вы из России, – мне надоел балаган.

– Не заметно? – обрадовалась она.

– Нет. Очко в вашу пользу. А ещё я – алкоголик.

– Кто? – не сразу поняла она, лицо изменилось.

– Алкоголик. Хронический. Неизлечимый.

– Не может быть... – неуверенно произнесла она. – Вы шутите?

– Ни в коем разе. Я – алкоголик. Падший человек. Потому и пал на эту скамью. Хотите выпить? – я театральным жестом достал из сумки бутылку.

Девочка подошла к нам.

– Мама, пойдём, мне скучно.

Мать поднялась.

– Будьте здоровы, – неуверенно произнесла она.

– Обязательно. Immer bereit! – продекламировал я. И добавил по-русски. – Всего вам самого доброго. Может, найдёте отца девочке и себе мужа.

Она не поняла, но кивнула на прощанье.

И пошла, пошла по парку, не оглядываясь.

Когда она скрылась, я бросил пустую бутылку из под виски в урну, достал початую бутылку «бордо» и налил себе вина.

Ну зачем я здесь сижу? Что-то нашло. Просто накатило – захо-

телось молодого задора. Юношеского разгона – и не нашёл ничего лучшего, как сесть на лавку – ближайшую, благо в парке их множество, вон, за кустами ещё одна видна – вынуть из пакета купленную бутылку, скрутить жестяную пробку. Слава Богу, не сломалась и не поранила руку, и молодецки влить здоровенный глоток в горло, как говорят в той стране, откуда двадцать пять лет назад убежал – «засосать из горла».

Но уже через секунду он выдохнул и подумал, а зачем же он это сделал, что у тебя дома нет, дома в двадцать раз удобнее, дом у тебя есть, но вспомнилось юношеское, и оно снова – но уже не захлестнуло.

Да, такой мой персонаж, непростой герой будущего произведения...

Я выпил, позабыв и женщину, и её странное предложение. «Сан-Эмильон» прекрасное и недешевое вино. Бутылка его стоит от 8 до 12 евро – по крайней мере, такая цена во Франкфурте. Я смаковал вино всей полостью рта.

Но не успел допить, не успел отрезать очередной ломтик своего любимого «Пекорино романо», как она снова появилась из спортивных дебрей парка. Просто бежала ко мне.

Я с удивлением всмотрелся в нее.

– Стойте! – крикнула она издалека. – Стойте! Что вы делаете! Как же я сразу не поняла...

Девочка осталась у поворота и отвернулась от нас.

Терпеть не могу, когда кричат под руку. Я отпил глоток и разрывал упаковку колбасы. Пластик поддавался с трудом. Но нет таких крепостей... нет такого пластика...

Она подбежала ко мне. Девочка смотрела в сторону пруда.

– Вы всё придумываете. Как я не поняла? Вы всё сочиняете, это – ваша литература, – она отдышалась. – Это, наверно, ваш новый роман. Так?

– Так, – отрываясь от пластика, поднял на неё глаза. – Что дальше? Пить будете? – я показал бутылку. – «Сан-Эмильон», не какой-нибудь «апфельвайн».

– Буду, – решительно сказала она и села рядом. – Я и спать с вами буду.

– А буду ли с вами спать я? – удивился мой герой.

На этот раз удивилась она.

– А куда же вы денетесь? – потом уже по-деловому. – У вас есть второй стакан?

– Есть, – моргнул я. – Специально для таких женщин, которые предлагают мне захватывающие перспективы насчёт замужества и отцовства.

– И постели, – добавила она, принимая стакан. Рука её оказалась холодной.

– Вам надо носить перчатки, – сказал я, грея её ладонь.

– Обязательно буду носить, когда вы мне их купите.

– Когда же я их вам куплю?

Она пожала плечами.

– Наверно, когда я вас в постель затащу.

Я ненатурально засмеялся.

– Меня, моя радость, есть кому затаскивать в постель, – и налил ей вина во второй стакан.

Она улыбнулась.

– Бабушки вашего возраста?

– Вы угадали.

Между тем, девочке надоело созерцать окрестности, и она подошла к нам.

– Ну, пойдёмте, – подала голос незнакомка.

– Куда? Пить в другое место?

– Нет, – она залпом махнула свои полстакана. – Ко мне.

– Мейн мэдхен, – улыбнулся я девочке и полез в сумку. Там лежали шоколадные «монеты» на закуску. – Вот тебе три монеты, видишь, один, два и пять евро...

Девочка скривилась.

– Я не ем шоколада. У меня от него диатез.

Её мать сгребла «монеты» с моей ладони.

– Я ими закушу, – пояснила она.

– Ну, и что было дальше? – любопытствовал сыщик с трубкой.

У нас с ней любовь очень быстро прошла, потому что... Да, почему? А потому – что. Вот так и происходят разрывы. А может, просто – случайные половые связи, ты встречаешь эту женщину через

десять лет – боже, не узнаешь, что за дама в малиновом берете с по-
слов испанским говорит, а это твоя бывшая соседка по постели...

Но как это объяснить человеку из ДСТ, который едва ли поймёт
наши русские нюансы?

– Ласточка! – говорю я, а он не понимает. – Она – ласточка.

– Птица? – переспрашивает и дымит трубкой. Его собака тоже
вопросительно поднимает голову.

– Не дымите на меня табаком! – ору я, и он извиняется. – Спро-
сите какого-нибудь специалиста, ну, Владимира Волкова... (чуть
было не сказал – Виталия – потому что Волков – это единственная
ассоциация, мой старый и один из единственных верных друзей,
оставшихся в России, но – в прошлом году – увы! – умер от рака, как
мне сообщила его дочь). А другой Волков, французский, с русскими
корнями, как раз и есть специалист по «ласточкам» и прочей живно-
сти лубянского производства...

Шпик с трубкой обещает расспросить Волкова. Но смотрит на
меня подозрительно. Я же не знал, что Волков умер.

– А девочка, дочка её?

Я отмахнулся.

– Она на другой день отправила её к отцу.

– В Женеву?

– Ну да, вы знаете лучше меня.

– Ну и что же птичка? Ну и что же – ласточка? Может – стриж?
– интересовался он.

Что я мог ему рассказать? Что стриж – мужской род птицы, а
ласточка – женский.

У неё висели джемперы, которые надевались через голову и жа-
кеты с укороченными рукавамию

– Красавица моя, ласточка, – говорил я, поглаживая живот се-
роглазой красавицы.

Она хихикала, смотрела на меня, как вглядывалась, улыбалась и
снова притягивала к себе.

Однажды между ласками спросила:

– А что тебя держит в Майнхаттене? Тоже мне город! Вот
Париж...

Пока я раздумывал да прикидывал, наступили путинские холо-

да после ельцинской оттепели, и далёкие тёплые страны поманили птиц к себе.

Махнув крылом, ласточка увлекала за собой, мало ли юных ласточек из гнезда лубянского перекочевало за моря, свив гнёзда в столицах Европы?

Гнёздышко моей ласточки находилась возле весёлой улицы Сен-Дени, в подвале, ибо мы спустились в него на лифте, и, если память не изменяет (а причин для измены у нее нет), не на один, а на второй этаж вниз.

И пока мы ехали вниз, неприятное чувство тошноты поднималось во мне – вспоминал я рассказ старика К., про то, как весной 1950 года спускали его на лифте в подвалы того самого здания, где пестовали ласточек и точили детали их будущих гнезд. Вспоминал я рассказ старика, а ласточка щебетала, смеялась, и всё тревожнее становилось моему организму. Но, как ни странно, когда мы вошли в квартиру, то всю стену занимало окно, и за ним зеленела трава. Таким образом, кому – подвал, а кому – и первый этаж. Пусть и два этажа вниз от первого этажа на лифте. В преисподнюю.

Вот такая аберрация.

Чего, спросит любопытный. Зрения? Восприятия?

Аберрации никакой нет, – отвечу, есть гримасы и изыски архитектуры.

Квартира была просторная и очень уютная.

Была и у меня подобная ситуация на улице Флуршайдевег: я жил в подвале дитём подземелья напротив зловещего издательства «Посев». Кому – зловещий, а мне – душе любезный и сердцу приятный, потому что я в нём тогда работал.

Если дом стоит на склоне, то с одной стороны ваша квартира выглядит как подвальная – у меня даже окно было на кухне в подвале, и я смотрел на мир Божий снизу, видя решётку над раковиной окна и сбоку – ноги входящих в подъезд. Но с другой стороны, в большой комнате – у меня имелось огромное окно (как у ласточки в Париже!), и я был уже жильцом *первого* этажа, бельэтажа, и окно выходило во двор, и – о, чудо! – возвышалось над ним! – там располагался склад, куда раза два в день неизвестные машины привозили загадочные ящики и коробки.

Восточные люди, не иначе, из стран Магриба, материализовывались и быстро уносили картонную и фанерную тару контрафактного товара в недра блокгауза.

Я глядел на них сквозь серые занавеси, и вместе со мной глядела ласточка, что залетела в мой подвальчик, заманила, завлекла, да разве знал я, что – ласточка, думал – обычная бабёшка-проблядёшка.

Вспоминал, думая об одном: при чём здесь французская контрразведка?

Догадался я, при чём здесь ДСТ.

Как-то ласточка попросила сумку отвезти на вокзал и положить в ячейку автоматической камеры хранения, она куда-то собиралась и не хотела на вокзал с вещами ехать. Я отвёз, запер ячейку, сообщил ей код, она записала – при чем здесь полицейский? А вот при том: или камера хранения под наблюдением или содержание сумки.

Она всегда чем-то занята – то пишет послания в смартфоне, то по телефону переговаривается, то куда-то спешит по своим бабьим делам – все три дня, что мы жили с ней возле весёлой улицы Сен-Дени.

Ночью мы кувыркались в постели, до чего она была большой охотник, да и я в те годы тоже.

– Сколько же тебе лет? – спросил я её тогда.

– Джентльмены не задают женщинам таких вопросов, – парировала она.

Я думал, она годится мне не то что в дочери, но и во внучки, точнее – в очень взрослые дочери.

– Ах, когда же ты закончишь свою пьесу? – в пустоту произносила она, получая в ответ мое недоуменное пожатие плечами.

– Мне так хочется в Италию, – продолжала она.

– Когда театр пришлёт деньги, тогда и отправимся в Италию, – парировал я. – Меня Италия не видела лет пять. Флоренция – чудный город, тебе понравится, в нём живёт моя знакомая актриса.

– Ты знаешь итальянский? – спрашивала она.

– Конечно, нет. Кроме английского и немецкого, никаких языков не знаю.

Тут она выдала фразу по-итальянски.

– Ты знаешь итальянский? – удивлялся я.

– Пару фраз, не больше, чтобы разбираться, о чём говорит официант в кафе.

– Ты знаешь французский, – не унимался я.

– Учила в институте, – не моргнув глазом, ответила она, – но ты знаешь, как в России учили языкам – чему-нибудь и как-нибудь.

– В каком же институте, если не секрет? – допытывался я на свою голову.

– Секретов нет. В институте иностранных языков имени Мориса Тореза.

– Так ты москвичка!

– Никогда! – возмущалась она. – Москва! Тоже мне город! Красные бусы в деревенской лавке! Я поступила с первой попытки. У меня в школе были одни пятёрки в аттестате.

Мои вопросы, задаваемые от нечего делать, её, видимо, раздражали.

На другой день ласточка сказала, чтобы я её не ждал, она встречается с друзьями.

– Ах ты, проблядушка, ласково укорил я её, откуда у тебя здесь друзья, ты сказала, что никого в Париже не знаешь?

Она усмехнулась.

– Не тебе одному гулять с актрисами.

– Да, согласился я.

– Актрисы не любят таких храпунов.

– Ты уверена? – не поверил я.

Опять вспомнил, что мои испанские дети удивляются, что их мать Анита прожила со мной более десяти лет.

А моя польская дочь Агнешка считает, что её мать правильно сделала, уйдя от меня через неделю совместной жизни.

Дело в том, что я храпун.

Храп мой несносен, как утверждали жёны и подтверждают дети.

Поэтому, когда мой старый друг, писатель-продоллист, неоэмпирiosимволист и неоэкзистенциалист Аркадий Усякин предложил пожить в его большой четырёхкомнатной квартире, я сразу согласился.

Вам понятно почему? У меня будет отдельная комната, где я буду храпеть, Ласточка будет спокойно спать в другой.

Квартира, действительно, оказалась большая, в хорошем рай-

оне Флоренции, в относительно новом доме, правда, принадлежала она не другу Аркадию, который говорил красиво, а его сыну, точнее невестке. В настоящее время сын с невесткой плескались в море у берегов Калабрии, а отца и тестя завербовали поливать оставшиеся цветы и кормить кошку Чачу.

В первый день я прекрасно выспался несмотря на то, что накануне мы изрядно выпили неизвестного мне итальянского вина. Может, я и храпел, но никто среди ночи не делал мне замечания, не будил и не пытался перевернуть со спины на бок или с одного бока на другой.

Мое хорошее настроение не исчезло даже тогда, когда проходя в ванную, я увидел Ласточку, спавшую в комнате друга Аркадия.

Позднее он рассказал, что работает консультантом в одном из флорентийских музеев, составляет путеводители и сочиняет рецензии для каталогов различных художественных знаменитостей.

Аркадий и перевёл мою пьесу на итальянский, и мало того! – пристроил в театр. Театр, правда, оказался бродячей труппой, но всё-таки – театр.

Весёлый человек с трубкой и собакой из ДСТ, что цыкал зубом и науськивал меня на птичку Божию, и не подозревал, в какие тартары меня толкнул и какие воспоминания разбудил.

Да, ласточкина квартира и была фрагментом преисподней.

Не успел я до конца это осознать, но вспомнил – однажды, подходя к её дому, заметил, что оттуда вылез тёмный элемент Гоша Гурмыжский, дитеё неизвестно какой эмиграции.

Нехорошо мне стало, грустно, печально, понял я: разлюбила меня ласточка, если пригрела на грудях тёмного элемента Гурмыжского, ибо, откуда мог ещё выползти на свет Божий он, как не из её гнезда? Ну и что, тёмный элемент? Будто вокруг одни светлые личности обитают! Сволочи больше.

Потом непонятно почему ласточка улетела. Может, на самолёте, может, на поезде, но исчезла. И я не стал искать ее.

...Застал я её в Трапезунде, в городе трапов и ветров (*зундов* – если по-нашему). Весело щебетала она, прикидывалась довольной и удивлённой, и потому, когда я оказался после длительного перерыва

в постели, то первым делом поинтересовался – как у неё обстоят дела с венерическими болезнями.

Она посмотрела на меня с откровенным презрением и сообщила, что джентльмены таких вопросов женщинам не задают.

– Понятно, – понял я и встал, чтобы одеться.

Не так понял я дитё поднебесья, неправильно, ошибся, а за ошибки иногда приходится платить. И чем глупее ошибка – тем неожиданней приходит плата за неё. Как счёт за телефон, которым не пользовался....

И ласточка, которую арестовали по подозрению в шпионаже, всё это прекрасно знала.

Потому меня и мучил дурацкими вопросами человек из ДСТ в сквере недалеко от Сорбонны.

* *ДСТ – французская разведка и контрразведка.*

Владимир Батшев – участник диссидентского движения, известный писатель, издатель.

В 1965-1966 годах один из организаторов и руководителей неформального литературного общества СМОГ. Был арестован 21 апреля 1966 и осуждён на пять лет. Под давлением международного общественного мнения освобождён по амнистии.

Окончил сценарный факультет ВГИК. Работал сценаристом в кино, литконсультантом. Был представителем издательства «Посев» в СССР. Затем – внештатный обозреватель Радио Свобода.

В феврале 1995 вместе с женой эмигрировал в Германию. Член Союза писателей Германии и международного ПЕН-клуба.. С апреля 1998 – редактор ежемесячного журнала «Литературный европеец», с января 2004 – редактор ежеквартального журнала «Мосты». Председатель Союза русских писателей в Германии.

Владимир Батшев – автор многих книг прозы и поэзии, фундаментального исследования, посвященного генералу Власову, биографического повествования об Александре Галиче. Лауреат нескольких международных литературных премий.

Ольга КУЧКИНА

УЖИН С БУХГАЛТЕРОМ

Они двое были сёстры и близки друг с другом, хоть и далеки. Елизавета Николаевна, младшая, двенадцать лет как жила на чужбине, из них пять лет в Англии, в то время, как Екатерина Николаевна, старшая, оставалась жить дома, в России. Когда говорят о русских в Англии, почему-то сразу всплывает адрес: Лондон, Кенсингтон-роуд. Самая престижная улица, которую освоили отечественные, извините за выражение, олигархи. Елизавета Николаевна не была олигархом и ничего в этом роде не освоила. Она была скромным профессором, преподавателем университета в маленьком городке Челтенхем в Глостершире. Когда Екатерина Николаевна впервые услышала слово *Глостершир*, сердце её сильно забилося. Глостер встречался, естественно, у Шекспира. Только у Шекспира это – графство, а спустя шесть веков – область. Глостерская область. Это обстоятельство помечало особой краской местопребывание любимой сестры, погрузив скромное семейное событие – переезд в Глостер – в контекст всемирной культуры.

Екатерина Николаевна тоже была профессором и тоже преподавала в университете. Только не в Челтенхеме, а в Москве. Она преподавала классическую филологию, тогда как её младшая сестра – маркетинг. Как случилось, что русский профессор преподавал им, западным, на Западе, западную науку, в которую другой русский профессор, родная сестра первого, так и не смог врубиться, – отдельный роман. Смешливая, живая Лиза всегда была несколько авантюрна по сравнению с тихой, сдержанной Катей. Замуж выскочила в восемнадцать, в двадцать три расторгла брак, после чего, не мешкая, отыскала кого-то с Дальнего Востока, ближе не нашлось, но и то, был оленеподобен, румян и синеглаз, а серебряная прядь в чёрной, как уголь, шевелюре придавала всему облику дальневосточного красавца вид литературного героя, помчалась за ним без

оглядки, через пять месяцев оглянулась и вернулась, больше героя не выдержав, сделала аборт, за ним второй, не от него, еще от кого-то, с наступлением капитализма в России бросила школу, в которой учила детей тангенсам и котангенсам, будучи по профессии математиком, попала по какой-то программе в академию маркетинга, академий развелось, что мух, с окончанием этой программы, по другой, – в Штаты, в Чикагском университете сотворила диссертацию, получила *пи-эйч-ди*, то есть PhD, то есть звание доктора философии, к философии никакого отношения не имеющего, позднее что-то на самоуверенном американском континенте не заладилось, и когда открылась вакансия в более скромном Объединенном Королевстве, перелетела через океан и осела на симпатичной островной британской земле.

В целом, всё сложилось складно. Иные-то просто обзавелись китайскими клетчатými сумками из искусственной соломки и принялись таскаться из конца в конец планеты с товарами, прочно забыв свое самое высшее образование. Лиза не забыла и преуспела – прибегать к математическим формулам всё одно приходилось. Хотя Катя всегда полагала, что Лиза заслуживает большего, но кто считает наши заслуги и следит за распределением благ строго по заслугам?

Отец девочек, потомственный московский пролетарий, точнее, железнодорожник, в свободное от управления паровозной тягой время любитель истории, одну дочь назвал Екатерина, в честь русской царицы, вторую – Елизавета, в честь английской королевы. Он выбрал именно этих царственных особ, поскольку время пребывания на троне одной и другой, с разницей в сто лет, поименовано было *золотым веком*. Окружающих в известность о подоплёке не поставил, по-прежнему, как и многие, опасаясь репрессий, которых жди у нас по любому поводу, однако девочкам позднее объявил и, сам того не ведая, будто предсказал им судьбу. Не в смысле трона, а в смысле точки на карте. Сёстры, пока были маленькие, если без чужих, то так и обращались друг к другу: *Ваше Величество* да *Ваше Величество*.

Они переписывались по имейлу чуть ли не ежедневно – свидеться за долгие годы не пришлось. Лиза, ко всему, заделалась страстной путешественницей и осваивала разные занятные уголки

земного шара, начиная с египетских пирамид и кончая Шаолинским монастырём. Звала Катю с собой, Кате нездоровилось, да и денег лишних не было.

Теперь, поднакопив кое-какую денежку и укрепив, с помощью рекламируемых *бадов*, здоровье, Катя летела к Лизе. Дальше откладывать было нельзя, у Лизы намечался крупный юбилей, а другого родного человека рядом, чтобы отпраздновать по-семейному, не было. В Москве, в аэропорту, Катю заставили снять обувь – мужчины снимали, помимо, брючные ремни, – а также отдать бутылку с минеральной водой, которую она нарочно взяла из дома, чтобы не покупать в дорогом буфете, оказалось, зря, она только отпила, сколько можно, чтобы не пропадала. В Москве в то лето стояли аномальные плюс сорок, в Лондоне с утра было плюс десять, Лиза встречала с курткой, но у Кати была своя, заранее положенная в чемодан сверху. Катя не знала, в чём будет Лиза, и почему-то боялась, что не узнает сестры, поэтому шла медленно, почти величаво, перемещая взгляд с правой стороны на левую, и уже почти прошла мимо, когда Лиза её окликнула:

– Катя!

Она была всё та же, вроде и срока не прошло, даже лучше, гладкая кожа на щеках, волосы с глубоким отливом и как-то загустевшие, глаза такие же живые, и даже порченный зубик впереди, придававший всему её облику особую милоту, исчез, зубы все были ровные, белые, похожие на фарфоровые.

– Лиза... – только и смогла выдохнуть Катя, прижимая к себе голову сестры ещё и затем, чтобы та не видела её помокревших глаз.

– Ну будет, будет, – ласково оттолкнула её Лиза. – Идём, а то опоздаем на автобус.

И, не снимая с лица улыбки, потащила Катю за собой. Чемодан ехал самостоятельно, поскольку был на колёсиках, и вещей Катя взяла с собой немного, понимая, что Лиза непременно одарит её.

– А ты похудела, – посожалела Лиза, всматриваясь в лицо сестры, когда остановились у красивого автобуса с огромными затёнными стеклами, где водитель забирал у пассажиров и укладывал чемоданы в тёмное обширное автобусное брюхо.

– Не похудела – постарела, – поправила Катя. – А ты выглядишь прекрасно.

– Воздух прекрасный, – объясняя, сказала Лиза.

Воздух, и правда, был свеж и прохладен, его можно было пить, как воду из холодильника, Катя и куртку не набросила, оставаясь в блузке с короткими рукавами, московский зной, казалось, нехотя покидал оккупированные им красные и белые кровавые шарики.

В самолёте Кате представлялось, как начнут трещать сразу же, без умолку, перебивая друг друга, столько случившегося за всё это время надо было успеть выложить друг другу, но в автобусе Катя не знала, что делать, спрашивать ли сестру, рассказывать ли самой, изучать ли сквозь чистое стекло окрестности или разрешить себе прикрыть глаза – сказывалась бессонная ночь накануне, проведённая в томительной духоте, нервное ожидание в аэропорту, беспокойство при пересечении обеих границ.

– Смотри, смотри в окошко, наговориться успеем, – будто улышав её, вымолвила Лиза и сама легонько повернула голову сестры к окну.

За окном набегал чисто английский пейзаж. Ровные зелёные четырехугольники перемежались ровными жёлтыми четырехугольниками, но не для улады глаз проезжающего путешественника, а для хлебного каравая к столу Британии. Паслись мирные овечки на лугах, что тотчас вызвало в памяти неуместное *паситесь, мирные народы, вас не разбудит чести клич, к чему стадам дары свободы, их должно резать или стричь*.

Лошадь проехала, расцветкой похожая на корову, чёрная с белыми пятнами. Пролетело отдельно стоящее сухое деревце с изящно изогнутыми и изысканно исковерканными ветками, как если бы над ним не природа потрудились, а искусство. Наступил городок, улицы которого на здешний манер состояли из одного сплошного здания, разделённого на отдельные фрагменты крашеными фасадами, лестницами и входными дверями, не их городок, а другой, Лиза назвала, Катя тут же забыла название. Они обменивались общими словами, но именно что общими, поверхностными, какие звучат, скорее, из вежливости, нежели рвутся из души. Из души ничего не рвалось, толща времени и расстояния между ними будто законопатила входы и выходы, и, не испытывая неловкости, они испытывали опустошённость, ставившую под вопрос близость, имевшую место быть по емейлу.

Катя взяла Лизину руку обеими своими руками, почувствовала её мягкость и теплоту, откинулась слегка назад и вдруг уснула.

Лиза разбудила её, когда въезжали в Челтенхем.

– Господи, я так крепко спала! – отняв руку, в которой всё еще лежала Лизина рука, смущённо потёрла ею глаза Катя.

– Ты устала, – опять объяснила Лиза.

– А ты? Тоже ведь встала ни свет ни заря.

– Я нет, – помотала головой сестра.

Следующие дни они бродили по городу, напомнившему Кате фильм Отара Иоселиани *Охота на бабочек*, где эта замечательная старуха ездит на велосипеде за покупками, батоном, сыром, зеленью, только в фильме французский город, но виды и повадки провинциальной Старой Европы, уютной, домашней и уж точно предназначенной для жизни людей, а не для оборота денег, нефти и газа, жадности и тщеславия власти, те же.

Катя не умела перейти через дорогу и делала это, держась за Лизу, а когда ходила одна, то с полминуты вертела головой влево и вправо, и, лишь пропустив весь идущий транспорт, ступала на мостовую. В первый раз, когда за ними приехал таксист, она, спустившись по лестнице и выйдя из дома вперёд Лизы, не могла понять, где он, и что делает этот посматривающий из-за спущенного стекла мужик, сидящий рядом с отсутствующим водителем. Точно так же водитель отсутствовал в едущих машинах, и точно так же рядом с водительским местом всегда сидел кто-то, мужчина или женщина, и Катя, опомнившись, соображала, что в Англии левостороннее движение. Всё равно однажды ступила на проезжую часть ровно в тот момент, когда мимо со свистом промчался неучтённый автомобиль, едва не убив её. Чудом осталась в живых.

Осматривали старинные здания – камень, кирпич, дерево. Заходили в церковь. В одной церкви, с великолепными витражами, обедали. Она была пуста, если не считать парочки за столом метрах в стах от их стола. Церковь – бывшая, переделанная под ресторан с легкомысленным названием *Zizzi*. Ресторан итальянский. *Zizzi*, якобы на сицилианском диалекте, означало *молодежный стиль*. А если перевернуть слово задом наперед, получалось *Aziz* – что не очень-то получалось – и что якобы на *мусульманском языке* означало *возлюбленный*. Толкования, включая *мусульманский язык*, исходили от

высокого кудреватого юноши, по облику, и впрямь, итальянца. Он подошел к сёстрам и с обаятельной улыбкой представился:

– Меня зовут Антонио, сегодня вы мои гости.

Он был официантом и через четверть часа принёс фирменное блюдо *Tagliata steak*, оказавшееся подошвой, разрезанной на кусочки, вместе с *Café espresso* – столовским кофе. Надо признаться, что это был единственный кулинарный прокол – в остальных питательных заведениях, куда Лиза водила Катю, еда была на редкость вкусной. А поход в *Zizzi* Лиза так и так предварила замечанием, что пища там так себе, а посидеть поглазеть на интерьер интересно. Катя и глазела.

С первого вечера они не закрывали рта. Случаи, события, истории, признания, мысли по поводу и без повода выливались из них как весенняя талая вода из водосточных труб. Разговоры по-прежнему перемежались зонами молчания, но они больше не смущали, представляясь вполне естественными между своими, неестественной была бы натянутая старательность.

Лиза водила Катю в университет. *В школу*, говорила она. *Школа*, если честно, Катю разочаровала. Она ждала увидеть старину, а её встретил стандарт семидесятых только что минувшего века. Слава Богу, что её местом работы служил старый университет на Моховой, а не безликие коридоры и аудитории на бывших Воробьёвых, после Ленинских, а после опять Воробьёвых горах, чьё здание по старой привычке именовали новым.

Лиза сказала про *школу* то же самое:

– Да, здание новое, что поделать, зато парк старый.

Они прогуливались по отменному парку, возле пруда познакомились с парой уток, сходили на Лизину кафедру, *департамент*, по-здешнему.

– Как у вас хорошо! – сделала комплимент Катя секретарше департамента.

– Хорошо, когда студентов нет, – засмеялась секретарша. – Вот если б их вообще не было!..

Катя тоже засмеялась, ей хотелось делать приятное окружающим Лизы. Началось каникулярное время, частично функционировали лишь департаменты.

По вечерам, а особенно по ночам, кричали крупные чайки, при

том, что море было недалеко. Они то хохотали как истерички, то плакали как дети, то тявкали как собаки, то мяукали как кошки, то ссорились как мужья с женами, то скандалили как соседки на кухне. Как ни странно, Кате ничего не мешало. Она спала так, как давно не спала в Москве, плохой сон был её доукой.

Лиза купила Кате длинную шёлковую юбку, белую, в чёрных листьях, и две блестящие шёлковые кофточки, фисташковую и лиловую.

– Спасибо, будет, в чём отпраздновать твою дату! – обняла благодарная старшая сестра младшую.

Дата приближалась.

– Ты не будешь возражать, если я приглашу завтра вечером в ресторан своего знакомого Томаса? – спросила Лиза Катю накануне.

– О чём ты говоришь! – бурно всплеснула руками Катя. – Конечно, пригласи! Пригласи всех, кого сочтёшь нужным!

Лиза неоднократно писала, что у нее масса друзей и подруг, и среди университетских, и среди *вокеров (walker)*, *ходоков*, с кем она по воскресным дням ходит по окрестностям, и среди соседей. Соседка как раз забирала почту, когда Лиза и Катя возвращались из магазина. Лиза познакомила их. Соседку звали Джоан, на вид лет восьмидесяти, седая, серая, со сморщенным, как печёное яблоко, лицом. Лиза поведала, что Джоан была радиоинженером в армии; выйдя на пенсию, получила заочное высшее образование, дважды в неделю тратит по шесть часов на дорогу в Лондон и обратно, служа в госпитале по электрической части, а в свободное от службы время раскатывает на поездах по Англии, имея забавную цель: освоить все железнодорожные маршруты родины. Чем-то неуловимым она походила на французскую героиню Иоселиани, если убрать пышную причёску, заменив её небрежной короткой стрижкой.

Лизино повествование о Джоан привело Катю в восторг. Лиза легко сходилась с людьми, замкнутая Катя знала это и по Москве, и не то что завидовала, а не уставала удивляться. Катин интерес к людям тихо сошел на нет и почти не возобновлялся. Одинокую Катю устраивали книги. Студенты не оставляли усилий по разгадке своей загадочной преподавательницы, живущей в каком-то ином, своём мире, с надмирными веяниями и влияниями, и то, что она никогда не заискивала перед ними, отрывисто и вдохновенно читая в никуда

свой курс классической филологии, заставляло их заискивать перед нею и если не вникать в курс, то делать вид, что вникают, и это, так или иначе, оставалось единственной Катиной связью с миром.

– Кто такой Томас? – поинтересовалась Катя.

– Он живёт в Ливерпуле, наезжает сюда на своей машине раз в месяц, мы ходим вместе ужинать, – лаконично объяснила Лиза.

Про *всех* так же лаконично сказала:

– Всех не могу пригласить, все в отъездах.

Так и вышло, что отмечать Лизин юбилей отправились втроём: принаряженные Лиза с Катей и этот смешной человек в майке горчичного цвета и потёртых джинсах, широкий ремень на которых не удерживал вываливавшегося из них живота. Он поставил машину возле дома, где Лиза снимала квартиру, позвонил снизу, Лиза с Катей вышли, он протянул Лизе музыкальный диск в качестве подарка, Лиза сунула в сумочку, улыбнувшись:

– О, Бриттен ! Ты помнишь, я тронута.

Ты и *вы* в английском звучат одинаково. В переводе на русский Лиза предпочитала употреблять *ты*.

Представив сестре Томаса, она двинулась первой, спутники пошли за ней. Время от времени расположение фигур менялось, они оборачивались друг к другу, сходясь и расходясь, словно танцую старинный танец *котильон*. Котильон, как известно, был последний танец бала. Навстречу им по дороге попались трое коротконогих мужчин в шортах. Катя хотела поделиться с Лизой недоумением: классический англичанин представлялся ей худощавым, сухопарым джентльменом. Но вспомнив мистера Пиквика, удержалась. К тому же, в виду Томаса это выглядело бы и вовсе некстати. Потёртые джинсы Томаса плохо гармонировали с серебряной сумочкой и высокими каблуками серебряных туфель Лизы, но кто сказал, что эти двое обязаны были существовать в гармонии, задала сама себе вопрос Катя.

Выбранный Лизой ресторан находился на расстоянии вытянутой руки. Здесь всё находилось на расстоянии вытянутой руки, заботливо сближая обитателей со средой обитания. Минут через десять они уже усаживались за столик в саду. Плюс двадцать на улице обеспечивали приятное времяпрепровождение.

Утром этого дня Катя расцеловала Лизу:

– А подарок вечером, в торжественной обстановке!

Лиза рассмеялась.

Днём Катя давала интервью Лизиной сослуживице для книги, посвящённой женскому вопросу в России, и, кажется, переутомилась. Вместо получаса беседа затянулась на час с лишним. Катя сама неожиданно увлеклась. Читая литературу *на языке*, она практически не имела навыков разговорной речи. В анкете написала *passive*, имея в виду пассивное владение языком. Давая интервью, с удовольствием извлекала из глубин памяти полузабытые слова и обороты. Время от времени сослуживица мучительно всматривалась в Катино лицо, видимо, не совсем понимая её английский. Хуже то, что Катя почти не понимала её – устного – английского. Лиза помогала. Тактично подсказывала смысл вопроса, когда сестре не удавалось схватить его, тогда Катя схватывала и излагала ответ *in profundis*. *Из глубин*. Иначе не умела. Тупая в жанре диалога, она была артистична в жанре монолога, зная это за собой. Через час сорок, внезапно обесилев, заруглила разговор, жалея, что пришлось оборвать на самом интересном месте. Это вызвало у нее резкое недовольство собой, но что поделать.

Вечером в саду за столиком непреходящая усталость портила Кате настроение. Она передёрнула плечами, пытаясь сбросить с себя тягостный морок.

– Замерзла? – спросила внимательная Лиза.

– Нет-нет, всё в порядке, – поправила редкие, зато чисто вымытые волосы Катя.

Высушивая их перед английским зеркалом, Катя самой себе понравилась. Настолько, насколько не понравилась себе в московском. Это было удивительно.

Расселись так: Катя рядом с Лизой, Томас на противоположной стороне стола. Неожиданно Лиза встала и пересела к Томасу, Катя оказалась прямо напротив Томаса одна. Ей сделалось неудобно, пришлось разглядывать визави, чего не хотелось. Он был лыс, остаточный венчик далеко отстоял от центра макушки, головка мала относительно туловища, лицо с невыразительными мелкими чертами не запоминалось. Он хорошо улыбался и чутко схватывал момент, когда Катя ему внимала, когда бросала внимать, без задержки переводил глаза на Лизу, с которой ему явно было приятно беседовать.

Сделали заказ. С шампанским. Лиза и Томас сразу указали на что-то в меню, Катя мучилась, не зная, что выбрать. Лиза и Томас спокойно ждали. Наконец, она тоже ткнула в какую-то строчку, где обозначались салаты, попросив малую порцию, официантка сказала, что порция слишком мала, Катя согласилась на большую. Шампанское в серебряном ведёрке принесли спустя пару минут. Катя несколько раз останавливала выразительный взор на Лизе с немым вопросом, как и когда начинать торжественную часть, Лиза, казалось, была целиком поглощена беседой с Томасом и на мимику сестры не реагировала. Катя уловила, что разговор шёл о погоде, в её сравнительном состоянии в Англии и в России, о кризисе, о футболе, о книгах. Футбольная и книжная темы изобиловали названиями, которые Кате ничего не говорили. Ей многое ничего не говорило, и она, слегка нервничая, решила взять инициативу в свои руки.

– Томас, откройте, пожалуйста, шампанское, – попросила она.

Это вышло у нее неплохо: непосредственно и на хорошем английском. До сих пор волнуясь перед началом лекции, она давно научилась переводить волнение во вдохновение. Механизм сработал и здесь. Славная доброжелательность нарисовалась на физиономии Томаса, он умело и без нежелательного фонтана брызг открыл бутылку, попросил разрешения налить, получил согласие, золотистая влага, на ходу превращаясь в тонкое белокипенное кружево, стала заполнять тонкое стекло бокалов.

Катя поднялась и начала речь, готовила и репетировала которую с утра:

– Милая моя сестра, Ваше Величество...

Тень удивления скользнула по лицу визави, нарушая представление Кати о невозмутимости как национальной черте английского характера. Невозмутимой оставалась Лиза, и Катя любила её за это. И за это тоже. Она гордилась тем, что её сестра умна и красива. Она догадалась, что Лиза не поставила в известность Томаса о круглой дате. Сестре пошло на пользу пребывание за границей. Она больше не выделялась, не суетилась, не ставила себя на первое место, как это было на родине. Нынешняя Лиза во всех ситуациях сохраняла спокойствие и смотрелась настоящей леди. Возможно, даже и настоящей королевой.

– Ваше Величество, это вам!..

Катя полезла в сумку и, достав оттуда алую бархатную коробочку, протянула Лизе. Та взяла и открыла. В коробочке лежало кольцо с крупным изумрудом.

Лиза ахнула.

Томас покачал головой.

Лиза встала, обошла столик и ласково прижалась к Кате. Теперь она стояла, уткнувшись сестре в плечо, пряча лицо, залитое слезами.

Спустя минуту она вернулась на свое место, встряхнула головой и улыбнулась. Были подняты бокалы, было произнесено *чин-чин* и отпито некоторое количество шампанского.

Кольцо Лиза спрятала назад в коробочку, коробочку положила в серебряную сумочку. Катя оценила жест. Если бы Лиза надела кольцо, внимание всех троих в течение вечера неизбежно было бы приковано к нему. То есть к ней. А она этого не хотела. Их с Томасом активный обмен мнениями о спорте, о литературе, о финансах, об экономике продолжился. Потягивали шампанское, что-то восклицали, Катя не слушала, ей стало нестерпимо скучно, и она, сооротив заинтересованное лицо, внезапно спросила, не зная, прилично это или неприлично:

– Томас, а вы кто по профессии?

Он с охотой повернулся к ней и что-то проговорил. Катя не поняла и взглянула на Лизу.

– Он сказал, что он бухгалтер, – перевела Лиза.

– А, – протянула Катя.

– А вы чем занимаетесь? – задал Томас, в свою очередь, вопрос Кате, будто только и ожидал её вопроса.

– Моя сестра – профессор Московского университета по классической филологии, – отвечала за неё Лиза, не гордясь и не хвастаясь, а констатируя факт.

Катя сидела над огромным блюдом салата из крабов и креветок, браня себя за то, что не настояла на малой порции, ничего больше не понимая, ненавидя обычно желанный салат, ненавидя язык, ненавидя себя, ненавидя Томаса. Её замечательная сестра, достойная любого принца, отмечает круглую дату ни с кем. С толстым пожилым неинтересным бухгалтером. То есть, может, и интересным, судя по их с Лизой оживлённой болтовне, но не исключено, что это всего лишь дань любезности, принятой в их западном мире. Лиза, не прекращая

общаться с Томасом, протягивала Кате своё блюдо, требуя, чтобы та взяла и попробовала что-то, Катя брала, жевала зажаренные до хруста кусочки ветчины, от которых непременно обострится примолкшая было язвенная болячка, но она и от шампанского обострится, так что всё одно к одному. Катя опять передёрнула плечами, на этот раз от прохлады, даже отдохновенная прохлада была ей ненавистна. Вымечтанный ею праздник складывался таким, каким складывался.

Дома Лиза, надев кольцо и ничего не комментируя, вытягивала руку так и эдак, любуясь игрой света на ярких гранях. Катя сидела напротив, любуясь тоже. Вдруг Лиза встала, пересела к Кате и положила голову ей на колени, и долго они сидели так молча, и Катя гладила голову сестры, неотступно думая о Томасе, этом жалком бухгалтере с мелкими чертами лица и большим животом, претендующим на её сестру, красавицу и умницу.

– Где он работает? – между прочим, небрежно спросила Катя.

– Он не работает, он на пенсии, – тотчас отозвалась Лиза.

Катя чуть не задохнулась. Ещё и пенсионер!

– А где работал? – равнодушным тоном, чтобы не выдать себя, продолжила допрос Катя.

– В *Би Пи*. Финансовым директором одного из филиалов. Знаешь, что такое *Би Пи*?

– *Бритиши петролеум*? – изумилась Катя.

– Да, – как обычно, коротко откликнулась Лиза.

Она ещё раз вытянула руку с кольцом перед собой:

– Спасибо, Ваше Величество! Вы сделали сегодняшний вечер незабываемым.

– А Томас? – не выдержала Катя.

– А что Томас? Томас никакого смысла не имеет, – спокойно ответила Лиза.

– Правда? – выдохнула Катя.

– Правда, – подтвердила Лиза и добавила бесчувственно: – Ты разве не обратила внимания, как он аккуратен в выражении эмоций?

Катя не обратила. Во-первых, не вникала, во-вторых, не могла вникнуть, в-третьих, не желала вникать. Но теперь, когда Лиза сказала то, что сказала, Катя с абсолютной ясностью увидела, что аккуратист и вправду не хотел переступить некую грань, за которой

начиналась подлинное тепло человеческих отношений, а старательно оставался за этой гранью, и досада её лишь усугубилась.

– Боже мой, Лиза, да погляди на себя, ты королева!..

– Такая же, как ты, – мягко сказала Лиза.

Одинокая Катя прикусила губу.

Через открытую балконную дверь громко слышались крики птиц, тревожно окликавших, словно звавших друг друга.

Таксист высадил Екатерину Николаевну перед остановкой междугороднего автобуса, обратившись к ней почему-то на трёх языках: фюнф паундс, мадам. Автобус № 222, проездом через Челтенхем, остановился в Челтенхеме забрать Екатерину Николаевну и ещё человек пятнадцать пассажиров, чтобы домчать их за два с половиной часа до аэропорта Хитроу. Если бы это был автобус № 444, он домчал бы их до Лондона, но в Лондон им не надо было, им надо было в Хитроу. Елизавета Николаевна объяснила Екатерине Николаевне всё четко.

Убегающий английский пейзаж за окном убегал навсегда.

Пройдя необходимые формальности, Екатерина Николаевна сидела в аэропорту в удобном кресле в ожидании объявления рейса. Прошёл рыжий детина, видимо, ирландец, и, видимо, солдат, в светлом камуфляже, правая рука затянута в резиновый бинт, должно быть, потянул, бедолага, стреляя. Симпатичная толстуха, вся в белокурых прядях-спиралях, которые время от времени взбивала, вращая круглыми глазами, с трудом засунула себя в кресло рядом с Екатериной Николаевной, круглый полуоткрытый рот обнажал круглую подковку белых, таких же, как у Лизы, зубов. Рабочий в синем комбинезоне, похожий на Чичваркина, вооружённый длинным шестом, проверял какие-то устройства на стенах зала.

«Мои лучшие пожелания леди Н.: её отъезд, вместе с ещё несколькими моими друзьями, явился печальным событием, повергшим меня в состояние ледяного одиночества. *На водах* Челтенхема я сидел и *пил*, вспоминая вас...», – читала Екатерина Николаевна записку лорда Байрона лорду Холланду от 10 сентября 1812 года в книжке, которую подарила ей Лиза.

Чичваркин извинился, что потревожил даму, проверяя шестом что-то непосредственно возле неё.

Ольга Кучкина – известный журналист, писатель. Многие годы работала обозревателем газеты «Комсомольская правда».

Автор более 25 книг. Автор нескольких пьес, которые шли на сценах театров России, США, Англии, Франции, Финляндии, Швеции, Японии.

Пьесы, стихи и проза публиковались в журналах «Театр», «Современная драматургия», «Новый мир», «Октябрь», «Знамя», «Дружба народов», «Нева», «Континент», «Арион» и других.

Отмечена рядом премий.

Яков ФРЕЙДИН

КОРОНАВИРУСНЫЙ ДЕКАМЕРОН

Как уже не раз до того бывало, в 1348 году в итальянские земли пришла чума. Состоятельные люди, которые поумнее, чтобы не заразиться, устраивали себе карантин, то есть изолировались от внешнего мира и ждали, когда эпидемия сойдёт на нет. Одним из



таких сообразительных синьоров был поэт Джованни Боккаччо, человек творческий, с выдумкой и к тому же непоседливый. Сидеть взаперти без дела ему было тоскливо, и, чтобы не скучать, он стал писать книгу. Чумная обстановка подсказала сюжет: семеро молодых женщин и трое молодых мужчин устроили себе карантин на тосканской вилле недалеко от Флоренции. Вдобавок к прочим развлечениям, о которых мы можем только догадываться, они в течение десяти дней рассказывали друг другу разные занятные истории. Поэтому Боккаччо назвал свою книгу «Декамерон», что по-гречески значит «Десятидневка».

Ничто не ново под луной; что было, то будет снова – чума и прочие напасти за прошедшие с тех пор 672 года приходили вновь и вновь. И вот пожалуйста опять – в начале 2020 года на весь мир, а не только на Италию и окрестные страны, навалилась другая смертельная болезнь, вызванная коронавирусом. В цивилизованных странах по распоряжению их правительств был устроен всеобщий карантин – предписали всем сидеть по домам, на улицу без особой надобности не выходить и ждать, когда зараза уйдёт. Я, как и все, сидел дома и скучал, смотрел телевизор, что-то рисовал, что-то писал. Вдруг вспомнил я про Боккаччо и его «Декамерона» и подумал – а не сделать ли нам нечто подобное?

Я обзвонил десять своих друзей-приятелей и предложил всем нам ежедневно связываться по Скайпу и рассказывать друг другу занятные случаи из своих жизней – по одной истории в день от каждого из участников этого проекта. Так мы и сделали – десять дней подряд развлекали друг друга разными байками. Потом я собрал вместе все десять рассказов, слегка их подредактировал чтобы сгладить шероховатости, убрать лексику, которая могла бы царапнуть дамский слух, и поменять некоторые имена. Эту коллекцию правдивых историй я предлагаю вашему вниманию.

День Первый, рассказчик Ф.Р.

Эпидемия коронавируса подошла к моему родному Лос-Анджелесу довольно деликатно и без больших жертв, если сравнить, скажем, с Нью-Йорком или Италией. Однако карантинные правила в городе ввели довольно суровые: мы все сидели по домам и лишь изредка выходили на улицу чтобы прогуляться, пойти за покупками в продуктовые магазины или аптеки. В город пришла весна, и хотя она в наших краях мало чем отличается от лета или зимы, но всё же настроение было весеннее и дома сидеть совсем не хотелось. Поэтому я карантин изредка нарушал, чтобы встретиться с приятелями, которые явно были здоровы и никого заражать не собирались, разве что своим хорошим настроением. Шансы подцепить вирус в наших краях совсем крохотные. Посудите сами, в округе Лос-Анджелеса на 10 миллионов жителей вирус диагностировали только у десяти тысяч, шанс встретить заражённого – одна десятая одного процента,

а подцепить от него вирус и того меньше. Так что на все эти игры с карантином мы смотрели с некоторой иронией, но и совсем игнорировать их не могли – закон есть закон, а потому основные предосторожности всё же соблюдали.

На прошлой неделе гуляю я со своей собачкой по бульвару Сансет и вижу – идёт навстречу мой давнишний знакомый Джеф, который тоже решил пройтись на свежем воздухе. Хотя мы оба были в намордниках, то есть в медицинских масках, он меня узнал. Мы поприветствовали друг друга локтями, как сейчас принято, и дальше пошли гулять вместе. Поболтали о том, о сём, а потом Джеф мне говорит:

– У меня к тебе деловое предложение. Ты только не говори сразу «нет», а послушай. Впрочем, сделаем так — лучше я тебе ничего объяснять не стану, а предлагаю принять в моём бизнесе пробное участие, пока только на один вечер. Мне партнёр нужен. Доход делим поровну, после вычета расходов, разумеется. Ты за один вечер получишь свою долю – 400 долларов. Если понравится, сможешь делать по восемьсот за вечер, но это только пока карантин не отменили. Краткосрочный бизнес, к сожалению, и надо ловить миг удачи. Ты попробуй хоть на один вечер, а там решай, стоит тебе этим заниматься или нет.

– А это, надеюсь, в рамках закона? – спрашиваю я.

– Абсолютно! Мы с тобой закон уважаем, и деньги за работу нам платят охотно и даже с радостью. Если согласен, сегодня в шесть вечера я за тобой заеду.

Короче говоря, в этот же вечер ровно в шесть часов у двери моей квартиры тренькнул звонок. Я открыл и оторопел: передо мной стоял вроде как марсианин в пластиковом скафандре, но без шлема. Подмышкой марсианин держал пакет. Это был Джеф. Он прошёл в комнату, сел у стола и говорит:

– Это я в костюме биологической защиты, и для тебя такой принос. Одевайся и поедем на дело.

– Погоди, погоди, – говорю, – какое дело? Ты что, собираешься в таком виде грабить банк или ещё что-то в этом роде?

Он засмеялся и отвечает:

– Я же тебе сказал, всё честно, никакого нарушения закона. То, что я делаю, это гуманитарная помощь людям в трудное время –

нормальный бизнес. Давай, натягивай на себя этот «презерватив», только шлем пока не надевай – это потом, и поехали: нам через полчаса надо быть у клиента.

Влез я в этот пластик, он меня всего облепил от обуви до шеи, а шлем – эдакий прозрачный колпак с трубками и респиратором снаружи – я надевать не стал. Мы спустились вниз. У подъезда на улице стоял джип, на котором Джеф обычно ездил на работу, мы уселись и поехали.

Минут через десять подъезжаем к высотке. Тут у нас в центре города немало больших старых домов постройки ещё 20-х и 30-х годов прошлого века. Многие в стиле арт-деко – красота. Только на красоту эту смотреть некому, на улицах пусто, все по домам сидят и на выгул по вечерам не ходят. Мы надели шлемы, на руки натянули резиновые перчатки, поднялись в лифте на шестой этаж и нашли нужную квартиру. Джеф позвонил.

Дверь открыла женщина лет сорока или пятидесяти, сказать точнее сложно – нижняя половина лица у неё была замотана шарфом. Она в испуге уставилась на наши скафандры, молчала и только глазами хлопала. Джеф говорит:

– Мэм, прошу прощения, городская карантинная служба. Мы вынуждены носить такие защитные костюмы. Здесь проживает мистер Алан С.?

Она утвердительно кивает.

– О-Кей, – продолжает Джеф, – нам надо с ним поговорить. Можете его позвать сюда к дверям? Без особой нужды мы внутрь не имеем права заходить.

Женщина опять закивала, повернула голову и крикнула: «Ал! Иди скорее сюда! Это к тебе!» Сразу же за её спиной нарисовался мужчина лет под пятьдесят, высокий, довольно интересный, с усиками в форме греческой буквы «дельта». Он взглянул на нас, как мне показалось, без особого удивления, и спрашивает:

– Чем могу помочь? Что случилось? Мы с женой как раз обедаем...

– Ваше имя Алан С.? – спрашивает его Джеф, сверяясь с записью в блокноте, который у него в руке.

– Да, – говорит тот, – а в чём дело? У нас тут все здоровы, так что...

– Мне нужно задать вам несколько вопросов, – перебивает его Джеф, – вы вчера около 11 часов утра заходили в аптеку CVS на 7-й улице?

– Заходил, а что, не имею права?

– Не в этом деле. Вы в аптеке разговаривали с неким мистером Алехандро Гонзалесом?

– Да, действительно, это мой сослуживец, мы там встретились и поговорили...

– Дело в том, – продолжает Джеф, нахмутив брови, – этот мистер Гонзалес вчера вечером почувствовал себя плохо, поднялась высокая температура, кашель сильный, и его увезли в госпиталь. Там сделали тест на коронавирус, и тест оказался положительным. Поэтому каждый, кто с мистером Гонзалесом за последнюю неделю контактировал, подлежит обязательной карантинной изоляции на 14 дней. Никаких физических контактов с внешним миром. У нас есть приказ увезти вас в специально оборудованную гостиницу за городом. Это бесплатно, у вас там будет отдельная комната и трёхразовое питание. Вы отказаться не можете. Надо ехать немедленно.

Тут эта женщина – в слезы, а муж её успокаивает, что, мол, нечего реветь, неизвестно ещё, заразился ли он от этого Гонзалеса. Спорить, говорит, бесполезно, раз такие правила, придётся ехать. А если что, там есть врачи. Сразу видно, этот Алан человек рассудительный. Джеф ему тогда говорит:

– Мы вас тут в коридоре у дверей подождём, а вы быстренько соберите, что может понадобиться на время карантина, и мы вас отвезём. Возьмите с собой бельё и одежду на две недели, туалетные принадлежности, телефон, чтобы жене звонить, личные вещи, сами решайте что надо. Может книжки какие чтобы почитать, только давайте побыстрее, у нас ещё несколько таких, как вы, надо навестить. А пока наденьте на лицо эту маску и вот ещё резиновые перчатки.

Мы стоим в коридоре у открытой двери, хозяева убежали внутрь собирать вещи, а Джеф мне подмигивает. Я тогда и не понял – почему? Минут через десять появляется этот Алан в куртке, на лице маска, а в руке небольшой чемодан. Сзади его жена стоит, слезу утирает и шепчет: «Как устроишься, сразу звони», ну и всё такое в этом роде. Он ей помахал рукой в резиновой перчатке, и мы на лифте поехали вниз.

Мы с Аланом сели в джип на задние сидения, а Джеф за руль. Как отъехали за угол, Джеф вдруг снял с себя шлем, а Алан с лица маску содрал и говорит нам:

– Ну вы, ребята, даёте! Здорово разыграли, как по нотам! Комар носа не подточит.

– Да уж, – отвечает Джеф с ухмылкой, – мы своё дело знаем. Не вы первый, не вы последний. Вы, мистер, дайте мне адрес, куда сейчас ехать?

Алан ему адрес продиктовал, Джеф ввёл его в навигатор и мы помчались, благо машин на улицах почти не было. Где-то через четверть часа подъехали к небольшому домику с садом и гаражом. В окнах горел свет. Алан сказал: «Приехали. Это здесь». Джеф остановил джип у гаража, Алан прихватил свой чемодан, махнул нам рукой в резиновой перчатке и вышел. Мы сразу уехали.

Ехали молча. Минут через пять Джеф остановил машину, расстегнул на себе скафандр и достал из кармана бумажник. Отсчитал четыре сотни долларов и подаёт мне:

– Держи, это твоя доля.

– Может ты объяснишь мне, что тут происходит, что за маскарад? – спрашиваю я.

– А я думал, что ты уже сам догадался. Тогда слушай. Я использую нынешнюю карантинную ситуацию, чтобы помогать любящим сердцам соединиться и уединиться. Дело в том, что у этого Алана есть любовница, но до сих пор видеться им приходилось урывками, чтобы его жена не догадалась. А тут, спасибо коронавирусу и моему бизнесу, мы умыкнули его от жены и привезли домой к любовнице на целых две недели. Все четырнадцать дней его жена будет в полной уверенности, что её муж тоскует в карантине в полном одиночестве, а он в эти самые дни будет ловить кайф в объятиях своей подруги. Я организовал этот сервис из альтруистических соображений – пусть хоть кому-то будет радость и удовольствие посреди чумной атмосферы. Разумеется это не даром. Плата скромная – тысяча долларов за вызов. Клиенты довольны и счастливы, а мы с тобой не внакладе. Ну как, поедешь снова? У меня на завтра есть два вызова. Поедешь?

– Почему бы и нет, – отвечаю, – поеду. Деньги не помешают, а кроме того, мне нравится играть роль соединителя сердец. И тел тоже...

День Второй, рассказчик Н.Т.

Несколько лет назад мы с женой отправились в Вашингтон погулять по городу, посетить музеи и заодно повидать друзей. Конечно, не в первый раз туда поехали, но всегда интересно там побывать. Если вы там ещё не были, надо поехать, не пожалеете. В центре столица очень интересная, имеет почти европейский вид и, в отличие от многих американских городов, там есть тротуары и к нашему удовольствию можно ходить ногами. Парки, красивые здания, много бесплатных музеев, да вообще сколько угодно культуры, хотя в основном привозной или гастролирующей. Местной довольно мало. Одно мне в столице не нравится – город, как саранчой, заражён множеством прожорливых адвокатов, политиков и всяких прочих лоббистов. Но ничего не поделаешь – там, где проходят тучные стада государственных, то есть халявных, денег, всегда собираются кровососы, чтобы присосаться. Впрочем, не о них речь.

В один день мы вышли из совершенно замечательной Национальной Галереи Искусств и пошли в сторону Капитолия. Было лето, солнце жарило довольно свирепо и хотя дул резкий ветер, от жары это не помогало. Вот этот-то порывистый ветер и напроказничал – содрал с моей головы соломенную шляпу, покатил по тротуару, стал злобно швырять её по дороге под колёса безучастно мчавшихся машин, а потом уволок куда-то далеко в парк – и не найдёшь. Короче говоря, пропала моя шляпа.

Но вот проблема: под жарким солнцем ходить с босой головой мне совсем не улыбалось. Надо было срочно купить взамен какую-нибудь кепку. К счастью, с этим в Америке проблем нет: что-то продать тяжело, а вот купить – это просто. На каждом углу по Пенсильвания Авеню стояли лотки, торговавшие для туристов всякой сувенирной дребеденью. Были там и такие, где продавались фуражки всевозможных цветов и с разными надписями. Цвет меня особенно не волновал, но в отношении того, что у меня на голове будет написано, я довольно разборчив. Считаю, что если я буду на себе носить по улицам некую торговую марку, эмблему какой-то фирмы или, скажем, название футбольной команды, то это для них будет реклама и мне такую кепку должны дать бесплатно. С чего это я буду их задарма рекламировать? Реклама стоит денег. Тут у нас ка-

питализм, и всё должно быть взаимно. Я вам – свою голову для вывески, а вы мне за это – кепку, а иначе я не согласен.

Моя принципиальность в вопросах рекламы сильно усложняла выбор – кепок без надписей не было. Наконец я нашёл одну чёрную, на которой был вышит герб США с авиационными крылышками и надпись «Air Force One. Presidential Crew», то есть «Самолёт Президента. Президентский экипаж». Будучи патриотом Америки, я ничего не имел против того, чтобы ходить по улицам с гербом на голове, а эта надпись про самолёт президента и членство в его лётной команде на рекламу никак не была похожа. Поэтому я эту кепку купил, благо цена была ерундовая – всего пять долларов. Купил, сразу же надел, и мы пошли гулять по Моу. Дальше в Вашингтоне ничего с нами примечательного не случилось, а потому и рассказывать про нашу прогулку не стоит.

Через два дня, когда мы в аэропорту стояли в очереди на посадку в самолёт, чтобы лететь обратно домой, я был в своей новой фуражке. Неожиданно к нам с женой подошла дежурная на посадку и вежливо пригласила зайти в самолёт без очереди. Нас это слегка удивило. Подумал – может она приняла меня или мою жену за каких-то важных персон? Жена, хотя и музыкант, но в Вашингтоне никогда не выступала, а если бы и выступала, слабо верится, чтобы чёрная тётка из аэропорта бывала на симфонических концертах и её запомнила. Что касается меня, многие недавние иммигранты мне говорили, что я внешне напоминаю какого-то современного российского киноактёра. Допустим, что так, но откуда им в американском аэропорту знать российских актёров? Русские фильмы тут не идут. Так я тогда ничего не понял и лишь по прилёте домой сообразил, что причина была в моей фуражке с гербом. Стало быть, эта дежурная в аэропорту приняла меня за президентского пилота.

Кстати, без каких либо моих усилий или моего желания меня иногда действительно принимают за кого-то другого. Может это свойство моей физиономии? Не знаю. Вот один такой случай много лет назад. Я тогда был несколько круглее в лице и носил на нём небольшую обрамляющую бородку. Одним июльским днём мы вышли из галереи Уффици, что в итальянской Флоренции, и направились к краю запруженной народом площади Синьории. Было довольно

душно, и я держал в руке белый носовой платок, которым изредка утирал со лба пот. Мы стояли с друзьями и разговаривали, когда недалеко от нас остановился огромный автобус, из которого выплеснулась на площадь довольно большая группа американских туристов. Они озирались на флорентийскую красоту, а потом, увидев меня, вдруг радостно заулыбались, бросились ко мне, а некоторые стали хлопать в ладоши и меня фотографировать. Самые восторженные из них пожимали мне руки и говорили: «Спасибо, спасибо вам огромное!»

Я от этого внимания и восторга несколько оторопел и ошарашенно бормотал:

– Пожалуйста, пожалуйста, очень рад. Но за что же вы меня так благодарите?

– Ну как же, как же – затараторили туристы в один голос, – вы так изумительно вчера пели, мистер Паваротти! Пожалуйста, подпишите нам программки!

Тут до меня дошло, что моя круглая физиономия, борода, родинка на щеке и белый платок в руке сделали меня похожим на знаменитого певца, хоть я не толстый и не во фраке. Ну почему же не доставить людям немножко радости? Я им росчерком подписал программки именем Паваротти, и они уехали совершенно счастливые. Хорошо ещё, что не попросили меня спеть.

Но вернёмся к истории с кепкой. На следующий год после поездки в Вашингтон мы с женой путешествовали на машине по Национальному Парку Скалистых Гор в Колорадо. Я был в своей фуражке с надписью про членство в президентском лётном экипаже. Сначала мы ехали по извилистой горной дороге и через некоторое время выкатились на равнину, плоскую как блин, от гор до горизонта. Автострада была пустынна, мимо мелькали унылые кустики да валуны и на этом участке пути смотреть было совершенно не на что. Чтобы его быстрее проскочить, я нажал на газ, и мы помчались со скоростью 90 миль в час. Где-то минут через десять, я заметил в зеркале, что за мной несётся полицейская машина с мигалками. Откуда она только взялась!? Пряталась, видать, за каким-то большим валуном. Вот попал! Но делать нечего, я снизил скорость, прижался к обочине и остановился. Загрустил – сейчас влепят штраф, да ещё страховка дико подскочит. Да... неприятность...

Вот сижу я в машине и уж права достал. А круизер остановился за мной вплотную. Вижу в зеркале, как из него лениво вылазит коп женского пола и, глянув на номер моей машины, медленной походкой направляется ко мне. Вот подошла, я окошко открыл, она на меня глянула, увидела мою фуражку и замерла. А надо сказать, что в моём возрасте и с такой благородной внешностью я спокойно могу потянуть на полковника, а если внимательно всмотреться, то пожалуй, и на генерала. Вот она в меня внимательно всмотрелась, встала по стойке смирно, козырнула и чеканно по военному сказала: «Сэр!» Я тоже человек воспитанный, знаю, как себя вести с дамами в форме, поэтому я тоже козырнул и чётко отвечаю: «Мэм!». Тут эта полицейская мэм мне рапортует:

– Прошу прощения, сэр, за то, что вас остановила, но вы сильно превысили скорость.

– Да, – отвечаю, – вы правы, мэм, я действительно торопился.

– Сэр, – продолжает она извиняющим голосом, – сделайте мне одолжение,

пожалуйста, езжайте медленнее. Ещё раз извините за остановку. Всего доброго.

Опять козырнула, сделала «кругом» и ушла к своему круизеру.

Ну скажите мне – не зря потратил я пять долларов на эту фуражку?

День Третий, рассказчик Я.Г.

Вчерашняя история в стиле Остапа Бендера, который надевал милицмейскую фуражку с гербом города Киева, напомнила мне кое-что из моей молодости. В давние советские времена, как вы все хорошо помните, контактов с границей было мало, а потому одним из самых любимых розыгрышей в нашей студенческой компании было «косить под иностранца», то есть строить из себя нечто импортное. Валяли мы дурака иногда для дела, но чаще просто так, по врождённому авантюризму. Хотели позабавиться и в собственных глазах выглядеть эдакими Остапами Бендерами. Вот вам пара бак из того далёкого прошлого.

Был у меня друг Женя Волокитин, которого я эпатажно на французский манер звал «Жан», а он меня – «Жак», что, как нам

казалось, соответствовало русским вариантам наших имён. Пишу про него «был» потому, что его давно уж нет. При жизни это был талантливый художник-дизайнер, заядлый турист, да и немножко авантюрист. Думаю, что эти слова «турист» и «авантюрист» где-то в их глубине сильно связаны.

Однажды мы с Жаном отдыхали летом в Крыму, в Коктебеле. Разумеется «дикарями», то есть сами по себе. В один день, вдоволь нанярявшись среди поросших водорослями валунов и на ужин настреляв бычков из самодельных подводных ружей, два дружка Жан-Жак отправились погулять по местному рынку. Пешком туда от нашей палатки, что стояла на самом берегу моря, было минут сорок ходу.

Перед тем как пойти на базар, мы надели на себя майки с тремя латинскими буквами «UPI», которые сами же на них и нарисовали. Эти буквы означали «Уральский Политехнический Институт», где я тогда ещё учился, а Жан уже его закончил; он был старше меня на пять лет. Чтобы подурачиться, мы с ним говорили по-английски, который я знал в пределах вузовской программы, а Жан даже весьма прилично. День был жаркий, в небе носились стрижи, трещали кузнечики и солнце пыжилось во всю свою крымскую мощь. С моря нас обдувал влажный бриз, слизывая дорожную пыль с загорелых физиономий, делая тем прогулку приятной и полезной.

Рынок был, хоть и южный, но, в отличие от настоящих восточных базаров, какой-то тихий и по-советски пришибленный. Фрукты-овощи продавались с лотков, а то и просто были разложены на земле – на деревянных ящиках или брезентовых подстилках. Меж ними озабоченно ходили курортники с тяжёлыми авоськами, приценивались к фруктам и что-то покупали. Мы с Жаном с вальяжным видом медленно дефилировали посреди рядов, изредка перекидывались фразами по-английски и через тёмные очки эдак свысока на всё посматривали. Иногда к нам подходили самые любопытные и наблюдательные курортники и спрашивали, кто мы такие и что эти три буквы на майках означают? Мы на корявом русском языке отвечали, что сокращение UPI значит информационное агентство «United Press International». В общем-то это было правдой, и агентство действительно было

известно под такой аббревиатурой – тут мы не врали, хотя, разумеется, никакого отношения к этому агентству ни мы с Жаном, ни наши майки не имели. Но мы и не говорили, что имеем, так что всё было честно, без обмана. Тем не менее, на нас смотрели уважительно и за нами ходил небольшой табунчик зевак – в кои-то веки увидишь живых иностранных корреспондентов на коктебельском базаре!

Мы медленно шли по базару, а впереди нас бежала молва. Когда мы эдакой небрежной походкой изредка подходили к лоткам, на которых лежали сочные персики и груши, торговцы нам приветливо пожимали руки, широко улыбались и угощали лучшими плодами, а денег брать не хотели, хотя мы честно предлагали. При этом они, как по заказу, говорили нам «Карашо», почему-то думая, что если они будут коверкать русское слово, иностранцы поймут лучше. Навесившись до отвала дармовых фруктов, мы отправились назад в свою палатку на берегу Бухты Баракты, где и пожарили на ужин бычков, настрелянных с утра.

Когда лето подошло к концу и в институте должен был начаться учебный год, я улетел обратно домой, а у Жана оставались ещё несколько дней отпуска и он решил съездить в Севастополь, посмотреть, что это за город. Там он снял койку в домике-развалюхе недалеко от центра и пошёл прогуляться по набережной. Как обычно, ему опять захотелось повалить дурака.

На городской набережной он направился к бабке, что сидела у мусорной корзины напротив памятника затопленным кораблям. Она бойко торговала семечками, пересыпая их из мерного гранёного стаканчика в газетные кулёчки. Жан подошёл и спросил её, почём семечки и жареные ли они? Причём спросил по-английски. Бабка оторопело на него посмотрела, а потом, ни слова не говоря, сгрэбла своё имущество в хозяйственную сумку и, подобрав подол, рванула по улице с неестественной скоростью. Вспомнив свою комсомольскую юность и что она обычно делала в моменты сомнений, бабка направилась напрямиком в милицию доносить на подозрительного покупателя.

Вскоре к Жану на набережной подошли два милиционера с бабкой на прицепе за их спинами. Они строго потребовали предъявить документы. Жан сыграл изумление, подал свой паспорт и спросил,

естественно по-русски: «что случилось и в чём дело?» Бабка взвизгнула из-за милицейской спины и закричала:

– Ой мамочки! Он же раньше всё по-иностранному говорил, а тут вдруг чисто по-нашему. Шпиён он! Как есть, шпиён!

Милиционеры бабку приструнили, чтобы народ не баламутила, но паспорт забрали и повели Жана в отделение. Там стали выяснять, кто он и откуда и почему говорил на набережной этого военноморского города на иностранном языке. Он прикинулся эдаким лопухом и сказал, что ничего такого не было, говорил он только по-русски, и, скорее всего, бабка на солнце перегрелась и приняла русский язык за английский. Дежурный по отделению сказал, что разберётся и велел пока запереть Жана в обезьянник. Там его держали два дня, правда вкусно кормили из соседней шашлычной, а потом отдали паспорт и сказали, что если он ещё раз так пошутит, то ему придётся плохо.

В общем, он себе отпуск в Севастополе слегка подпортил. Знал бы, что так получится, мог бы сэкономить на койке – в обезьяннике-то он ночевал бесплатно.

В молодости была у Жана одна неуёмная страсть – он обожал всё индийское. Книжки про Индию читал, занимался йогой, что в тогда в Совке совсем не поощрялось, любимый его фильм был «Бродяга» с Раджем Капуром. Да и сам он был похож на йога. У него в роду были грузины, и он унаследовал от них эдакий восточный облик. Внешне немного напоминал танцовщика Махмуда Эсамбаева, да и сам любил исполнять индийские танцы. Был строен, поджарист, со смуглым лицом, орлиным взглядом и при случае легко мог сойти за индуса, или, как он говорил, за «индюка», вкладывая в это слово только самый положительный, даже нежный смысл. У женщин он пользовался большой популярностью, но подружек себе подбирал соответственно своему вкусу. Все его девушки были похожи на индианок – невысокие, смуглые, волоокие, с длинными прямыми волосами, хоть сари надевай. Он, впрочем, предпочитал «сари» с девушек снимать. Тем не менее, никогда ни одного настоящего «индюка» и ни одной подлинной «индюшки» он живьём не встречал. Только видел в кино или в журналах.

Однажды было объявлено, что в наш город приезжает индийская правительственная делегация во главе с премьер-министром

Джавахарлалом Неру и его дочкой Индирой Ганди. Жан страшно возбудился и сказал, что никак не может упустить случай пообщаться с настоящими индюками. Когда я усомнился, что ему удастся к ним близко подойти, он мне сказал, что у него есть идея и он к делегации обязательно пробьётся. Уж очень ему хотелось посмотреть вблизи на Индиру Ганди, которая была в его вкусе.

– Ты что, она ведь в два раза тебя старше, – сказал я, – ей уже под пятьдесят. Зачем она тебе, такая старуха?

– Эх, молодость, молодость, – вздохнул Жан, – поживи с моё и поймёшь, что старая, значит опытная.

Короче говоря, выкинул он вот какую штуку.

Индийская делегация прибыла в город и проехала по улицам на «чайках» и прочих чёрных «волгах». Хотя накапывал осенний дождик, вдоль улиц плотно стояли люди и гэбешники и радостно махали индийскими и красными флажками. Уже под вечер гостей привезли в оперный театр, где должны были проходить сначала приём, а потом торжественное собрание с городской знатью и в заключение – концерт в честь индийского гостя. Прямо, как в опере «Садко», что шла в том театре накануне.

Перед самым началом торжеств у театра появилась странная мужская фигура, завёрнутая от шеи до лодыжек, как египетская мумия, в белую простыню. Это был Жан. На ногах, несмотря на холодную осень, у него были сандалии, а на голове намотана чалма, сделанная из махрового полотенца. На его лбу меж глаз была губной помадой нарисована красная точка. У театра, притопывая на осеннем уральском ветру, стояла охрана в штатском. Когда стражники увидели это чучело, шаркающей походкой плывущее ко входу, то решили, что один из индюков отбился от стада. Поскольку, как и Жан, они отродясь не видели настоящих индусов, то совершенно не усомнились в подлинности субъекта и Жана беспрепятственно пропустили внутрь – не спрашивать же документы у важного индийского гостя!

В театре тоже всё сошло: местные начальники и охрана не поняли, что это самозванец, не слишком были они сильны в тонкостях индийского гардероба, тем более, что на лицо он был самый что ни на есть индус. И точка. Я имею в виду – на лбу точка. Кто их, индусов знает, может у них там принято ходить в театр с полотенцем на

голове? А настоящие индусы из делегации, увидев такое странное зрелище, вероятно решили, что это часть представления на восточную тему, которым хозяева собираются тешить гостей, и дальше, вероятно, будет ещё смешнее.

Жан прошёл в фойе, где гости и хозяева стояли, пили шампанское, заедали икрой и беседовали. Там он сразу отыскал глазами Индиру Ганди и напрямик к ней направился. Заметив этого странного субъекта, она сама пошла к нему навстречу с вопросительным взглядом в волооких глазах. Жан, надо отдать должное его деликатности, склеил ладони лодочкой под подбородком, как заправский индус, поклонился и сказал по-английски:

– Вы меня, мисс Ганди, извините, я мечтал с вами познакомиться и потому так оделся, чтобы подойти. Мне очень приятно с вами поговорить. Это для меня такая честь.

Индира, тоже дама деликатная, но от смеха не могла удержаться – ткнула пальцем в его красную точку на лбу и говорит, что такой знак Бинди носят только индийские женщины, а он вроде как мужчина и у него на лбу это выглядит как шутка, причём несмешная. Хотя сама при этом хихикала. Жан страшно смутился, и стал ладонью эту точку Бинди стирать. Помада сразу размазалась по лбу алыми полосами, и добрая Индира достала из сумочки свой платок и лоб ему вытерла. Потом взяла его под руку, причём у Жана от удовольствия чуть язык не вывалился, отвела в сторону и стала расспрашивать, что это у него за тяга такая к индийскому народу? Жан стал было ей объяснять, но тут подошёл какой-то сикх в настоящей чалме, видимо охранник, и что-то ей шепнул. Тогда она Жану сказала, что ей надо прямо сейчас идти на сцену, там всё начинается, и попросила, чтобы когда он будет в Дели, обязательно позвонил в её канцелярию и сказал секретарю, что она ждёт его звонка. Жан, разумеется, пообещал, что как только – так сразу.

Выйти из театра оказалось ещё проще, чем войти. Он спокойно прошёл мимо охраны у входа, постоянно складывая ладони лодочкой и кланяясь налево и направо, а потом вышел на улицу. Забежал за угол, размотал с себя простыню и полотенце, скрутил всё в узел, сел на трамвай и поехал домой.

А в Индию он так и не попал. Когда советская власть кончилась и уже можно было туда съездить, у него к индийской культуре

интерес как-то утих – женился (кстати, жена его чем-то смахивала на индианку), дети подрастали. Стало не до Индии.

Кроме того, Индиры Ганди уже не было в живых. Её к тому времени убили собственные охранники сикхи.

День Четвёртый, рассказчик А.Б.

Было нас четверо задиристых и относительно молодых научных сотрудников – Липа, Эдик, Вадик и я. В далёком 74-м году приехали мы на конференцию, что проходила в Академгородке, километрах в 25 от Новосибирска. Прежде, чем туда отправиться, сначала надо бы сам Новосибирск посмотреть, решили мы. Хотели выяснить, что в городе есть интересного и как тут можно развлечься вырвавшимся на волю учёным? Когда мы приехали в город из аэропорта, спросили в гостинице на регистрации и хмурый тип за стойкой сказал, что можно посмотреть старую часовню, в ресторан сходить, да в оперный театр, который у них в Новосибирске считается чуть ли не чудом света. А больше в городе ничего интересного и нет. Тогда мы решили – сначала в ресторан и вечером – в театр. А часовня пусть себе стоит без нас, как и стояла сто лет до того.

В те далёкие времена поход в ресторан для молодых научных работников, при наших-то зарплатах, был событием не частым. Да и ресторанов в Совке было ничтожно мало. Столовые ведь не в счёт. Ресторан, куда мы направились, был прямо в нашей гостинице на самом верхнем этаже, с которого открывался чудный вид на Обь и всё, что вокруг реки. Сели мы в центре зала за столик, покрытый белой скатертью, подошёл официант, подал меню и спросил, что будем заказывать? Увидев, что там есть бифштекс, мы, как один, сказали «хотим бифштекс»! А Вадик, будучи от природы снобом и притом начитанным романами из журнала «Иностранная Литература», сказал, что хочет бифштекс с кровью. По-английски мы бы сказали rare, то есть полусырой. Если ещё помните, в СССР цельный кусок хорошей говядины, каким и должен быть настоящий бифштекс, являлся невероятным дефицитом и получить его в ресторане обычному клиенту было немыслимо. Советский бифштекс был традиционно рубленый, то есть просто котлета из фарша, часто ещё с яичницей сверху. Официант на просьбу Вадика никак не среагировал, записал

про бифштекс с кровью в блокнотик, потом поинтересовался, хотим ли закуску, что будем пить, и затем ушёл.

Когда с закуской было покончено, нам принесли «бифштексы». Принесли всем, кроме Вадика. Какой там был у них вкус, у этих котлет, я уж не помню, да это теперь и неважно. Мы их съели, а Вадик всё ждёт, ждёт. Время шло, мы сидели и перебирали варианты, почему не кормят Вадика, и чтобы не скучать, обсуждали наши доклады, что собирались делать на следующий день на конференции.

Вскоре мы заметили, что из кухни к нашему столу направляется маленькая делегация в составе повара в белом колпаке, нашего официанта в передничке и человека в штатском, как оказалось, директора ресторана. В руках у повара была миска с мясным фаршем. Директор нас подозрительно оглядел и спрашивает: «Кто сырой фарш заказывал?» Видать, в его ресторанной практике он про настоящий бифштекс с кровью отродясь не слышал. Ну что с него, с провинциала, взять? Надо было как-то вежливо отреагировать на эту дремучую кулинарную неграмотность, да так, чтобы раньше времени его не обидеть. Тогда я встал из за стола, принял директора под локоток, отвёл в сторонку и тихонько ему говорю, показывая глазами на Вадика:

– Вот у этого товарища редкое генетическое заболевание. Называется по латыни сангвинум ламиа, что по-русски значит вампиризм. Я врач и его постоянно наблюдаю. Если он не попьёт хоть немножко чьей-то крови, можно и коровьей, кричит, очень возбуждается, буйнит, может даже на людей напасть. Поэтому вы ему дайте всего одну ложку сырого фарша с кровью, а потом принесите обычный бифштекс, только слабо прожаренный, он успокоится и всё будет хорошо.

– А это не заразное? – спрашивает директорпобледнев.

– Нет, – говорю, – совершенно не заразное. Передаётся только половым путём, так что лично вам волноваться нет причин.

Директор опасно на Вадика глянул, взял со стола ложку, зачерпнул из миски фарш пожиже с кровью, аккуратненько положил ему на тарелку и вся делегация тихонько, чтобы не возбудить больного, ретировалась на кухню. Когда они ушли, Вадик на меня натопорчился:

– Ты что им сказал? Вот эта ложка фарша – что, весь мой обед?

– Не нервничай. Я им сказал, что ты гурман и любишь необычную еду, и они дали тебе для дегустации местный деликатес – сырой фарш. Называется «бифштекс по-монгольски», тут ведь Сибирь и Монголия рядом. А сейчас тебе принесут нормальный бифштекс, голодным не будешь.

Минут через пять официант действительно принёс ему мало-прожаренную котлету с яйцом. Так что всё прошло без осложнений. Мы наелись, расплатились и пошли гулять по городу. По дороге зашли в кассу театра и купили там билеты на балет «Спящая Красавица», что шёл тем вечером.

Вы можете спросить, а что за странное имя «Липа» было у одного из героев моего повествования? На самом деле звали его Либкнехт Асклеиадович, но выговорить без разбега это имя и отчество вряд ли кто мог. Поэтому для всех он был просто Липа. Работал Липа биологом в университете и происходил из семьи потомственных врачей. Дед его был сельским доктором, сведущим не только в медицине, но и в истории древнего мира. Поэтому, когда у него родился сын, он его назвал именем греческого бога врачей Асклепия или в русском простонародье — Эскулапа. Видать, имя сработало, так как мальчик, то есть будущий Липин папа, тоже стал сельским врачом, то есть эскулапом. А тут грянуло то, что потом стали называть русской «революцией». Многие по наивности поверили, что счастье всего человечества совсем рядом и надо только не трепыхаться и в ногу идти за вождями, которые точно знают дорогу к этому счастью. В газетах писали, что в просвещённой Германии был вождь Карл Либкнехт, которого убили враги за то, что он знал, куда надо идти. Чтобы навсегда прославить это имя, сельский врач Асклепий назвал своего новорожденного сына Либкнехтом. Так появился Либкнехт Асклеиадович, которого мы звали Липа.

Чтобы закончить эту экскурсию в антропонимику, то есть в науку об именах, скажу кратко о других, таких же чудных творениях идейных родителей. В институте, где я учился, был директор клуба по имени Ленорт Иванович, что в переводе с русского на русский значило «Ленинец Ортодоксальный», а уж про такие имена, как Октябрина, Владлен (Владимир Ленин) или Стален (Сталин-Ленин) и говорить нечего. Я даже знал одного типа по имени Сталькан, что значило «Стальной Канат». Но вернёмся к нашей истории.

Надо сказать, что из всей нашей компании в той поездке самым неотёсанным был Эдик. Эдакий простецкий рубаха-парень. Его любимым развлечением было спорить. Спорил он всегда и по любому поводу. Выигрыш сам по себе большого значения не имел, а важен был процесс спора и ожидание результата. Это щекотало ему нервы и красило жизнь. Незадолго до командировки в Новосибирск он с кем-то в лаборатории поспорил, что сможет запихать себе в рот плащ «Болонья» и затем выговорить слово «мама». К чести его будь сказано, он полностью запихал плащ в рот и даже рот закрыл, но вот сказать «мама» у него не получалось, как он ни старался. Эдик страшно расстроился, разве что слёзы не потекли, но тут спорщики вспомнили, что забыли с плаща спороть пуговицы, а уговора не было, чтобы пуговицы тоже в рот запихивать. Поэтому ему засчитали выигрыш без «мамы», и этим подвигом он потом ужасно гордился.

В инженерных и научных делах Эдик был талантливым самоучкой, но его культурный уровень был ниже плинтуса. Он происходил из удмуртских крестьян, как Ленин. Впрочем, тот, вроде, был из чувашских, но это сути не меняет. Важно, что в смысле эстетики они оба стояли на одной ступеньке дремучести. До того дня Эдик ни в одном театре никогда не был и уж совсем понятия не имел, что такое балет. Потому перед вечерним культпоходом в театр он волновался, и пока мы гуляли по городу, запасся поллитровкой, из которой для храбрости непрерывно согревался. Когда, где-то минут за сорок до начала, мы подошли к театру, Эдик был уже совсем хорош, но вёл себя пристойно – всё же был в приличном обществе. По крайней мере, так мы про себя думали.

Театр действительно был грандиозный, с колоннадой, как у греческого Парфенона, и куполом, как у римского Пантеона. Если учесть, что строили его с имперским размахом задолго до оперных театров в Сиднее или Нью-Йорке, то впечатляло сильно, тем более, что стояло это чудо света во глубине сибирских руд. Поскольку мы пришли рановато, отправились сначала в театральный музей, где содержались всякие экспонаты из истории этого театра. Кто и что там пел или танцевал или какие костюмы к каким спектаклям шили, меня не особенно интересовало. Но вот когда и как построили это огромное сооружение, мне хотелось узнать.

По стенам висели многочисленные фотографии, изображавшие

разные стадии строительства – от рытья фундамента до прорисовки на потолке фальшивых барельефов. Было жутковато смотреть на исхудалых и оборванных строителей, которые возводили это здание, затмевающее размерами римский Колизей. Строить его начали где-то в начале тридцатых годов. В 37-м на всякий случай расстреляли всех ведущих строителей, так что стройка слегка задержалась. Зэки в телогрейках резали статуи, имитированные под итальянский мрамор, и прорисовывали фрески в стиле императора Адриана. Народ жил в жуткой тесноте, ютился в бараках и землянках, а коммунисты строили Колизей в Сибири. Других забот у советской империи в то время, вероятно, не было. Сколько квартир для тех же строителей можно было построить на эти деньги, сколько здоровья и жизней спасти! Но ни тогда, ни после никого в России это не интересовало. Так было всегда – от Ивана Грозного до наших дней. Непонятно только, почему в Новосибирске до сих пор этим гордятся?

После музея мы поднялись в зал, несколько подавленные и угрюмые, и лишь Эдик улыбался и озирался вокруг, широко раскрыв от изумления свои раскосые глаза. В музее он мало что понял, история его не задевала, но в фойе и зрительном зале он был совершенно покорён помпезной роскошью. Мы прошли в зал; места наши оказались хорошие, в самом центре.

Когда началась увертюра и занавес поднялся, Эдик уставился на сцену и смотрел не мигая. Ничего подобного он в своей жизни ещё не видел – ни оркестра, ни занавеса, ни декораций, ни актёров. Это было для него, как полёт на другую планету. Сначала он был очарован и улыбался, но потом озадачен и хмурился. Когда вышли танцовщики в обтянутых трико с рельефными выпуклостями мужской анатомии, Эдик закусил губу и стал тихо постанывать. Я думаю, чисто из мужской солидарности он волновался, что при контактах с очаровательными девочками из кордебалета, с этими выпуклостями может произойти конфуз, трико не выдержит гормонального напора, разлетится в клочья и спектакль будет сорван. К счастью, ничего такого с трико не случилось и он немного успокоился. Откуда Эдику было знать про тонкости балетной сексуальной ориентации? Зато, когда появились балерины в красочных костюмах фей и со стройными ножками на пуантах, он оживился, забыл про мужиков в трико и даже чуть привстал с кресла, чтобы не пропустить ни од-

ного мига этого чудного зрелища. Артистки кордебалета явно были в его вкусе. Подогретое алкоголем эмоциональное давление его стало быстро расти и уж скоро еле-еле сдерживалось тонкой оболочкой приличия. Рано или поздно это давление должно было прорваться наружу. И оно таки прорвалось в третьем действии спектакля.

Начался один из самых популярных номеров «Спящей Красавицы» – дуэт Кота в Сапогах и Белой Кошечки. Сначала на сцену выскочил какой-то тип с сердитым лицом, в широкополой шляпе и сапогах с отворотами, явно намекая на то, что он и есть Кот в Сапогах. Он прыгал, махал руками, топал ногами и вообще вёл себя вызывающе. Тип Эдику явно не понравился, поэтому он нахмурился, зло стукнул кулаком себя по колену и даже слегка зарычал, как пёс, увидевший настоящего кота. Но затем выпорхнула грациозная балеринка в белоснежном костюмчике с блёстками и откровенно приоткрытым декольте. С моей точки зрения декольте не было таким уж интересным, но Эдик оказался менее придирчивым. Личико у неё было нежное и розовое, вились белокурые локоны и на щёчках сверкали серебристые усики. На попке у «кошечки» был прицеплен пушистый хвост, и ушки торчали на макушке. Когда Эдик взгляделся в эту красотку, у него вывалился язык, глаза загорелись жёлтым огнём и сдерживаться больше сил не стало. Он вскочил с кресла, вцепился руками в спинку сиденья переднего ряда и что было мочи на весь театр завопил: «Ни @§я себе кошечка!!!».

Что произошло дальше, не дано мне таланта описать. Здесь бы нужен Гоголь или Ильф с Петровым. Скажу только, что театр сначала на секунду замер в оглушающей тишине, дирижёрская палочка застыла в воздухе и «кошечка» оцепенела с поднятой лапкой. А потом зал... взорвался – захохотал, завизжал, заулюлюкал, в восторге затопал ногами. Люди аплодировали, искали глазами героя, который смог так кратко и ясно выразить то, что было на уме по крайней мере у мужской половины зрителей. Хохотали все: оркестранты, солисты, билетёрши, кордебалет, да и сама «кошечка». Про Кота в Сапогах я уж молчу. Казалось, даже римские статуи хихикают, приотпывая босыми пятками из фальшивого мрамора, и вот-вот вывалятся из ниш.

Сколько это продолжалось, я не знаю потому, что мы схватили Эдика под руки и выволокли его вон из зала на улицу. Спектакль до-

смаatrивать нам бы всё равно не дали. Да я и не знаю, были ли силы у самих зрителей смотреть его до конца? На том наш культпоход в замечательный Новосибирский театр и закончился.

День Пятый, рассказчик Г.К.

Несколько лет назад я читал в Калифорнийском Университете лекции о связи искусства и науки. Были лекции о Золотом сечении, о гениях Ренессанса, об изобретениях Леонардо да Винчи и его живописи, а прошлой весной одна такая лекция называлась «Секреты старых скрипок», где я рассказывал о разных гипотезах высокого качества старинных итальянских инструментов.

В университетской аудитории набралось довольно много слушателей, где-то около сотни. Эта тема многих интересовала, даже людей, далёких от музыки. Когда после лекции я выходил из здания, ко мне подошёл высокий поджарый господин лет пятидесяти, с загорелым лицом, в шортах, гавайской рубашке, пляжных шлёпанцах на босу ногу, но с аккуратно зачёсанной назад сединой. На носу были очки в дорогой оправе. Я его заметил раньше, на лекции он сидел в первом ряду и делал пометки в своей записной книжке. Он остановил меня и сказал:

– Спасибо за лекцию, она мне на многое открыла глаза. Не хочу вас задерживать, вижу, вы торопитесь, но быть может, вы сможете уделить мне какое-то время? Мне надо с вами поговорить. Нет, нет, не сейчас – когда вам будет удобно. Я хочу пригласить вас на ланч и посоветоваться по поводу итальянской скрипки, которую я недавно купил.

– Ну что-ж, никаких проблем, – ответил я, – только хочу напомнить, я на лекции про это говорил и опять подчеркну: я не музыкант, не скрипичный мастер, и не эксперт-оценщик. Мои познания о скрипках ограничены технической стороной, и я не смогу дать никакого профессионального совета по вашему инструменту. Эти вопросы не ко мне.

– Я это понимаю. Мне просто хочется, чтобы вы мне подсказали, что следует делать с моей скрипкой? Когда вам удобно встретиться?

Короче говоря, мы с ним назначили randevу через пару дней.

Для подходящей атмосферы разговора выбрали маленький итальянский ресторанчик. Стены там были размалёваны лубочными видами неизвестного мне итальянского прибрежного городка, где волоокие рыбачки стояли у корзин с непропорционально большими рыбинами, осьминогами и прочими морскими гадами. Официант мог говорить по-итальянски, оливковое масло и уксус из Модены были что надо, а потому атмосфера оказалась вполне итальянская, хотя и не имеющая отношения к музыке. Когда в назначенное время я зашёл в ресторан, мой новый знакомый уже ждал меня за столиком в уютном углу. Я его сначала даже не узнал, так как одет он был неожиданно по-деловому: синяя в полоску рубашка, жёлтый галстук, серый костюм, из нагрудного кармана пиджака торчал платочек под цвет галстука. Сразу видно серьёзного бизнесмена. На полу около его кресла лежал старомодный скрипичный футляр довольно побитого вида. Он встал, пожал мне руку и представился:

– Давайте познакомимся поближе. Меня зовут Джерри Н.

Тут подошёл официант, и Джерри заказал графинчик домашнего кьянти, которое оказалось совсем неплохим. Сначала мы поговорили о всякой ерунде: погоде, меню и что стоит тут заказывать. Когда принесли вино, мы чокнулись и он рассказал мне следующее:

– По профессии я финансовый маклер, проработал двенадцать лет в Нью-Йорке на Уолл-Стрите. Руководил инвестициями высокого риска, то есть хедж-фондами, и за последнюю пару лет сделал на этом приличные деньги. Вы, уверен, знаете, как эфемерно всё в нашем бизнесе – что легко пришло, то легко уйдёт. Но своими деньгами я решил не рисковать. Поэтому получив за прошлый год жирный бонус, вышел в отставку, уволился и в прошлом месяце переехал сюда в Калифорнию. Начинаю новую жизнь. Снял пока на год кондо недалеко от океана и теперь хочу пожить в своё удовольствие, благо с деньгами у меня всё в порядке. Однако возраст ещё не располагает к полному безделью. Не сидеть же целый день на пляже! Чтобы не скучать, хотел было заняться спекуляцией недвижимостью, но, к счастью, быстро передумал. Этот рынок сейчас чахлый, а конкуренция огромная – не оберёшься головной боли. Мне это надо? Впрочем, зачем я вам это рассказываю? Давайте-ка лучше перейду к моему делу. Вот послушайте.

За три дня до моего отъезда из Нью-Йорка мне позвонил один

мой бывший клиент, которого я не видел более года, и напрямую спросил, не могу ли я одолжить ему пятьдесят тысяч долларов? Сказал, что вся его наличность вложена в разные ценные бумаги, но никакой банк ему денег в долг не даст под то, что он задумал. Родом он из Гонконга, в Нью-Йорке бывает наездами и кроме меня не знает никого, кто может иметь свободную наличность. Меня такая просьба весьма удивила. В Америке деньги в долг берут либо в банке, либо у близких родственников. А тут он просит у совершенно чужого человека. Хотя, быть может, так принято у них в Гонконге? Не знаю... Я обычно денег в долг не даю – я ведь не банк, а тем более столь большие суммы, но все же поинтересовался, что у него на уме? Он не хотел это рассказывать по телефону, приехал ко мне на квартиру и поведал про неожиданно подвернувшуюся возможность быстро заработать большие деньги. Сказал, что вложив пятьдесят тысяч, за какие-то пару месяцев можно их превратить чуть ли не в полмиллиона. Я, знаете ли, много лет занимался вложениями во всякие рискованные бизнесы и потому мне стало интересно, что это он там задумал? Я слышал много волшебных сказок про пятьсот или даже тысячу процентов быстрой прибыли, но лично сам ничего подобного ещё не встречал. То есть, слышать – слышал, но руками не щупал. Обычно такие штуки оказываются жульничеством, на которое попадают лишь самые наивные простаки. Но чем чёрт не шутит? Я всё же тёртый калач, меня так просто на мякине не проведёшь – обман носом чую. Мне стало интересно, и я попросил его объяснить в чём тут дело.

Потом мистер Ли (так звали моего гостя из Гонконга) рассказывает такую историю: в Манхэттене в районе Челси живёт старикашка-итальянец, родни у него нет, живёт один. Снимает квартиру в высотке, два раза в неделю к нему приходит пуэрториканка, убирает, стирает, покупает продукты. Одинокому в Нью-Йорке трудно, и он надумал переехать во Флориду. Поэтому ему срочно нужны деньги. Пенсии на жизнь во Флориде ему хватит, но вот для покупки там приличного жилья в доме престарелых сбережений у него недостаточно. Чтобы набрать нужную сумму, он уже распродал всякие семейные ценности – ну там старинные часы, драгоценности от покойной супруги и прочее. Единственное ценное, что у него пока осталось – старая итальянская скрипка, которая досталась ему от его

отца, а папаша получил эту скрипку от своего отца, то есть дедушки этого старикашки, профессионального скрипача, когда тот в начале прошлого века иммигрировал в США из Италии. Старикашка сам не музыкант, скрипка у него пылилась в кладовке много лет без дела, и он уверяет, что это очень ценный инструмент. Скрипке около 300 лет и он хочет её продать за 100 тысяч долларов. Старик предложил мистеру Ли купить у него эту скрипку как вложение капитала. Итальянские скрипки в Китае ценятся очень высоко, особенно старые. Сказал, что на ней можно хорошо заработать. Этот Ли сам в скрипках немножко смыслит – в детстве учился играть. Как увидел он эту скрипку, сразу понял, что она действительно очень старая и потому наверняка ценная. Виду не подал, что его это очень заинтересовало, и сказал старику, что хочет посоветоваться с экспертом и узнать, какая ей настоящая цена. Тот ответил – без проблем, и они назначили встречу с известным в Нью-Йорке оценщиком струнных инструментов. Однако старик сам пойти не мог, он вообще из дома почти не выходит, но дал мистеру Ли скрипку под расписку, и он повёз её к господину Морелю, так звали этого эксперта.

Морель внимательно скрипку рассмотрел, проверил каталоги и сказал, что это редкая скрипка 1727 года от мастера из Венеции по имени Санто Серафим. Это конечно не Страдивари, который стоит миллионы, но тоже дорогой инструмент. Для сравнения – более поздняя скрипка Серафима была продана два года назад на аукционе Сотби за 400 тысяч долларов. Так что есть большая вероятность, что и эта будет стоить что-то в этом районе и может даже больше, ибо цены на такие редкие вещи постоянно растут. Её надо лишь почистить и привести в порядок.

Услышав это, мистер Ли пришёл в большое возбуждение, вернулся к старику и сообщил ему, что был у оценщика и тот сказал, что скрипка действительно старая, но в плохом состоянии, требует ремонта и цена ей сегодня не более 75 тысяч, а потому, чтобы на ней что-то заработать, Ли готов её купить за 50 тысяч.

– Погодите, Джерри, – прервал я, – так ведь этот ваш знакомый из Гонконга просто жулик. Он решил бедного старичка надуть самым бессовестным образом, предложив ему чуть ли не в десять раз меньше. А кроме того, мне несколько подозрительно, что ему сделали оценку за бесплатно. За официальный сертификат эксперты мо-

гут легко запросить плату до 10% от стоимости, а потому они часто завышают оценку, чтобы их плата была выше. Этот ваш знакомый, он что, заплатил оценщику такие большие деньги?

– Вот и я спросил мистера Ли, сколько он заплатил? Он ответил, что за официальную оценку с сертификатом было бы очень дорого, но за устную Морель с него взял фиксированную плату в 500 долларов, вне зависимости от оценки. Так что, похоже цена в 400 тысяч или около того – реальная. Серьёзные деньги, что и говорить. Я потом сам пошёл на интернет проверить и нашел там, что скрипок Серафима сохранилось мало и они действительно очень дорогие, да и репутация у этого Мореля весьма высокая.

И потом, почему вы говорите – жулик? Вы ведь не финансист, инвестициями не занимаетесь, зачем же так сразу припечатывать? Извините за нравоучение, но вам надо бы знать, что в финансовом мире надёжно работает лишь единственный механизм – дёшево купить и дорого продать. С этого мы и живём. Так весь Уолл-Стрит работает, так и я свои деньги сделал. Никакого жульничества в этом нет, просто нормальный бизнес. И вообще, где гарантия, что эта скрипка будет продана в десять раз дороже? Может только в два или три. Есть риск и немалый.

– Короче говоря, – продолжил Джерри, – я понял, что такой редкий случай пропустить глупо и решил в этом деле принять участие. Мы с мистером Ли поехали к старику в Челси.

Квартирка у него была в хорошем высотном доме, обставлена скромно современной мебелью. Меня несколько удивило, что на столе стоял компьютер, хоть и старомодный. Старичок, видать, был не лопух. На вид ему было сильно за восемьдесят, слабого здоровья, передвигался он по квартире с ходунком на колёсиках. Ли представил меня как своего партнёра и сказал, что я могу тоже принять участие в сделке. Я эту скрипку повертел в руках, сделал вид, будто с пониманием, хотя в этих делах абсолютно ничего не смыслю. Даже на концерты не хожу. Решил для порядка поторговаться – сказал, что мы можем предложить 35 тысяч. Но старик сразу упёрся, даже обиделся, и заявил, что меньше, чем за пятьдесят не отдаст и не хочет слышать никаких других предложений. «Или берите, говорит, или уходите. Это последняя цена». Я сказал, что нам надо подумать.

– Мы вышли из дома, – продолжает свой рассказ Джерри, – усе-

лись за столик в соседней кафешке, и я этому мистеру Ли из Гонконга сказал, что денег ему одалживать не буду, это не в моих правилах, но предлагаю другой план. Я готов сам заплатить все пятьдесят тысяч, а потом мы продадим скрипку и после продажи я ему выплачу 20% комиссионных от прибыли. Ли сначала заартачился, запросил 50%, но я ему прямо сказал, что это его единственный шанс и другого такого инвестора, как я, ему не найти. Скрипка ценная и у старика она долго не залежится. В Нью-Йорке на такой товар найти покупателя нетрудно. Наконец, он согласился. Мы пошли в мой банк, там я взял банковский чек на предъявителя, а кроме того, мы быстренько составили на одной страничке договор между нами. Там же в банке договор отпечатали в двух экземплярах, нотариально заверили и вернулись к старику. Я отдал ему чек на пятьдесят тысяч, забрал скрипку и уже на следующее утро улетел сюда в Калифорнию. Вскоре один местный приятель рассказал мне про вашу лекцию о старых скрипках, я пришёл послушать, и так мы с вами познакомились. Вот и всё.

– Ну хорошо, – сказал я, – а что вы, Джерри, от меня ждёте? Чем я могу быть полезным?

– Вот она, эта самая скрипка (он поднял с пола футляр, положил его себе на колени, отщёлкнул запоры и открыл). Я теперь живу здесь в Калифорнии и, по правде говоря, не представляю, с кем тут мне о ней говорить, что делать дальше? Как и кому её продать? Не идти же сразу в Сотби – должны ведь быть какие-то более простые пути для продажи старых скрипок. Может есть какие-то дилеры, которых вы знаете? Я ведь в этих музыкальных делах полный профан и ещё месяц назад скрипку от гитары не отличал. Вы хоть и не скрипичный эксперт, но судя по вашей лекции, в скрипках всё же разбираетесь. Можете мне посоветовать, куда мне с ней обратиться?

Я молча протянул руку. Джерри вынул скрипку из футляра и подал мне. Я стал её внимательно рассматривать. Это действительно был очень старый инструмент, на котором явно много лет никто не играл. Одной струны не хватало, мостик был с отколотым уголком, в нескольких местах лак был стёрт до дерева. Но это всё мелочи. По виду она была похожа на тирольку, то есть скрипку с сильно выпуклыми верхней и нижней деками, или стенками. Такие тирольки раньше делали в Австрии и Богемии. Это меня несколько

озадачило – почему такая форма у скрипки, сделанной в Венеции? Колки были инкрустированы золотом, очень красивый узор дерева на задней деке. Снаружи были засохшие пятна грязной канифоли, а внутри – клочья пыли. Я достал из кармана свой смартфон и включил в нём свет. Посветил внутрь через эфу, то есть прорезь в верхней деке. Был виден покрытый пылью и пожелтевший от времени ярлык с надписью по латыни «Санто Серафим сделал в Венеции в 1727 году». Верхняя дека, хотя грязная и потёртая, была в идеальном состоянии – ни царапин, ни трещин. Но вот когда я стал разглядывать нижнюю деку, то есть заднюю стенку, увидел то, что мне сразу не понравилось. В её средней части была небольшая трещина. Вообще-то трещины в скрипках, особенно в старых, явление довольно частое. Обычно их можно починить, хотя это и несколько снижает цену, но на качество звука влияет мало, разумеется, если чинил хороший мастер. Но вот эта трещина была в неудачном месте – около деревянного штыря «душка», который изнутри акустически соединяет верхнюю и нижнюю деки. Мне показалось, что трещина проходит прямо под душкой, то есть в месте малоприспособленном для ремонта – плохой признак.

– Послушайте, Джерри, – сказал я, – похоже, скрипка действительно очень старая и, судя по ярлыку, сделана знаменитым мастером. Хотя, если помните, я говорил на лекции, что ярлыки часто подделывают. Я в ней вижу пока две проблемы: во-первых, по форме она не очень похожа на традиционную итальянскую скрипку, а во-вторых, меня беспокоит вот эта трещина. Может ерунда, а может и нет. Мой совет – прежде чем продавать, покажите скрипку хорошему скрипичному мастеру и спросите его мнение. Я вам дам пару адресов, поезжайте хотя бы по одному из них и поговорите.

После этой встречи я о Джерри не слышал около месяца, а потом он сам позвонил и опять пригласил меня на ланч в тот же итальянский ресторанчик. В этот раз он снова, как и на лекции, появился в пляжном облачении, лицо его изображало весёлость и довольство жизнью. Неужели продал скрипку? Мы заказали вино и салаты, и он сказал:

– Мне тут у вас в Калифорнии положительно нравится. Надоела Нью-Йоркская духота, толпы и вечная спешка. А здесь солнце, сухой воздух, приветливые девочки на пляжах и всеобщее благополу-

шие. Впрочем, я позвал вас не делиться своими эмоциями по поводу местной жизни. Сами знаете. Вам, думаю, интересно узнать, чем же закончилась моя эпопея со скрипкой. Весело закончилась. Вот послушайте.

Вскоре после нашей последней встречи я поехал в Лос-Анджелес, как вы советовали, показать скрипку знающему мастеру. Это оказалась солидная фирма. Я был впечатлён их бизнесом – делают новые инструменты, продают старые, чинят, оценивают, – вообще полный спектр услуг для профессиональных музыкантов. Мне это всё было в новинку и весьма интересно. Меня представили специалисту по починке струнных инструментов. Пожилой господин, очень приветливый и, видать, опытный. И представьте, даже денег с меня не взяли – сказали, что первая консультация бесплатная, а мне вторая и не нужна.

Он как на скрипку глянул, сказал то же, что и вы – тиролька, хотя действительно очень старая. Потом посветил фонариком в прорезь, взял длинный пинцет, сунул его туда и потянул ярлык. Тот сразу отклеился, и мастер его вытащил наружу. Оглядел со всех сторон и с усмешкой протянул мне: «Смотрите, – говорит, – фальшивка. Сделано лихо, вероятно на фотопшопе». Обратная сторона ярлыка оказалась чистой белой бумагой, а снаружи напечатана фотокопия старого пожелтевшего ярлыка. Ну и трещина эта, что вы в прошлый раз увидели, ремонту совсем не подлежит, и потому на этой скрипке играть нельзя. Короче говоря, он сказал, что вот если бы без трещины, такую скрипку можно продать за три, ну может за пять тысяч, а с этой трещиной она годится только как украшение, чтобы на стенку повесить. Красивая старая деревяшка, не более. Вот на что ушли мои пятьдесят тысяч. Да, меня крепко нагрели...

– Господи, – сказал я, – но кто же вас обдурил? Старик-итальянец?

– Оба, – почему-то радостно ответил Джерри, – я как из Лос-Анджелеса вернулся, тем же вечером позвонил в Гонконг мистеру Ли, но телефон, что он мне оставил, оказался фальшивым, как и ярлык. Исчез мистер Ли. Иди, ищи его в Азии – там таких «Ли» миллионов сто. Я тогда решил полететь в Нью-Йорк к старику-итальянцу и потребовать свои деньги обратно. У меня всё равно там были дела и потому я должен был в Нью-Йорк лететь. Когда я пришёл в

его квартиру в Челси, там была та же мебель, тот же старомодный компьютер на столе, но жили какие-то люди из Миннеаполиса. Они снимали квартиру на неделю и ни о каком старике с ходунком не слыхали. Дали мне телефон хозяина квартиры, и я ему позвонил. Хозяин сказал, что уже несколько лет он сдаёт эту квартиру приезжим туристам. Кому на месяц, кому на неделю, а некоторым вообще на пару дней. Никакому старику-итальянцу он никогда не сдавал и такого не знает. Правда, в те самые дни, когда я был в той квартире с мистером Ли, он её на неделю сдавал какому-то китайцу по имени Чианг. Хозяин не знает мистера Ли, но по моему описанию, он сказал, что похоже Чианг и Ли – тот же самый человек.

Я полагаю, что эту аферу они провернули вдвоём. Ли узнал, что я увольняюсь из фирмы и получаю солидную сумму. Он и его партнёр – не знаю, вправду ли старик, а может ловкий актёр, вероятно купили в какой-та антикварной лавке старинную негодную скрипку, изготовили для неё фальшивый ярлык и разыграли для меня всю эту комедию. И ведь тонко как всё сделали! Не стали лепить ярлык, скажем на Страдивари – уж слишком подозрительно было бы, а выяснили, что был такой итальянский скрипичный мастер Санто Серафим и использовали его имя. Известного оценщика приплели, будто он назвал им высокую цену. Мистер Ли снял на неделю квартиру в Челси под именем Чианга, вероятно показал хозяину фальшивые документы, и поселил там мнимого старичка-итальянца, своего сообщника. Закинули мне наживку, и я её заглотнул как последний лопух.

– Джерри, – удивлённо сказал я, – не похоже, что вы сильно расстроены. Вы же потеряли пятьдесят тысяч!

– Ну вначале, конечно, да – был расстроен. Но потом, когда во всём разобрался и понял, как они это ловко провернули, пришёл в полный восторг – вот это класс! Так пойметь МЕНЯ! Профессионала и ушлого финансиста, который каждое рискованное дело десять раз проверит, прежде чем достанет чековую книжку. И всё же попался как младенец! Ну мастера! Ну артисты! Даже зависть берёт! Вот у кого надо учиться работать! А деньги – что деньги? Я уж вам говорил: легко пришли, легко ушли...

День Шестой, рассказчик Л.М.

Шёл мне 15-й год, учился я в девятом классе, а в свободное время увлекался лицедейством, играл в любительских спектаклях и однажды мне даже дали роль подростка в профессиональном драматическом театре. У меня обнаружили актёрские способности, и директор школы, добрейший Виктор Кузьмич нанял для меня сценического репетитора – Михаила Званцева, профессионального актёра. Званцев учил меня основам сценической игры, управлению своим телом, технике речи и азам метода Станиславского. Как-то за месяц до нового года Виктор Кузьмич позвал меня в свой кабинет и сказал:

– Ты у нас местный актёр – есть для тебя новая роль. Мы в школе готовим новогодний утренник для учеников младших классов, и нам нужен Дед Мороз. Вот тебе общественное поручение – будешь Дедом Морозом. Голос у тебя уже басовитый, рост подходящий. Нарядим тебя в костюм, приклеим усы и бороду, а ты уж сам, давай, придумывай программу как малышей развлекать. Впрочем, тебе поможет в этом одна пианистка, которую мы пригласили для проведения утренника.

К творческим поручениям я относился серьёзно, поэтому в школьной библиотеке нашёл пособие для массовиков-затейников и стал готовить программу. Вскоре меня познакомили с миловидной пианисткой, которая тогда показалась мне старухой, ибо она была почти вдвое меня старше – ей было аж двадцать семь лет! В проведении новогодних «ёлок» она оказалась довольно знающей, и стала меня натаскивать на роль Деда Мороза, проявив недюжинные режиссёрские способности. Звали её Кира; как она объяснила – в честь Кирова, кумира её родителей, которого убили незадолго до того, как она родилась. Я приходил к ней домой репетировать. Жила она с мужем и малолетним сыном в двухкомнатной квартире. В гостиной стояло пианино. Кира играла, а я ходил по комнате, воздев руки к люстре, которая колыхалась и мерцала от моего громогласного пения: «Мои милые детишки, вы меня видали в книжке. Я тот самый Дед Мороз, я вам ёлочку принёс!» Наши репетиции сильно нервировали её мужа. Думаю, он ревновал, зная, что в то время, когда он на работе, а сын в детском саду, его молодая жена проводит время с

басовитым и уже вполне развитым во всех отношениях подростком. Однако, мы с Кирой вели себя скромно и профессионально, о чем сейчас я немного жалею. Но упущенного не вернёшь...

Директор сказал, что в его школе есть ученик, отец которого работает в театре оперы музыкантом. Он обещал в порядке шефской помощи подобрать в костюмерной театра подходящее одеяние для Деда Мороза. В день утренника оперный музыкант приехал в школу со своими детьми и привез для меня длинную серебристую бороду, роскошный шитый золотом становой кафтан Бориса Годунова из одноимённой оперы, сапоги, рукавицы, шапку Мономаха и даже царский посох. Меня обрядили Годуновым; по настоянию Киры для корпулентности под кафтан я надел телогрейку, нарумянил щёки гримом, для имитации изморози обсыпал лицо блёстками, наклеил бороду и усы и превратился в совершенно сказочный персонаж. Кира смотрела на меня, от изумления широко раскрыв глаза, а когда я для пробы рявкнул басом: «Ну-ка шире круг, стар и млад, Дед Мороз видеть всех очень рад!», она захлопала в ладоши и закричала: «Во, даёшь!».

Утренник прошёл очень удачно. Я изображал не просто доброго Дедушку Мороза, а был лихим массовиком-затейником: с неподобающей старику прытью скакал по залу, танцевал вприсядку, пел песни, водил с детьми хороводы, загадывал им загадки и даже показывал фокусы. Когда утренник подошёл к финалу, радостные малыши вцепились в мою годуновскую шубу и ни за что не хотели отпускать. Учителям пришлось призвать на помощь родителей, чтобы отлепить от меня своих ошалевших от счастья отпрысков и позволить мне уйти из зала. После того, как я ретировался в соседнюю комнату и снял кафтан с телогрейкой, меня можно было выжимать: я был совершенно взмокший после такого интенсивного представления. Влетела восторженная Кира и сказала:

– Всё, ты попался! Испытание выдержал! Я работаю в детских садах музыкальным работником, и ты теперь будешь Дедом Морозом на всех моих новогодних утренниках. Это профессиональная работа, и тебе будут платить по десять рублей за каждый утренник.

В те годы десять рублей были серьёзные деньги, особенно для школьника. Однако возникла проблема – где взять костюм и боро-

ду? Оперный музыкант унёс одеяние Бориса Годунова обратно в театр, и надо было что-то искать взамен. Я пришёл домой и рассказал родителям о том, что получил работу Деда Мороза в детских садах и мне нужен костюм. Тогда моя мать и бабушка взялись за дело: из старого синего атласного пододеяльника они сшили шубу на толстой подкладке, на воротник и оторочку купили в комиссионке заячью горжетку, сшили также бархатную шапку, красные сапоги и варежки. Я сам изготовил белый посох, куда встроил батарейки и цветные лампочки, которые загорались, когда я стучал им об пол. В магазине театральных принадлежностей удалось купить нейлоновую завитую бороду и парик, а грим у меня уже был после моих прочих ролей. Так я оказался полностью экипирован.

С этого времени началась моя новогодняя служба Дедом Морозом, которая длилась целых 17 лет до моего отъезда из Советского Союза. Я не пропустил ни одного Нового года: ни будучи школьником, ни позже, когда работал электриком на заводе (приходилось брать отгулы), ни в студенческие времена, ни в годы моей работы в НИИ. Я даже помчался в детский сад на «ёлку» на следующий день после защиты диссертации.

Все эти годы мы работали вместе с Кирой. Обычно на утренник в детский сад я приходил с чемоданом, в котором лежали мой костюм, грим, борода и посох в разобранном виде. Кира меня встречала у входа и сразу проводила в кабинет заведующей, где я переодевался и гримировался. Перед моим выходом к детям она присылала за мной одну из воспитательниц, которая вела меня к залу, и я ждал у дверей звуков выходного марша.

После окончания утренника у дверей кабинета, где я стирал с лица грим и переодевался, ждали работницы детского сада: воспитательницы, нянечки, поварихи, уборщицы – им было ужасно интересно взглянуть на «Деда Мороза» без бороды, в человеческом облики. Когда я выходил со своим чемоданом, они всплёскивали руками и удивлённо ахали: «Господи! Какой молоденький!»

Иногда возникали маленькие загвоздки. Например, однажды после того, как на одной «ёлке» в детском саду я загадал детям несколько загадок, неожиданно вылез вперёд один карапуз и крикнул: «Деушка Майоз, а тепей ты отгадай загадку!». Я посадил его себе на колени, погладил по головке и радостно сказал, что очень люблю

отгадывать загадки. Карапуз спросил: – Отгадай, что такое: «Висит груша, нельзя скушать»?

Вот тут я оторопел, ибо на эту загадку знал лишь хулиганский ответ: «Висит Груша, нельзя скушать» для меня значило, что «Тётя Груша повесилась». Но не скажешь ведь это ребёнку! Я мычал, щипал бороду, искренне не представляя, что ответить, пока дети хором не завопили: «Дедушка, ну какой-же ты недогадливый! Так ведь это лампочка!» Сейчас удивляюсь, как я сам тогда не сообразил?

В другой раз, когда я вошёл в зал, где сверкала огнями ёлка, дети стояли вокруг неё хороводом, а Кира играла выходной марш, увидел под потолком красочный транспарант с новогодним стихом, от которого у меня перехватило дыхание, и замер я в восторге, поразжённый могучей силой поэзии. На полотнище было написано:

*Пусть все на ёлке веселятся
И Дед-Мороза не боятся!
Пусть жизнь светлеет с каждым днём,
Пусть всё вокруг горит огнём!*

Прошло много лет. Я живу в Америке, лицедейством давно не занимаюсь, но до сих пор у меня дома в тёмной глубине шкафа лежит картонная коробка, где хранятся как сувениры молодости: голубой кафтан с заячьей оторочкой, красная шапка и свалывшаяся нейлоновая борода. Под Новый Год я открываю коробку, поглаживаю рукой шелковистый атлас и с грустью вспоминаю милые давние времена. Мне приходит мысль, что у тех детишек, для которых я когда-то «морозил», включая карапуза с загадкой про грушу, уже наверняка есть свои внуки, и веселит их сейчас другой Дед Мороз. Новые поколения, новые дети, а Дед Мороз, в отличие от меня, всё никак не стареет...

День Седьмой, рассказчик А.Р.

Лет эдак сорок назад в Бруклине, что в Нью-Йорке, обитала семейка жуликов по фамилии Антар. Происходили они из старинного рода сирийских евреев. Самый талантливый из них был Эдик, то есть Eddie Antar. Его наиболее прибыльным «делом» оказалось создание

сети магазинов, где продавали бытовую электронику по сильно сниженным ценам. Назывались они «Чокнутый Эдик» («Crazy Eddie»). Работали на эту крышу более 3 тысяч человек и число магазинов быстро выросло до 43. Через несколько лет Эдик всё же попался и за финансовые махинации сел на 11 лет. Но пока его не поймали, в городке недалеко от Нью Йорка, где я тогда жил, однажды местные газеты во весь разворот стали печатать красочные объявления, что и у нас открывается свой магазин «Чокнутый Эдик», прямо напротив моего дома. Не могу сказать, что это вызвало в моей семье большую радость. Для нас это было как-то без разницы, потому что никакие электронные штучки, вроде радио, ТВ, игр, или тому подобные цацки, нам были совсем не нужны. Но в объявлениях говорилось, что каждый, кто зайдёт к ним в магазин, получит в подарок замечательную футболку или майку с физиономией этого самого Эдика. Ну как отказаться от халявы, особенно если это просто через дорогу? Вот мы все вчетвером: жена, двое детишек и я отправились туда в день открытия.

У дверей стоял сам президент Эдик, сорокалетний крепыш с некошерными свиными глазками и круглой, как грампластинка, физиономией. Перед входом, приплясывая на январском морозе, собралась небольшая очередь любителей дармовщины. Каждому входившему хозяин широко улыбался, пожимал руку, интересовался размером туловища и вручал жёлтую майку с картинкой. На картинке была карикатура на этого Эдика и две надписи. Сверху – «Чокнутый Эдик», а внизу – «Цены у него, как у ненормального» («His prices are insane»). Имелось в виду, что только ненормальный будет продавать так дёшево себе в убыток, хотя на самом деле никакой дикой дешевизны там не было. Купить мы ничего не купили, но ушли домой с четырьмя дармовыми майками. Носить их зимой смысла не было, а потому сунули мы майки в комод и забыли.

Где-то в феврале нам надоел мороз, и мы решили поехать в отпуск туда, где нет снега и холодов. Хотелось покупаться, понырять с маской-трубкой или даже с аквалангом, позагорать и «по-» ещё чего-нибудь. Короче говоря, потянуло куда-нибудь в жаркие карибские страны. Вспомнился тут звонкий голос Робертино Лоретти, что сладко так пел «Джама-а-йка!», то есть по-русски Ямайка, и решили – едем на Джамайку! В Америке это просто: сказано – сделано.

В турбюро купили авиабилеты и путёвки на курорт, что на самом берегу синего моря и стали паковать чемоданы на одну неделю лета.

Когда укладывались, я вспомнил про подарок от Эдика и решил, что майка на Ямайке будет как раз к месту. Но жена и дети сказали, что они вовсе не собираются вырядиться как клоуны, в одну и ту же цыплячью желтизну, и лишь я упаковал мою майку в чемодан. Как только мы прилетели в Кингстон, добрались до своего курорта и распаковали чемоданы, я сразу же нацепил эту майку и мы отправились гулять.

Не знаю, ребята, были ли вы на Джамайке, но для туристов место это совершенно замечательное, особенно зимой. Тепло, влажный воздух пропитан запахом цветов, на пальмах висят бананы, зазывно пахнет марихуаной и на каждом углу продают свежие соки и кокосовое молоко, прямо из ореха через соломинку. Население очень доброжелательное, смешанное: есть белые, но в основном чёрные. В те годы политкорректность ещё не придумали, а потому всех называли просто: белых – белыми, чёрных – чёрными, а жуликов – жуликами, а не «гражданами с альтернативной моралью» (morally challenged), как бы сказали сейчас в Америке.

В первые дни всё было хорошо. Мы купались, ныряли, летали на парашютах, что тянули за собой быстрые катера, слушали местную музыку, ездили на водопады, короче говоря – всё, как положено на карибском курорте. В первый же день я стал замечать, что многие туристы, особенно из США и Англии, меня приветствуют на улице словами: «Эдик, привет, как самочувствие, ты о-кей?» Сначала я не понял – чего это они сговорились меня называть Эдиком и почему вдруг все заботятся о моём здоровье? Потом до меня дошло, что они читали на мне майку и решили, будто моё имя Эдик и я малость «ку-ку». Меня это даже забавляло и я, к радости моих детей, соответствующим образом реагировал – строил пугающие рожи или делал вид, что хочу всех покусать, как и положено чокнутому Эдику. Мы веселились, и отдых от этого становился ещё приятнее.

Однако местное население, особенно чёрное, вело себя по отношению ко мне совершенно иначе. Сначала я заметил, что в ресторане, куда мы приходили из нашего бунгало на завтрак, нас обслуживали хуже, чем остальных, вернее совсем не обслуживали. Официанты к

нашему столику не подходили, а когда я шёл в буфет набирать себе еду на поднос, раздатчики вдруг исчезали, а если я пытался кого-то позвать, они убегали на кухню, из-за двери подглядывали и ждали, пока я уйду подальше. То же было и на улице. Многие чернокожие, увидев меня, переходили на другую сторону или быстро сворачивали в переулок. Но изредка случалась и противоположная реакция, когда улица была пуста или я заходил в лавку, где никого кроме меня не было. Тогда чёрные граждане Ямайки ко мне украдкой подходили, с жаром пожимали руку и говорили на местном английском диалекте Патуа что-то вроде: «Ну ты, ман, даёшь! Молодец, ман!», а потом быстро убегали.

Когда моя майка была в стирке, и я ходил в другой футболке или рубашке, на меня никто не обращал внимания, что меня даже огорчало. Но стоило мне её снова надеть – всё повторялось. Я совершенно не понимал, в чём тут дело? Однажды вечером, когда мы всем семейством гуляли по городу, двое чёрных полицейских с автоматами на шее остановили нас на улице и потребовали, чтобы я предъявил документы. Мои дети с испугом на меня смотрели и, вероятно, думали, что их папу сейчас повяжут и они останутся одни на этом далёком пиратском острове. Проверка документов была в высшей степени необычна по отношению к туристам. Я показал свой американский паспорт, который всегда носил с собой, они посмотрели, есть ли там пограничный штамп, потом отдали его мне и, ничего не сказав, повернулись и ушли.

Моя жена мне стала выговаривать: «Тут что-то нечисто с этой майкой. Ты бы её спрятал от греха подальше. Кто их тут разберёт, чем она им не нравится? Нарвёшься ещё на неприятности». Но мне как раз было интересно узнать, почему это у них тут на Джамайке такое эмоциональное отношение к американскому магазину бытовой электроники? Может этот Эдик Антар здесь на острове что-то ужасное натворил, а мы про это не знаем? Отпуск шёл к концу, а я пока ничего ещё не понял.

В последний вечер жена и дети ушли на ужин, а я остался на пляже смотреть закат. Я присел на край лежака и любовался зрелищем, которое нам, жителям Новой Англии, было не дано. Жёлто-красное, как сладкий фрукт манго, солнце сплющивалось и быстро тонуло в тёмно-синем морском горизонте. Все курортники

ушли на ужин, на пляже никого кроме меня не было, только толстая чёрная кастелянша ходила по песку от лежака к лежаку и собирала пляжные полотенца. Постепенно она приближалась ко мне и было заметно, что она хочет со мной поговорить, но не решается.

Наконец она подошла, сложила кучу полотенца на лежак и сказала:

– Ой ман, вы такой смелый, такой храбрый ман!

Я удивился:

– С чего это я храбрый? Что такого я сделал?

– Ну как же, ман! Вы ведь ходите в этой футболке и смело делаете этим такой сильный протест. Такой революционный протест! Ой, храбрый белый ман! Но если бы вы были чёрный ман, вас бы полиция могла пристрелить. Белых они стрелять боятся. Но вы уж снимите эту футболку. Кто их знает, может они и по белому выстрелят?

Тут у меня просто челюсть отвисла. Последнее, что мне могло прийти в голову, это стать местным революционером или носить на себе политический лозунг.

– Позвольте, уважаемая, о чём вы говорите? Какой ещё политический протест?!

– Да разве вы сами не знаете? Правда не знаете? Ну так я вам, ман, скажу. У вас на футболке написано, что Эдик сумасшедший и цены у него безумные. Так ведь только в прошлом месяце наш президент Эдуард Сеага на всё так взвинтил цены, что люди на Джамайке втихомолку только и говорят: «Этот наш Эдик совсем чокнулся со своими безумными ценами». Говорят все шёпотом, а не вслух. У нас тут ведь не Америка, на острове особо языком не поболтаешь – вмиг подрежут! А вы вот ходите с этими словами про чокнутого Эдика и его дикие цены, все читают и говорят: «Ой какой храбрый белый ман!». Но боятся к вам близко подходить, чтобы в сообщники не попасть. И картинка эта на футболке так на мистера Сеагу похожа! Вот я вам всё сказала. Слушайте, ман. Вы уж походили тут с этой надписью и хватит вам. Снимите эту майку, поберегите себя...

Я горячо пожал ей руку за то, что открыла мне глаза и тут же на пляже содрал с себя эту проклятую майку и уж никогда больше не надевал её, ни на Ямайке, ни даже в Америке. Чем чёрт не шутит?

А Эдик Антар отсидел свой срок сполна. Так ему и надо.

День Восьмой, рассказчик Д.О.

Когда я был ещё аспирантом, получил повестку из военкомата. Не знаю как вам, дорогие мои, а мне совсем не хотелось идти служить в советскую армию. Какой-то умник скажет: непатриотично. Не согласен! Это ведь с какой стороны посмотреть. Скорее наоборот – очень даже патриотично и разумно не гробить свои лучшие годы без какой либо пользы стране и себе. Вот если бы довелось мне родиться лет на четверть века раньше, вероятно пошёл бы на фронт добровольцем, как делали тогда многие, невзирая даже на важность дела, каким бы ни занимался. Как там сказано у Екклесиаста? «Время кидать камни, и время собирать камни; время войне, и время миру...» То есть, всякому делу – своё время.

Вспоминаю историю жизни отважного человека и прекрасного учёного-генетика Иосифа Абрамовича Рапопорта, который в 29 лет вместо защиты докторской диссертации решил защищать страну. В самые первые дни войны он добровольцем пошёл на фронт и героически провоевал до победы несмотря на тяжёлые ранения. У него что, не было дел поважнее, чем воевать? С его точки зрения – действительно не было. На тот момент, это был вопрос жизни и смерти его страны и его народа. Поэтому он принял решение, соразмерное своей совести и чести – воевать. Но это было тогда. А в наше время? Скажите мне, что и кого защищала советская, а сегодня защищает российская армия? Свою страну? Свой народ? Если да, то от кого защищает?

Полвека назад я придумывал и строил новые медицинские приборы, кроме того, всюду трудился над своей диссертацией. Тогда, как и сегодня, никто на СССР нападать не собирался, даже заклятый друг Китай, потому я справедливо рассматривал военную службу как потерю времени и упущенную возможность быть более полезным в другом месте и делать что-то действительно нужное. Этим местом и делом мне виделась моя научная и инженерная работа. Я, как и многие выпускники технических вузов, имел воинское звание лейтенанта запаса, но, на мой взгляд, это было не более чем формальность. В тот год стали призывать на действительную службу офицеров запаса. Многих из них отправляли во Вьетнам, где они, прищурившись, защищали от американцев и их союзников режим

дядюшки Хо, то есть Хо-Ши-Мина. Это была не моя война, дядюшка Хо был не мой дядюшка, и его наивная тяга к коммунизму мне была неинтересна. Да и прищуриваться не хотелось.

Неудивительно, что, получив из военкомата повестку явиться на медкомиссию для призыва на военную службу, я немало огорчился. Никакие логические, на мой взгляд, доводы чтобы НЕ служить в действующей армии советской властью в расчёт, разумеется, не принимались. Бросать свою работу, которой увлекался, я не желал, а потому стал лихорадочно искать способы каким-то образом не пройти эту злосчастную медкомиссию и тем отмазаться от призыва в армию и борьбы за светлое будущее вьетнамского народа.

Я работал в лаборатории электроники при медицинском НИИ, а потому среди моих коллег было много врачей. Вот к ним я и обратился за советом: подскажите, голубчики, что же мне делать, чтобы медкомиссия при военкомате меня забракела? Коллеги к этой просьбе отнеслись с пониманием, тем более, что некоторые из них работали вместе со мной над тем же проектом, и мой уход создал бы для них серьёзные профессиональные проблемы. Одна учёная дама посоветовала, чтобы перед медкомиссией я накурился табаком и напился дымом до такой степени, дабы на рентгене появилось затемнение в лёгких. Другой коллега предложил накапать мне в глаза какую-то химию, чтобы у меня сильно испортилось зрение. Были и прочие столь же малоприятные идеи, которые я с ходу забракел – делать себе «мастырки», если уж ботать по уголовной фене, я не желал, а день медкомиссии неумолимо приближался.

Среди сослуживцев был у меня приятель Алёша Воробьёв – спортивный врач. Он был старше меня, родом из Шанхая. Приехал Алёша в СССР в 1949 году, когда тов. Мао-Цзе-Дун по уговору с тов. Сталиным выслал из Китая всех, кто имел российские корни. Алёша был думающий врач и хорошо знал, как работает здоровый организм при физических нагрузках. Благодаря знанию английского и несмотря на буржуазное происхождение, его даже назначили врачом советской сборной на Олимпийских играх в Мельбурне 1956 года. Лечащий врач имеет дело с пациентами, то есть с больными людьми, а спортивный врач наоборот – со здоровыми. Вот он и подал мне идею, которая обычному эскулапу просто не могла прийти

в голову – я ведь был совершенно здоровым «пациентом». Алёша мне говорит:

– Ты им на комиссии покажи сильную гипертонию – повышенное давление крови. После чего популярным языком объясняет следующее:

– Сердце сокращается и качает кровь по всем артериям и капиллярам, причём качает не равномерно, а толчками. При толчке давление крови более высокое, а между толчками оно снижается. Потому давление в артериях обозначается двумя цифрами: верхнее давление и нижнее давление. У здорового человека в покое оно где-то около 120/70 миллиметров ртутного столба. Это верно только когда сердце качает кровь по всему телу. Однако, если пережать какую-то большую артерию, то кровь через неё не потечёт и давление в остальных артериях подскочит. Тебе надо пережать артерию и тем создать иллюзию гипертонии.

– Ты что, Алёша, – говорю, – смеёшься надо мной? Как же я с пережатой артерией пойду на медкомиссию?

– Да кто тебе это советует? Всё гораздо проще. Ты артерию должен пережать сам в момент, когда они тебе будут измерять давление. Вот послушай. В нашем теле самые мощные мышцы расположены в бёдрах, а около них проходят большие бедренные артерии. Если сильно напрячь бедренные мышцы, артерия сожмётся и кровоток в ней остановится. Пережать получится лишь на несколько секунд, но тебе больше и не надо. Ты сделай так. Врач тебе на руку наденет манжетку для измерения давления, накачает её воздухом, а потом будет воздух медленно выпускать и наблюдать за столбиком ртути в приборе. Как только столбик поднимется на самый верх, ты незаметно должен сильно напрячь мышцы правой ноги. Артерия под мышцами сожмётся, и давление во всем теле, в том числе и в руке, резко подскочит, что и будет видно на приборе. Если тебе станут повторно измерять давление, ты напрягай левую ногу, чтобы дать правой отдохнуть. Так это можно делать сколько угодно раз, чередуя ноги, но главное, будь осторожен, чтобы никто не заметил, как ты напрягаешь мышцы.

Алёша принёс сфигмоманометр – ртутный аппарат для измерения артериального давления, и мы с ним минут десять потренировались. Каждый раз, когда я напрягал бедро, прибор показывал

высокое давление, и я понял – можно смело идти на медкомиссию.

Медицинский осмотр офицеров запаса проходил в военкомате. Я и ещё десятка два моих сверстников с кислыми физиономиями и в одном нижнем белье сидели в коридоре, держа в руках повестки на осмотр. Мы тоскливо переговаривались и ждали своей очереди. В кабинет вызывали по одному. Наконец подошёл мой черёд. В центре комнаты у стола в белом халате и с вогнутым зеркалом на пышной причёске сидела женщина-врач и что-то записывала в большой реестр. На столе стояли сфигмоманометр с синей манжеткой и стакан с деревянными шпателями – это чтобы прижимать язык во время осмотра рта. Не глядя на меня, она кивнула: «Садитесь, давайте повестку». Я сел у стола, она устало на меня посмотрела, затем взяла из стакана шпатель, опустила зеркало себе на глаз, велела открыть рот и через отверстие в зеркале рассмотрела мои гланды. Стала задавать разные вопросы: занимаюсь ли спортом, хорошо ли сплю, и тому подобное. Потом спросила «Жалобы на здоровье есть?» Я ответил, что нет, вроде всё в порядке. Только голова иногда болит и устаю быстро. Она ухмыльнулась (так ей говорил, наверное, не я один), но записала мои слова, а потом говорит: «Давайте левую руку». Сняла с шеи стетоскоп, затем, откинув локоны, вставила его трубки себе в уши, надела на мою руку манжетку и стала резиновой грушей накачивать в неё воздух.левой рукой она прижимала мембрану стетоскопа ко внутреннему сгибу моего локтя и слушала пульс, а я внимательно следил за столбиком ртути.

Когда ртуть достигла отметки 200, она накачивать манжетку перестала, а я под столом сильно напряг мышцы правой ноги. Ртутный столбик задрогался, докторша удивлённо на меня посмотрела и подкачала в манжетку ещё больше воздуха. Я сидел с отрешённой физиономией и смотрел в потолок, продолжая напрягать мышцу. Давление воздуха в манжетке плавно снижалось. Наконец, докторша полностью из неё выпустила воздух и говорит. «Хм, что-то не так. Наденьте-ка манжетку на другую руку». Я надел. Она снова стала измерять, а я под столом напряг левое бедро. Всё повторилось. Закончив измерение, она нахмурилась, записала цифры и говорит:

– Как вы себя чувствуете? Голова не кружится? У вас очень высокое давление: 220 на 150 – это опасно. Посидите тут, постарайтесь расслабиться, я сейчас вернусь.

Она вернулась через несколько минут с медсестрой и дежурным офицером из военкомата. Приняли меня под ручки, вывели в коридор и бережно усадили на стул у окошка. Сказали, что в таком состоянии они меня отпустить домой не могут. Через час приехала «скорая»; дали мне выпить какие-то таблетки и отвезли в районную больницу на обследование. Там за меня взялись вовсю: с утра до вечера делали всевозможные анализы и тесты, постоянно измеряли давление крови, разумеется, с тем же результатом. Бедренные мышцы свою задачу выполняли исправно, и потому сфигмоманометры регулярно зашкаливали. Тесты и анализы показали, что со мной всё в полном порядке, пациент здоров как бык, а удивлённые врачи разводили руками и никак не могли понять: от чего у меня такое жуткое давление? Причину так и не нашли.

Я в больнице провёл неделю – получился для меня неожиданный отпуск. Хотя палата, где мне выделили койку, была на 12 человек и по ночам я не высыпался (как мокрая соль из солонки), всё же время даром не терял. Чтобы не скучать, днями ремонтировал для больницы электрокардиографы и прочее оборудование, чем расположил к себе весь медицинский персонал, а вечерами флиртовал с симпатичными медсёстрами. В конце концов, так ничего не выяснив, меня выписали с замечательным диагнозом: «острая гипертоническая болезнь неопределённого происхождения. К воинской службе не годен».

Вернувшись на работу, я принёс Алёше бутылку коньяку, через год защитил диссертацию, а дядюшке Хо пришлось выгонять американцев из Вьетнама без моей помощи.

День Девятый, рассказчик А.З.

Есть такая занятная концепция под названием «Шесть степеней отчуждения» или ещё можно сказать «отдаления». По-английски она называется «Six degrees of separation». Суть её в том, что любой человек отдалён от кого угодно на этой планете всего через несколько промежуточных знакомств, то есть степеней отдаления. Было подсчитано, что максимальное число таких степеней не превышает шести. Это относится не только к живущим, но и к людям сравнительно недавнего прошлого, скажем два-три поколения на-

зад. Таким образом, каждый человек может выстроить цепочку: от себя к некоему своему знакомому, а тот – к своему другому знакомому, и так далее до любого человека. Самое большее, через шесть таких знакомств каждый может соединиться с кем угодно в любой точке планеты. Чтобы было яснее, представьте, что доярка Фрося из деревни Зипуны напишет письмо неизвестному ей папуасу из Новой Гвинеи и пошлёт его не по почте, а передаст из рук в руки через знакомых друг с другом людей, от одного к другому. Так вот, чтобы письмо дошло до папуаса, нужно не более шести таких знакомств. Разумеется, для некоторых профессий, например, журналистов, которые встречаются со многими людьми, число степеней отдаления будет меньше. То есть, если папуасу письмо напишет не Фрося, а скажем редактор альманаха «Времена», то может понадобиться три звена, ну от силы – четыре.

Меня эта концепция очень заинтересовала – это что же значит, всего через парочку друг с дружкой знакомых я окажусь связанным с любой знаменитостью? Хочу, например, с диктатором, скажем со Сталиным, Франко или Пол Потом, а захочу – и с более приятной личностью, к примеру, с Мэрилин Монро? Ой, как интересно! Разумеется, когда степеней отдаления пять или шесть, проследить их вряд ли получится. Иди знай, какие там есть знакомые у знакомых ваших знакомых? Но вот когда степеней мало, есть шанс их выяснить. Что, если для забавы покопаться в памяти и найти такие знакомства, которые соединили бы меня с сильными мира сего или ещё с какими-то там примечательными личностями? Искать долго не пришлось. и я быстро выстроил несколько коротких цепочек. Уверен, что вы без труда можете сделать то же самое и для себя. Вот несколько таких занятных степеней отдаления, что у меня получились.

Много лет назад я был знаком с оперативником ЦРУ, который в 1960 году входил в свиту президента США Эйзенхауэра во время его международных поездок. Это значит, что через него от меня до Эйзенхауэра было всего два звена или степеней отдаления: я – оперативник – Эйзенхауэр. Вот как близко, всего два! Ну а Эйзенхауэр вообще был знаком со многими знаменитостями, например, с маршалом Жуковым и Сталиным. Это значит, что от меня до Жукова или Сталина было всего три степени отдаления.

Впрочем, если ещё порыться в памяти, то к Сталину можно и другую, более короткую цепочку построить. Скажем, вот такую. Когда был я в пионерском возрасте, жил с родителями в коммуналке, единственное окно которой выходило на дом-музей Я.М. Свердлова. Я там иногда бывал на встречах с его вдовой Клавдией Тимофеевной, у которой в том доме-музее была квартира, и даже несколько раз с ней разговаривал. Можно сказать, что я был знаком со вдовой Свердлова. А она в её молодые годы уж совсем хорошо знала и Сталина, и Ленина. Это значит, что через неё от меня до этих двух бандитов было всего два звена: я – она – Сталин или Ленин. Куда уж ближе? Но почему-то эта мысль гордостью моё сердце не переполняет.

Или вот такая цепочка. Лет пятнадцать назад я пошёл в театр на премьеру одной из последних пьес Артура Миллера «Resurrection Blues». Как часто бывает в американских театрах – актёры великолепные, оформление чудное, режиссёр хитёр на выдумки, но в целом было скучно и неинтересно. Любое кино или спектакль стоит на фундаменте, который есть киносценарий или пьеса. Если фундамент хилый, ни режиссёр, ни звёзды не спасут от провала. Иными словами, когда пьеса слабая, вытянуть представление совершенно невозможно. Так вышло и тут – Артур Миллер написал неудачную пьесу. Что ж, такое случается даже с самыми великими. В антракте я пошёл в фойе и вдруг увидел, что в зале на последнем ряду в полном одиночестве с совершенно убитой физиономией сидит сам драматург. Я его сразу узнал (видел раньше много фотографий), хотя он и сильно постарел – ему было уже под 90. Миллер прекрасно понимал, как плохо всё вышло. Мне стало его жалко, я без приглашения подсел рядом, представился и сказал ему какие-то слова утешения, да ещё приврал, что вот лично мне нравится. Он похлопал меня по руке и тихо сказал: «Давайте не будем об этом. Я сам всё прекрасно вижу». Я решил ему не надоедать, поэтому встал, попрощался и ушёл. Выходит – я познакомился с Артуром Миллером, хотя знакомство это длилось не более минуты. Поскольку 40 лет до того он был женат на Мэрилин Монро, стало быть меня от неё отделяло всего два звена: я – Миллер – Монро. Ну не занятно ли? После развода с Миллером Мэрилин с кем только не шустрила, включая братьев Кеннеди. Но для моей арифметики это не считает-

ся, так как с президентом Кеннеди она крутила уже после того, как они с Миллером расстались.

Как-то раз мы с женой поехали на машине в небольшое путешествие. Захотели навестить друзей на Лонг Айленде, что у Нью-Йорка. После того, как навестили друзей, решили двинуться дальше, до самого восточного конца острова. Через некоторое время остановились на заправку в городке Сауфхолд. Залили полный бак и решили разузнать, что там есть интересного посмотреть в окрестностях. Недалеко от заправочной станции увидели витрину с гитарой за стеклом. Зашли туда, чтобы спросить совета. В магазинчике продавались гитары разных размеров и стилей, банджо, барабаны, ноты, струны и вообще всё, что положено для такой музыки. На стене в золочёной рамке висела большая фотография Эйнштейна. Он в белой рубашке и шортах сидел у берега залива на огромном валуне рядом с благообразным господином в костюме и галстукe, что как-то не вязалось с курортным видом великого физика.

За прилавком стоял сам хозяин, седоголовый господин по имени Рон, с которым мы познакомились, разговорились и он нам дал много полезных советов по поездке. Перед тем, как уйти, я показал на фотографию и спросил его, по какому поводу в гитарном магазине висит снимок Эйнштейна, хотя он, как известно, играл на скрипке, а не на гитаре? Рон усмехнулся и сказал, что вот этот господин в костюме и галстукe есть его родной дедушка Давид. В конце тридцатых годов дедушка дружил с Эйнштейном, который несколько лет подряд проводил здесь свои летние каникулы. Дедушка держал в городке хозяйственный магазин и был музыкантом-любителем. У него даже был свой струнный ансамбль, куда он позвал Эйнштейна играть на скрипке и они много вместе музицировали. Разумеется, дедушки Давида давно не было в живых, но Рон оказался весьма разговорчивым и охотно нам рассказал про то, как Эйнштейн проводил лето в их городке и катал дедушку и его самого, тогда подростка, на своей яхте.

Для моего рассказа это значит, что можно выстроить такую занятную цепочку: я – Рон – Эйнштейн. Таким образом, через это случайное дорожное знакомство от меня до великого физика оказалось всего две степени отдаления. А вот это греет сердце.

Ну а напоследок – вот такая цепочка. Когда мне исполнилось

шесть лет, моя мама решила, что ребёнку пора учить музыке и отвела меня в районную музыкальную школу. Мне там очень понравилось, особенно уроки сольфеджио, где надо было петь ноты. Петь я любил громко. Где-то через месяц директор школы вызвал мою мать и сказал, что так больше продолжаться не может, ибо ребёнок, то есть я, ввиду полного отсутствия музыкального слуха и наличия громкого голоса на уроках сольфеджио так пронзительно и яростно фальшивит, что сбивает с настроя и ритма все три этажа музыкальной школы. Поэтому музыке его учить не надо, а не то он плохо кончит. Из музыкальной школы меня забрали и больше музыке не учили, а потому я жил спокойно следующие лет девять-десять. Но потом, в один прекрасный день, у меня вдруг появилось совершенно непреодолимое желание научиться играть на рояле. Я, пятнадцатилетний балбес, просто сходил с ума от нетерпенья и колотил по клавишам, тщетно пытаюсь подобрать какую-то мелодию. Мои родители вздохнули и стали искать мне учительницу музыки. Находили таких без труда, но после первого же урока они все сбежали, не смотря на хорошую оплату. Как-то раз моя мать сказала, что придёт к нам одна старенькая учительница, своего рояля у неё по бедности нету и потому она будет приходить ко мне на дом.

Когда я вернулся из школы, а родители были на работе, в дверь позвонили. Я открыл и увидел у порога маленькую, очень опрятную старушку лет восьмидесяти, в чёрном старомодном платье. Она вошла и представилась:

– Здравствуйте, меня зовут Софья Андреевна, как жену Льва Николаевича, поэтому запомнить легко. Мы дружили семьями. Моя фамилия Долгорукова.

Я провёл её в комнату, где стояло пианино, и спросил, не родственница ли она князьям Долгоруковым? Она ответила:

– Да, я бывшая княжна Долгорукова. В 1903 году я закончила Смольный институт, а там нас обучали пению и игре на фортепиано. Если пожелаете, могу и вас этому учить.

Я слегка оторопел от того, что меня будет учить княжна. Никогда – ни до, ни после я с князьями не знался. Она была единственная, кто от меня не сбежал, и с бесконечным терпением стала со мной заниматься. Софья Андреевна учила меня играть лишь то, что помнила со времён учёбы в Смольном – увертюры и аккомпанементы

к ариям из опер. Сначала показывала сама и, аккомпанируя себе, тонюсеньким голоском пела, запрокинув головку как птичка. Я особенно запомнил в её грассирующем исполнении арию Мсьё Трике из «Евгения Онегина»: «Какой прьекрасни этот дъень, когда в сей деревъенский сень...» После урока Софья Андреевна шла на кухню пить чай и беседовать с моей бабушкой. Рассказывала ей про свою тяжкую жизнь после революции, нищенское существование в крохотной комнатёнке, да ещё с гордостью говорила про своего младшего брата Колю, известного художника-плакатиста. Любила она вспоминать про наезды с сёстрами в Ясную Поляну в гости к Толстым. Лев Николаевич был радушным хозяином, рассказывал им удивительные истории и русские народные сказки, которых знал множество, и вдобавок немножко с девушками флиртовал. Говоря это, Софья Андреевна хихикала, потупляла глазки и прикрывала ротик платочком. На вопрос моей бабушки, есть ли у неё дети, княжна краснела и шептала: «Я девица...».

Сегодня, когда я про это вспомнил, то подумал – а ведь через Софью Андреевну я оказался всего в двух степенях отдаления от самого Льва Толстого! То есть цепочка очень короткая: я – Софья Андреевна – граф Толстой. Как и во многих моих виртуальных связях, отдаление было не только в пространстве, но и во времени.

Такие цепочки щекочут воображение и мысленно как бы приближают нас к великим фигурам, но, положа руку на сердце, это всё же не более, чем забава. Вы, ребята, покопайтесь в своей памяти, наверняка тоже построите немало занятных связей.

День Десятый, рассказчик Я.Ф.

Где-то лет 40 назад, весенним утром в моём доме в Нью-Хэйвене, что на восточном берегу Соединённых Штатов, зазвонил телефон. Мужской голос с сильным испанским акцентом говорил по-английски:

– Мистер Фрейдин? Я звоню из Мадрида. У меня фамилия, как и у вас, тоже Фрейдин, Манюэль Фрейдин, хотя написание чуть другое. Вы пишете свою фамилию по-английски Fraden, а я на франко-испанский манер – Fradin. Я составляю генеалогическое дерево моих предков и хотел у вас узнать, не родственники ли мы с вами?

– Ну давайте сравним родню, может найдём какие-то пересечения, – ответил я.

Я стал перечислять своих родственников со стороны отца, а он своих. Так мы перебрали всех, кого помнили, но общих не нашли, и вдруг Манюэль спросил:

– Погодите-ка. Ваше имя ведь Яков? А вы случайно не еврей ли?

– Да, – ответил я, – но совершенно не случайно. Надеюсь, не сильно этим вас огорчил?

– Ну, тогда мы с вами родственниками никак быть не можем, – сказал Манюэль. – Я своих предков изучил почти за два столетия – мы все католики. В наполеоновские времена в нашем роду был даже французский кардинал.

– Что-ж извините, – сказал я, – тут ничем помочь не могу. Значит мы не родня. Рад был с вами побеседовать, однофамилец.

А сейчас вернёмся на пять лет назад до этого разговора с Испанией.

Мы с женой сидели в подаче на эмиграцию из СССР уже месяца три, когда я спросил своего отца:

– У дедушки где-то в Америке должны быть родственники. Ты не знаешь где? Если нас выпустят и мы окажемся на Западе, было бы интересно их разыскать.

К тому времени моего деда уже более 20 лет не было в живых. Отец ответил:

– Я про них ничего не знаю. Где-то в 20-е годы, когда мы ещё жили в Чернигове, дед получал от своего брата из Америки письма и фотографии, но потом всё сжёг – боялся, если узнают о родственниках за границей, отправят куда Макар телят не гонял... Когда он умер, я все его бумаги перебрал, там ничего о его американском брате не было.

– Значит никак не найти? Может у твоей родни что-то сохранилось?

– Кто знает? Вот ты свяжись с моим дядей Шаей, он мне как-то говорил, что ещё до войны он все старые документы и фотографии закопал в огороде, так может он их выкопал, когда вернулся домой в Чернигов из эвакуации? Ты с ним поговори, пока он жив...

Тогда я решил поехать в Чернигов – город, где жили многие поколения моих предков со стороны отца. Гражданская и мировые во-

йны многих из них убили, иных раскидало по стране, а в Чернигове доживал свой век лишь одинокий старик Шая.

Я прилетел в Киев, а оттуда автобусом доехал до Чернигова – тысячелетнего города на берегу Десны. От автобусной станции пешком дошёл до домика-развалюхи, где жил старик. Он меня ждал с обедом. К моему приезду Шая сходил на рынок, накупил продуктов и сам сварил довольно вкусный борщ. Потом, несмотря на свои 88 лет, сказал, что хочет показать мне Чернигов. Оказался он довольно ходячим, хотя и сильно прихрамывал. Мы с ним около часа гуляли, и он мне с любовью про свой город рассказывал. У Пятницкой церкви я несколько опешил, когда Шая сказал мне, что она 12-го века. Церковь сияла новеньким розовым кирпичом, и вид у неё был совсем молодой, ну от силы лет десять, хотя архитектура действительно старинная. Старик засмеялся:

– Ты прав, она хоть и старинная, но совсем свежая. Тут большой местный начальник лет эдак 15 назад решил построить себе за городом дачу, с размахом. Ему понадобился хороший кирпич, вот он приказал эту церковь снести, чтобы из её кирпича себе хоромы возвести. Но не учёл, дурак, что за 800 лет кирпич стал крепче железа. Ломали, взрывали, в пыль всё перемололи, но годного кирпича так и не набрали. Потом местные краеведы написали на него телегу в Москву, на самый верх, что он памятник старины разрушил. Там разобрались, ему выговор вlepили и велели эту церковь за его же счёт восстановить. Ну построили её заново, но уж из нового паршивого кирпича. Не чета старому, так я думаю, она ещё 800 лет никак не простоит, это я тебе обещаю.

Тут я перешёл к цели моего приезда:

– Дядя Шая, а что вы знаете про брата моего дедушки? Я слышал, он в Америку уехал.

– Правда, уехал. Если хочешь, я тебе расскажу что помню. Когда в 14-м году началась германская и всех, кто по возрасту подходил, стали в армию забирать, дедушка твой Юдка пошёл на войну и там до 17-го года честно воевал. А брат его тогда только-только женился, и ему от молодой жены никак уходить на войну не хотелось, да и за царя-батюшку, антисемита проклятого, ему тоже умирать было неинтересно. А может это она, жена то есть, его надоумила. Вот они вдвоём сели на поезд и, каким уж путём, я не знаю, смогли добрать-

ся не то до Турции, не то до Латвии – не помню, а оттуда на пароходе уплыли в Америку. Пойдём домой, я тебе фотографии покажу. Он нам оттуда писал, года до 35-го, а потом письма перестали приходиться.

– А как же вам удалось сохранить письма и снимки? – спросил я.

– Когда в 30-е годы стало опасно иметь родственников за границей, наша родня стала все такие бумаги в печку кидать. А мне было жалко память сжигать. Думал, вот ты когда-нибудь приедешь и спросишь. Тогда я сложил все бумаги в жестяную коробку, унёс в лес, нашёл приметное место и там закопал. Потом война началась, меня сразу в ополчение забрали, для армии я уж стар был. Но я там долго не был. Меня в августе сорок первого бомбой контузило и в ногу ранило. Повезло однако; вывезли в тыл, в госпиталь, там вылечили, но на войну больше не отправили; я долго ходить не мог, да и сейчас, как видишь, хромым. После войны я вернулся и коробку выкопал.

Когда мы с Шаем пришли обратно в его домик, он забрался на скамеечку, вынул с верхней полки серванта чашки-блюдца, а из-за них достал и положил на стол облезлую жестяную коробку из под леденцов «Монпансье». В коробке оказались письма в конвертах с американскими марками на 5 центов, несколько чёрно-белых фотографий, маленькие открытки с видами Филадельфии и ещё много разных бумаг. На конвертах стояло имя отправителя: Harry Fraden. На снимках был изображён элегантный седоголовый господин и четверо улыбчивых ребят в шортах. Старик пояснил:

– Вот это и есть брат твоего деда; его в Америке стали звать Гэри, а фамилию он писал на английский лад. Эти ребята – его сыновья, в Америке родились. На обратном адресе, видишь, написано, что они жили в штате Флорида, в городе Джексонвилль, а где сейчас, я и не знаю. С тех пор писем не было. Гэри про их жизнь в Америке писал. Нам это всё в диковинку было. Как будто из сказки.

Шая открыл один конверт и достал письмо, оно было написано какими-то знаками, как мне тогда показалось, похожими на рыболовные крючки.

– Он письма писал на идише, – пояснил Шая, – ему так было проще. Если хочешь, я тебе переведу.

В письме Гэри рассказывал, что их пароход пришёл в Нью-Йорк

в начале декабря 14-го года. Было холодно, дул сильный ветер и шёл мокрый снег. Это ему не понравилось, и он сказал своей молодой жене: «Я не для того приехал в Америку, чтобы мёрзнуть в снегу». Они сели на поезд и поехали на юг. Через день поезд остановился в Релей, Северная Каролина. Было теплее и шёл дождь, но снега не было. Гэри сказал: «Уже лучше, но ещё не хорошо». Они вернулись в вагон и поехали дальше на юг. На следующий день поезд остановился на станции города Джексонвиль. Было тепло и светило солнце. Гэри сказал: «Вот это то, что надо! Будем жить здесь!» Так они и поселились во Флориде.

– Жаль, – сказал я, – что в 14-м году мой дедушка не сообразил тоже уехать в Америку, как его брат, а ушёл на войну.

– Так ведь у него тогда ещё не было умной жены, которая бы подсказала – усмехнулся Шая. – Твой дед на войне храбро воевал, звание фельдфебеля получил, что для еврея совсем непросто было. В 17-м году его часть отозвали с фронта и перевели в Петроград для охраны Временного Правительства. Они в Зимнем Дворце стояли, а когда большевики дворец захватили, вскоре его часть распустили. Он бороду сбрил, штык в землю, немного в Питере покуролесил – за три года на войне стосковался по гражданке, а потом домой в Чернигов уехал.

Я много позже ему сказал: «Ты, Юдка, плохой солдат». Он на меня натопорщился и отвечает: «Что значит плохой? Я на фронте на рожон не лез, но и за спинами других не прятался. Нормально воевал». Я тогда говорю: «Да я не о фронте. Ты вот почему Зимний Дворец не удержал? Был бы ты хороший солдат, не сдал бы дворец матросам и вся наша жизнь без этой революции могла бы по другому сложиться». Он только посмеялся: «Да какая, – говорит, — революция! Не было никакой революции! Перепилась вся солдатня из охраны – вина во дворце было залейся, да с девками из женского батальона и медсёстрами из дворцового госпиталя позабавились, пока матросня дворец грабила. Вот тебе и вся революция. Грабёж один, а не революция».

Он потом, когда в Чернигов вернулся, большим гулякой стал, в карты играл, всю свою жизнь в разнос пустил, пока его твоя бабушка Берта не встретила и к рукам не прибрала, а потом на себе женила. Она лет на пять старше его была. Он у неё сразу как-то

утих, играть бросил, работать стал и всё наладилось. Любил он её сильно.

Слушая старика, я перебирал в коробке письма, какие-то документы начала века, нашёл там старые семейные фотографии на картонках и несколько царских сторублёвок. На самом дне лежал грязно-жёлтый плотный листок с витиеватым текстом латинскими буквами. Листок был похож на пергамент и явно очень старый. Я поднёс его к окну на свет и с трудом разобрал начало текста: «...Le 13 juillet 1496, Bernart Fradin de la ville de Saint-Jean-d'Angély, comme héritier à cause de sa femme...» Это было по-французски, я смог перевести архаичные слова, а скорее догадался, чем перевёл: «...13 июля 1496 года, Бернарт Фрейдин из города Сен-Жан-д'Анжели, в качестве наследника своей жены...», а дальше я понять не мог. Этой записи было почти 500 лет, но меня больше поразило то, что там была наша фамилия, хоть и на французский манер!

– Дядя Шая, – спросил я, – что это такое? Откуда у вас этот пергамент?

– Не знаю, – ответил он, – я его нашёл очень давно в бумагах моего покойного дедушки. А откуда это у него – кто теперь может знать? Решил сохранить. Ты можешь это прочитать?

– Нет, это старый французский язык, а я и новый-то не очень. Вы мне можете дать его с собой? Может я найду кого-нибудь, кто сможет прочесть.

– О чём речь! Ты вообще всё, что тебе интересно, отсюда забери. Мне это уж ни к чему. После меня ведь пропадёт.

Я поблагодарил старика, забрал американские снимки и старинный пергамент. На следующий день я уехал домой. Где-то через пару месяцев мы с женой получили разрешение, а ещё через десять дней навсегда покинули Советский Союз. Везти с собой через границу старинный пергамент было рискованно – если его найдут на таможне, не только отберут, но и неприятности могут быть большие. Тогда я придумал такой трюк: в писчебумажном магазине купил пустой кляссер для коллекции марок. Аккуратно расклеил один из картонных листов, вложил в середину пергамент и заклеил обратно. Выглядело совершенно невинно. За день до отлёта из Союза, я запаковал кляссер в большой конверт, пошёл на Московский почтамт и отправил его в Вену на своё имя «до востребования». Риск конечно

был, мог пропасть, но разве вся наша жизнь – не риск? Где-то через пару недель после прилёта в Вену, я на центральной почте получил свою посылочку с пергаментом в целости и сохранности.

После приезда в Америку, в первые годы было как-то не до предков – надо было свою жизнь строить сначала. Работали, учились, детей растили. Однажды я решил узнать, живут ли ещё во Флориде родственники моего дедушки? В публичной библиотеке Кливленда, где мы тогда жили, я нашёл телефонную книгу города Джексонвилль и обнаружил там несколько человек по фамилии Fraden. Я выбрал по алфавиту первого из них Эйба (Abe) и позвонил. Он страшно удивился, когда я сказал, что я возможно его троюродный племянник, и спросил:

– А есть ли у вас какие-то доказательства, например, письма или фотографии?

Я сказал, что у меня есть старый снимок Гэри Фрейдина с новьями. Эйб попросил, чтобы я снимок ему прислал, и обещал вернуть. Так я и сделал, а дня через три он мне позвонил и радостно сообщил: «Это мы!». Вскоре мы съездили к нему в гости в Джексонвилль, и он познакомил меня с братьями и сестрой. Их отца Гэри, брата моего дедушки, уже не было в живых, но в старческом доме ещё жила их мать, которая приехала в Америку в 1914 году. Эйб спросил, не хотел бы я с ней познакомиться, и я согласился. Мы приехали в этот дом, я остался подождать в вестибюле, а Эйб пошёл за ней на второй этаж, но вначале предупредил меня, чтобы я особенно её словам не удивлялся – у неё старческой маразм. Вскоре я увидел старуху с палкой, спускающуюся по лестнице. Увидев меня, она вдруг остановилась, замерла и по-русски громко сказала: «А я вас знаю! Вы брат моего мужа!». Я действительно похож на моего деда, а в её затуманенном мозгу смешались люди, времена и страны. Но больше всех был поражён Эйб – он и не знал, что его мать может говорить по-русски. К сожалению, мои вновь обретённые родственники ничего о своей родне не знали и заводить с ними разговор о французском пергаменте из Чернигова смысла не было.

Через несколько лет, когда мы стали ездить в Европу, я опять вспомнил о старом пергаменте. Прежде чем что-то выяснять, сперва надо было его прочитать, но для этого моего французского было явно недостаточно. Мы тогда жили около Йельского университета,

и я пошёл в библиотеку старинных рукописей. Там мне указали на специалиста по кельтским и французским манускриптам, и я подал ему этот пергамент. Он предложил оставить его на недельку и обещал, что постарается разобраться. Когда я зашёл снова, эксперт сообщил мне, что это подлинный отрывок из завещания и подал мне отпечатанный на машинке перевод. Вот он:

«...13 июля 1496 года, Бернарт Фрейдин из города Сен-Жан-д'Анжели, в качестве наследника своей жены и будучи единым и полноправным владельцем шато Фрейдин-Белабр, всего имущества в нём и 1400 золотых экю и примыкающих к шато угодий и шести невольных слуг находясь в здравом уме и обращая душу свою к Создателю Господу Нашему Иисусу Христу и славной Деве Марии, повелеваю предать моё тело земле в церкви Ностр-Дам-де-Пюи и завещаю все свои владения нашей досточтимой дочери Иветт и её потомкам, также повелеваю лишить каких либо привилегий и владений и проклиная во веки моего богопротивного сына Гийома, вопреки воле нашей принявшего веру иудейскую и покинувшего...». Вот и всё, что было на пергаменте.

Как интересно получилось без малого 500 лет назад! Этот строптивый Гийом порвал с роднёй, потерял наследство и решил стать евреем. Странный и небезопасный переход в гонимую веру в те далёкие, да и в более близкие к нам времена. Поступок совершенно неординарный! Что его к этому подтолкнуло, какая невероятная сила на него повлияла? И как завещание его отца оказалось в бумагах моих родственников? Вот бы узнать!

В нашу следующую поездку в Европу мы с женой решили попытаться что-то выяснить. Единственной зацепкой был город Сен-Жан-д'Анжели. Мы его на карте Франции довольно быстро нашли – он оказался на север от всем известного городка Коньяк. Интернета в те годы ещё не было и разбираться надо было на месте.

Путешествуя на машине по Бретани и двигаясь всё южнее, мы доехали до порта Ла Рошель, из которого Д'Артаньян плыл через Ла Манш в Англию за подвесками королевы, а оттуда уж не так далеко и до Сен-Жан-д'Анжели. Это оказался чудный, провинциальный городок с современной архитектурой, стандартными магазинами, воскресным базаром в центре, но и несколькими довольно старыми

зданиями. Впрочем, побродив по улочкам с путеводителем в руках, мы не нашли ни одного строения старше 17 века, так что надежда увидеть фамильное шато, что упоминалось в завещании, быстро испарилась. Всё же пять столетий – не шутка. Мы нашли гостиницу в центре и когда я подал свой паспорт, парень за стойкой сказал:

– Ого, у мсье почти такое имя, как и у меня!

Оказалось, что парня зовут Honoré Fradin и он сообщил мне, что в городе у него куча родственников с такой же фамилией. И действительно, в гостиничном номере была телефонная книга, а в ней оказалась целая страница с разными Fradin обоюбого пола. «Что-ж, – подумал я, – начало неплохое. Надо бы с кем-то из них познакомиться, может что-то узнаю». Но с кем? Тогда я решил выбрать своего полного тёзку, которого звали Jacques Fradin, то есть по-русски Яша Фрейдин. Я ему позвонил из гостиницы. Он сначала не понял, что от него хотят, но когда я ему на своём корявом французском объяснил про пергамент, он заинтересовался и мы договорились встретиться в кафе. Жак оказался работником муниципалитета (что-то по водоснабжению) примерно моего возраста. Он сказал, что его родня живёт в этом городке уже много поколений, как это во Франции часто случается. Он, конечно, знает про своих дедушек и бабушек и даже их родителей, но если меня интересуют совсем уж давние времена, то самое разумное – это пойти в городской музей. Туда я и направился следующим утром.

Музей был небольшой, совсем старинных экспонатов там было мало, поэтому когда директор музея мадам Ж. увидела у меня пергаментный листок, глаза у неё загорелись и она поинтересовалась, не хочу ли я его продать музею? Я сказал, что пришёл к ней по другому поводу – меня интересует судьба человека по имени Guillaume Fradin, который жил в городе в конце 15-го века. Она пожала плечами и сказала, что это лучше поискать по старым церковным книгам и процесс этот не только очень долгий, но и невероятно сложный. Но вдруг она неожиданно просияла и сказала:

– Фамилия Fradin в городе известная и, мне кажется, в нашем хранилище я видела книгу об этой семье. Мне надо время её найти, зайдите к вечеру, может, вам повезёт.

Когда я появился у неё в кабинете перед закрытием, она протянула мне книгу в пожелтевшем переплёте. На обложке было назва-

ние «Фрейдины. Шесть столетий их истории, 1901 год издания». На обложке изображён семейный герб – три грозди винограда под королевской короной. Я книгу полистал, там была масса имён, титулов и жизнеописаний начиная с 13-го века и до конца 19-го, и я понял, чтобы мне с этим разобраться (книга ведь по-французски) не то что дня, но и месяца будет мало. Я спросил:

– Мадам Ж., могу ли я где-то купить экземпляр этой книги?

Она пожала плечами и ответила, что книге почти 90 лет и найти её можно разве что у букинистов, если сильно повезёт. Тогда я довольно нагло сказал:

– А давайте поменяемся. Я вам этот пергамент, а вы мне – книгу.

Она вздохнула и сказала, что рада бы, но на это у неё нет прав, книга в фонде музея. Но она предлагает другое решение: я передаю в дар музею мой пергамент, а она к утру переснимет мне эту книгу на микрофиш. Мне ведь не обязательно иметь оригинал, важен текст. Я согласился, отдал ей пергамент, а следующим утром, когда я опять пришёл в музей, она протянула мне конверт, где лежали прямоугольнички негативов со снимками страниц всей этой книги.

Мы вернулись в Америку и в течение следующего года, когда у меня выдавалась свободная минута, я брал словарь, заряжал микрофиш в специальный проектор и читал эту книгу. Из неё я узнал совершенно удивительные вещи, которые под стать перу великого Дюма, ну а мне по силам лишь их кратко пересказать.

Автором книги был Luis Fradin de Belabre, вице-консул Франции. Она начиналась с введения:

«История семейства Fradin de Belabre или Bellabre, чьё земное имя пишется таким образом, была изначально составлена для установления законных владений и записана в три приёма: 22 февраля 1698 года, 29 июля 1744 года и 24 мая 1773 года на основе ценных бумаг, восходящих к началу 14 века. Поскольку Fradins владели землями Fraisines, то можно предположить, что имя Fradin произошло от латинского Fraidinus, а оно, в свою очередь, от Fraxinus, означающего ясень. А потому первоначально на старом гербе рода, обгорелые остатки которого ныне хранятся в музее Вены, были листья ясеня, впоследствии заменённые на стебли винограда. Право иметь корону на гербе было даровано роду Fradin королём Филиппом VI Валуа за помощь при возведении его на престол».

Затем шли самые разные и малоинтересные мне документы: купчие, свидетельства о браках, рождений и смертей членов семейства, а так же множество преданий и рассказов об их жизнях. Но вот на одной странице я нашёл то, что искал – упоминание о рождении 2 апреля 1472 года мальчика Гийома, а через несколько страниц приводилось романтическое предание о том, как в 1492 году Гийом возвращался домой из Ла Рошель, куда ездил по поручению отца. На дороге он увидел необычно одетую группу странников, отбивающихся от грабителей. В те времена дорожный разбой был обычным делом. Гийом и его слуги обнажили шпаги, отогнали разбойников и предложили странникам проводить их до города. Путники говорили на незнакомом ему языке и были они, похоже, одной большой семьёй – мужчины, матери с младенцами, дети и старики. Один из стариков слабо, но мог говорить по-французски и сказал, что они все иудейской веры и направляются из испанских земель на север.

Всё же не зря французы говорят, что в каждом поступке следует *Cherchez la Femme*. Так и получилось. Среди семьи странников выделялась молодостью и красотой девушка лет 15, и молодой дворянин не мог отвести от неё глаз. Что произошло после, можно только догадываться, ибо в книге об этом ничего не сказано. Но из пергамента, что мне дал старик Шая, мы уже знаем, что Гийом был человек смелых решений – он покинул родной дом и перешёл в иудейство, скорее всего, чтобы на ней жениться.

После притчи о разбойниках и еврейской красоте в книге следовали другие истории, мне неинтересные, вплоть до следующей главы, многозначительно названной «*Autre Branche*» («Другая Ветвь»). Там скупо говорилось, что в городе Лион отпочковалась от рода *Fradin* иудейская ветка, где от Гийома и его еврейской жены пошло многочисленное потомство. Об их жизни в Лионе ничего не рассказывалось и за последующие годы никаких ни имён, ни документов в книге приведено не было. Но вот за 1573 год появилась новая запись о том, что, после Варфоломеевской ночи во Франции во всю мощь развернулась Инквизиция в борьбе против гугенотов, еретиков и иноверцев. Аутодафе дошло до Лиона, и перед иудеями поставили выбор: перейти в веру Римской церкви или уйти из города. Так произошло ещё одно разветвление рода – часть еврейских *Fradin* крестилась и вернулась к вере предков из Сен-Жан-д'Анже-

ли. Другая часть осталась верна иудейской религии, покинула Лион и двинулась на восток. Ничего далее об этой еврейской ветви в книге сказано не было, но зато о потомках тех, кто крестился – много интересного. Среди них появились купцы, ремесленники, богословы, священники, военные, был даже мэр Лиона, а в конце 18 века один из них стал французским кардиналом, принявшем имя Луи-Жозеф (тут я вспомнил звонок из Мадрида – круг замкнулся). Когда Наполеон стал императором, полковник Jean Fradin получил из его рук звание генерал-лейтенанта. Он участвовал во всех наполеоновских войнах и даже в русском походе, о котором он в 1826 году написал книгу «Русская кампания Наполеона Бонапарта». Вот и всё, что я узнал о далёких предках моего отца из той старой книги.

Где-то лет 15 назад я получил электронное письмо от некоего господина из Флориды по имени Walter Fradin. Он поинтересовался, не родственник ли он мне и спросил, не хочу ли я сделать тест ДНК, чтобы определить, есть ли между нами генетическая связь? Там же спрашивал, знаю ли я что о других моих родственниках? Когда я написал ему в ответ, что мои самые близкие родственники тоже живут во Флориде, в Джексонвиле, он обрадовался и заявил, что никакой тест делать не надо, так как он уже сделал такой тест с ними и было точно установлено, что они все родня. Потом он позвонил мне и рассказал, что после выхода на пенсию лет 20 назад, он решил заняться изучением своей родословной. Причём, занялся этим весьма серьёзно – вёл обширную переписку, ездил по разным странам, в поисках документов сидел в архивах Лиона и даже поехал в Украину, в Чернигов, где смог найти какие-то документы в музее и архиве. Он выяснил, что когда в 16-м веке инквизиция вынудила еврейскую ветвь семьи покинуть Лион, они двинулись на восток и после долгих странствий осели в старинном городке Чернигов, который в те времена входил в состав Литовского Княжества. Там они и жили последующие 350 лет, пока в начале 20 века не стали разлетаться по миру. Видимо из каких-то документов они знали, как в стародавние времена писалась их фамилия латинскими буквами, ибо те из них, кто осел в Европе, опять стали носить имя Fradin, а те, кто уехал в Америку, стали Fraden. Да и я сам, когда приехал в США в 1977 году, решил взять то же написание, что и у моей флоридской родни. Вот такая история с историей.

Десять дней пролетели незаметно, после чего я мог бы сказать словами в стиле «Тысячи и Одной Ночи»:

– На этом все Шахерзады закончили дозволенные им речи.

Яков Фрейдин до эмиграции жил в Свердловске. Он – кандидат технических наук, работал в НИИ и одновременно кинокорреспондентом на ТВ.

В США с 1977 года. Был исследователем в CWRU (университет в Кливленде) и ряде американских фирм, основал 4 компании и преподавал в Калифорнийском Университете. Автор более 90 научных статей, 60 изобретений и популярного учебника по датчикам. Автор книги (по-английски) «Приключения изобретателя – Adventures of an Inventor».

Публикует рассказы в русскоязычных изданиях и на интернет-порталах в Америке, Европе и России. В 2017 году в издательстве Hurricane Books выпустил на русском языке книгу «Степени приближения» (Невыдуманные истории). В том же году журнал «Чайка», выходящий в США в электронном варианте, назвал Якова Фрейдина лауреатом как самого читаемого автора.

Постоянный автор журнала «Времена».

Живёт в Южной Калифорнии.

Рассказы Якова Фрейдина можно прочитать на его веб-сайте: www.fraden.com

Евгений ЛЕСИН

КОРОНАВИРУСНОЕ

Не кашляйте в автобусе. Не то
На вас посмотрят, словно на иуду.
Кто с ужасом, кто с ненавистью, кто
С желанием – прикончить за простуду.
А также не чихайте. Если вы
Хоть чем-нибудь похожи на китайца
Наденьте маску в область головы,
Костюм наденьте – мартовского зайца.
И пусть на вас набросится орда
Безумных кровожадных контролеров,
В костюме зайца лучше, господа,
Чем трупом посреди родных просторов.
И не сморкайтесь. Ну его. Сопля
Пускай течет куда-нибудь пониже.
Зато вас не прирежут у кремля
В Неаполе, Ростове и Париже.
Болезь сейчас, товарищи, нельзя.
Носите нож, хотя бы и консервный.
Не кашляйте в автобусе, друзья,
Уж больно пассажир сегодня нервный.

* * *

Каждый день выходим на плато
Каждый день вот-вот и будет пик
Каждый день какое-то не то
Каждому – гламур успех и шик
Каждый день кому какое что
Нагасаки Дрезден и Пномпень
Каждый день выходим на плато

Каждый сука нахрен божий день
Ах какое множество программ
Да уже сожгите все леса
Как же хорошо по вечерам
По утрам и вовсе чудеса
Как же хорошо что мало пуль
Вырубить бы что ли топором
Если не погром тогда патруль
Если не патруль тогда погром
Если что-то где порой – не верь
Если что-то где не так – усни
Навезли мигрантов а теперь
Рады все особенно они
Ах кого-то грабят? Ну и пусть
Ах кого-то режут? Красота
Соблюдай молчи подохни грусть
Славься дорогая сволота

* * *

Какая все же странная весна.
Стоит пустая новая высотка.
Что может быть прекраснее вина?
Ну, разве только пиво или водка.

Что может быть прекраснее страны?
Любой страны, но лучше бы – России.
Что может быть прекраснее весны?
Весны без надоевшей пандемии.

Века уходят, воя и трубя.
Девчонки дурят головы мальчишкам.
Что может быть прекраснее тебя?
Лишь я, похоже. Да и то не слишком.

* * *

Хорошо бухать в кустах
И в присутственных местах.
А еще бухать приятно
На ответственных постах.
Хорошо сидеть в гостях,
Рассуждая о властях.
Скоро все подорожает,
Рассказали в новостях.
Хорошо, что мы больны,
Делу Партии верны.
Хорошо, что есть Поправки
В конституции страны.
Хорошо бухать в раю.
И у бездны на краю.
А еще бухать приятно,
Раздражая всю семью.
Хорошо, что всюду ад,
Выходите на парад.
Рот закрой – простудишь зубы,
В министерстве говорят.
Хорошо, что нас орда.
Вам туда, а вам сюда.
Адвокаты, прокуроры,
Зданье Страшного суда.
Хорошо, что мы бомонд.
Самогоночки, виконт?
А у вас коронавирус,
А у нас опять ремонт.
Хорошо с большим багром
Жить у бога за бугром.
Заходите в наше гетто,
Завтра будет здесь погром.

* * *

Мы выпьем за железное здоровье.
Танцуем наяву мы и во сне.
Гляди, благоухает Подмосковьё.
И падает преступность по стране.
Одна лишь рифма точная: папирус.
А прочие приходится искать.
Царь-колокол, царь-пушка и царь-вирус,
Как бог-отец, бог-сын и бога мать.
Никто не проявляет беспокойства,
Все под контролем, все ведь учтено.
Вокруг цветы и мир благоустройства.
С несчастьями покончено давно.
Начальства рейтинг очень сильно вырос,
А зло горит и плавится в огне.
Царь-колокол, царь-пушка и царь-вирус.
И голый Достоевский на коне.
Спокойна Русь, как танки на параде,
В канаве подло прячется ИГИЛ.
И мы летим в стремительным джихаде,
А Запад сам себя перехитрил.
Пойду-ка я куда-нибудь притырюсь
В уютном ресторане «Мавзолей».
«Царь-колокол», «Царь-пушка» и «Царь-вирус» –
Хорошие настойки? Так налей.

* * *

Гляжу в тоске на поколение:
Вставай, унылая, пора.
Давайте пить за обнуленьё
Того, что делали вчера.
Давайте пить за обнуленьё,
Давайте жить и процветать.
Не продается вдохновенье,
Но можно Родину продать.
Парад поправок, чет и нечет.
В пустыню чахлую влачусь.

А ну не трожь, коронанечисть,
Патриотизма нежных чувств.
Гони вредительскую серость
И нацпредательскую гнусь.
Не трожь меня, коронанерусь,
Не трожь меня, коронарусь.
А скоро власти кушать сласти
Нам запретят. Да ну и пусть.
Не трожь меня, коронасчастье,
Не трожь меня, коронагрусть.
Никто не дал нам избавленья.
Ни бог, ни царь и ни герой.
И только гиря обнуленья
Качала ржавой головой.
Ее пример другим наука,
А не коронабарахло.
Какая редкостная сука
Нам обнулила все бухло?

* * *

В Италию из плена два еврея
Брели, тоскуя, всяк был одинок.
Спасение, лекарство, панацея:
Чеснок и водка, водка и чеснок.
Комета приземляется Галлея.
«Восточит Запад, западит Восток».
Спасение, лекарство, панацея:
Чеснок и водка, водка и чеснок.
Не вся в цветах душистая аллея,
Зато сияет свадебный венок.
Спасение, лекарство, панацея:
Чеснок и водка, водка и чеснок.
Китай, Россия, лето, лорелея.
Кому пинок, ну а кому глоток.
Спасение, лекарство, панацея:
Чеснок и водка, водка и чеснок.
Какая прелесть Южная Корея.

Горит огнем коммерческий ларек.
Спасение, лекарство, панацея:
Чеснок и водка, водка и чеснок.
О как прекрасны руки брадобрея.
Да здравствует вселенский рагнарек.
Спасение, лекарство, панацея:
Чеснок и водка, водка и чеснок.
Ну, и т.д.

* * *

Течет куда-то Москва-река.
Летит пришелец инопланетный.
Летит пришелец издалека.
Поет и пляшет танцор балетный.
Лети, тарелка, и в счастье верь,
Пока стреляют не по тарелкам.
Закройте окна, закройте дверь.
Не говорите пришельцу: велкам.
У тех, кто в танке, конец один.
Мы в кинофильме не по билетам .
Земля закрыта на карантин.
Лети, пришелец, к другим планетам.

* * *

Давно уже захвачен пьедестал.
И все распределяется по квотам.
Мне говорят: подохни, либерал.
А либералы гонят к патриотам.
Гордятся от утра и до утра
Почетным званием русского поэта
Святые проповедники добра,
Хранители классического света.
А я без президента в голове
И без царя на знамени трехцветном,
Иду себе по городу Москве
И думаю о суетном и тщетном.
О том, куда кривая завезла,

О разном неприятном и немиллом,
О том, что я впервые жду тепла,
И яблоки впервые мою с мылом.

* * *

Как хорошо теперь морям и рекам,
Какой везде уютный чистый вид.
Сама планета бьется с человеком,
И, значит, безусловно, победит.
...А нам осталось гордое смирение.
Страна закрыта, все ушли в запой.
Поправки, карантин и обнуление.
И самоизоляция толпой.

* * *

Когда все же власти разгонят гестапо
В две тысячи, скажем, тридцатом году.
Все скажут: наш царь, наша душка и лапа,
Лох-несское чудо спасает в пруду.
Лох-несское чудо, оно голодало,
3000 девственниц нужно ему.
А нам, что ли, жалко? У нас их немало,
Бери сколько хочешь, восславим чуму.
Восславим победу над Наполеоном.
Он был нацпредатель, палач и говно.
Он был, как известно, китайским шпионом.
И лично расстреливал батьку Махно.
А царь наш и лично и средь аппарата –
Надежда, опора, кумир, эталон,
Великий султан, президент эмирата...
Кому на расстрел? Получите талон.
Кому кальвадос? Где текила и граппа?
Нет правды в России?..
А если найду?
А если возьмут и разгонят гестапо
В две тысячи, скажем, тридцатом году?

* * *

Революция? Куда там.
Коронация, банкет.
Царь стреляет по солдатам.
Царь сегодня людоед.
Людоед всяя державы.
Голь на выдумки хитра.
Вам отравы? Нам отравы
Прямо с царского двора.
Подытожим? Подытожим.
На войне как на войне.
Царь стреляет по прохожим,
Царь стреляет по стране.
Не антихрист и не леший,
Не какой-нибудь кощей.
Ну чего ты? Вешай, вешай,
Больше ада, тех же щей,
Больше выдумки и страсти.
Ярче праздника огни.
Раздавай народу сласти,
Вешай снова, не тяни.
Поздравляю всех причастных
К октябрю и к декабрю.
Если что, то я за красных.
Слава батюшке царю.

* * *

Поливаете землю не квасом,
Превращаете вовсе не в сад.
Непрожаренным пушечным мясом
Офицеры считают солдат.
Офицеры сидят в ресторане,
Ищут правды вблизи фонаря:
Подожгут ли усадьбу крестьяне
Или жизнь отдадут за царя?
Самовластие, скрепы, нарядность.
Наше дело и наша вина.

За бессмысленность и беспощадность
На плацу раздают ордена.
Азиатчина и византийство,
Не прорубишь в Европу мосты.
Да какое там царубийство?
Всюду виселицы и кресты.
Всеотзывчивость или всеядность,
За любое начальство горой.
Самовластие, скрепы, нарядность.
Беспощадный, бессмысленный строй.
Бесполезны любые усилия,
До чего же тепло в январе.
Офицеры, солдаты, Россия.
И повешенный на фонаре.

* * *

Не открывай дверь,
Чувствуешь запах серы?
Рвется к тебе не зверь,
А человек веры.
Верующий человек.
Верующий глубоко.
XXI век.
Стреляют не в молоко.
А во славу идей.
Душно в кровавой бане.
Стреляют в живых людей
Правоверные марсиане.
Стреляют, не убежим.
Выстрел и есть молитва.
Не открывай чужим.
Врет гнилая элита.
Не слушай подлую херь,
Пускай зовут ксенофобом.
Не открывай дверь,
Черти идут за гробом.
Черти стремятся в рай,

Верят своему богу.
Двери не открывай,
Чужие рвутся к порогу.
В любом отделе особом
У них длинные руки.
Пускай зовут ксенофобом
Толерантные суки.
Не проси, не слушай, не верь.
Может, поможет прыть.
Не открывай дверь:
Чужие пришли убить.

* * *

Опять объелся мармеладом.
И сразу – бешеный понос.
Теперь командовать парадом
Я не смогу – говно вопрос.
А Сталин был транссексуалом,
Как уверяют леваки.
И феминисткой с крепким жалом,
И негром с вывихом руки.
Точней, конечно, чернокожим,
Хоть и кавказцем тоже был.
Любой мечтает быть похожим
На жертву бешеных кобыл.
Содомский грех и грех Онана
Уж не грехи, ведь жизнь борьба.
Седые скулы океана
И водосточная труба
Нам не дают покоя, братцы,
Зато красивы, как гробы.
Внесите в Думу или в святцы,
И выносите из избы.
Генсек ООН обеспокоен,
Пошли протесты по стране.
Купите, граждане, биткоин.
Подайте милостыню мне

* * *

Сними бюстгальтер, сними колготки.
За тех, кто в море идет ко дну.
Давайте выпьем бутылку водки.
А после выпьем еще одну.

За воздержанье, за ясность мысли,
Давай за трезвость, за тихий Дон
Налей, солдатик, пока не скисли
Коньяк армянский и самогон.

Сними колготки, сними бюстгальтер,
Пока к ответу нас не зовут.
Гуляй, мишпуха, в таком гевалте
Не пропадает ударный труд.

Давайте выпьем, а девка задом
Костлявым вертит пускай вокруг.
Что было раем, то станет адом,
Где стол был полон, теперь каюк.

Гуляй, рванина, пляши, свинина,
Давайте выпьем за целибат.
Во дни разгула везде малина,
Во дни сомнений везде разврат.

Какие сутки, какие глотки,
Держись покрепче своих корней.
Продай бюстгальтер, купи колготки,
Сними усталость, гони коней.

Налей, солдатик, нам из мензурки,
Сними повязки, сними бинты.
Налево турки, направо жмурки,
Повсюду урки, везде менты.

Кричали утки, тонули лодки,
А подсудимый признал вину.
Давайте выпьем бутылку водки.
А после выпьем еще одну.

* * *

Горят в моем Овраге фонари.
Там раньше были яблони и груши.
Начальство не желает бить баклуши,
И гадит от зари и до зари.

Весна, Россия, родина, бардак,
И пусто на скучающем перроне.
В унылом нескончаемом вагоне
Я проезжаю станцию «Спартак».

Дистанцию держите – говорят.
В Москва-реку впадает речка Сходня.
Ее почти не трогают сегодня.
А в остальном разруха и джихад.

А в остальном ни мира, ни войны,
И нету сил надеяться и злиться.
Тоскует карантинная столица,
И видит перестроечные сны.

Евгений Лесин – российский поэт, критик, журналист. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького.

С 1995 года работал в газете «Книжное обозрение», с 2002 года – в «Независимой газете». Ответственный редактор литературного приложения к «Независимой газете» «НГ Ex libris».

Член Союза писателей Москвы, Русского Пен-клуба, Московского городского отделения Союза писателей России, редколлегии литературно-художественного журнала «Юность».

Выпустил более десяти книг. Лауреат различных литературных премий.

Лорен ГРЭХЕМ

МОСКОВСКИЕ ВСТРЕЧИ

Главы из книги

Перевод с английского Самсона Кацмана и Семена Резника

ОТ ПЕРЕВОДЧИКОВ

Лорен Грэхем, профессор истории Гарвардского университета и Массачусеттского технологического института, – один из ведущих на Западе специалистов по советской (российской) науке и технике. Историю ее он изучает более пятидесяти лет.

В начале 1960-х годов, когда впервые была создана программа обмена студентами между СССР и США, Лорен Грэхем приехал в Москву и стал аспирантом МГУ. Жил в университетском общежитии, так что советскую действительность он не только изучал со стороны, но и находился в ней.

В последующие годы он часто приезжал в Советский Союз, долгу работал в библиотеках и архивах, поддерживал контакты со старыми друзьями, обзаводился новыми. Он автор большого числа публикаций, включая капитальные исследования, вышедшие отдельными книгами.

Особое место в творчестве Лорена Грэхема занимает книга «Московские истории» («Moscow Stories»). По содержанию это мемуары, а по жанру – художественное произведение. Каждая «история» – это законченный рассказ, написанный в лучших традициях классической прозы. Рассказы населены живыми характерами, полны неожиданных поворотов сюжета, по стилю некоторые главы напоминают рассказы Чехова, другие – Зощенко.

В числе персонажей такие известные личности, как академик Пётр Капица и его сын Сергей Капица, печально знаменитый ака-

демик Лысенко, выдающийся зоолог и эколог, общественный и государственный деятель Николай Воронцов, «архитектор гласности» Александр Яковлев, президент Михаил Горбачёв, врач кремлёвской больницы Горбунов, многие другие.

Конечно, главным персонажем книги оказывается сам автор – американец, который живёт среди своих русских друзей, наблюдает, анализирует, сопоставляет. И учится... Книга не случайно открывается посвящением: «Моим друзьям в России, которые столь многому научили меня».

В книге пять частей, 23 главы. Завершается она справочным аппаратом: краткие биографические справки о наиболее видных персонажах, библиографические ссылки, именной указатель.

Вниманию читателей предлагаются главы 20 и 21 из книги «Московские истории». Поскольку главным персонажем этих двух глав, кроме автора, является профессор Н.Н. Воронцов, то публикацию открывает биографическая справка об этом крупном учёном.

Николай Николаевич Воронцов (1934-2000).

Выдающийся советский российский зоолог и биолог-эволюционист, ставший государственным деятелем. Он был членом Совета Министров последнего советского правительства – единственным за всю историю СССР министром, не состоявшим в Коммунистической партии. Он был последовательным сторонником реформ и демократических преобразований.

Николай Николаевич Воронцов родился 1 января 1934 года. В 1955 году с отличием окончил биологический факультет Московского университета по кафедре Зоология позвоночных. То были годы лысенковщины, когда генетика в Советском Союзе подвергалась жестоким преследованиям (чему посвящено несколько глав этой книги). Воронцов вместе со своими коллегами и женой Еленой Ляпуновой, тоже биологом, активно боролись против лженаучных теорий Т.Д. Лысенко. С 1955-го по 1963-й год он работал в зоологическом институте Академии Наук СССР в Ленинграде. В 1964 году он переехал в Новосибирск и до 1971-го года работал в Институте цитологии и генетики Сибирского отделения АН СССР. Здесь, в отдалении от центра страны, учёным-генетикам удавалось, с некоторыми ограничениями, продолжать работу в рамках классической генетики.

С 1971 по 1977 год Воронцов был директором Биолого-почвенного института Дальневосточного отделения Академии Наук во Владивостоке. Должен был уйти с поста директора, так как отказался вступить в КПСС. После 13 лет работы в Сибири он вернулся в Москву, где стал старшим научным сотрудником в Институте биологии развития им. Н.К. Кольцова.

В 1989 году его избирают депутатом Верховного Совета СССР. В законодательные органы он избирался четыре раза – в период распада Советского Союза и приобретения Российской Федерацией статуса независимого государства. Воронцов был председателем подкомитета по науке и оказывал большое влияние на принятие законов, касающихся науки.

В 1989 году Михаил Горбачёв назначил Воронцова на пост Министра природопользования и охраны окружающей среды. Так, впервые в истории СССР членом правительства стал беспартийный.

Воронцов прикладывает огромные усилия к тому, чтобы широкая общественность была хорошо информирована об экологических проблемах в стране. Его министерство стало публиковать подробные годовые отчёты о состоянии окружающей среды. Благодаря усилиям Воронцова удалось значительно расширить площади природоохранных заповедников в Советском Союзе.

В августе 1991 года, когда ГКЧП предпринял попытку прокоммунистического переворота, Воронцов был единственным членом Совета Министров СССР, который выступил на стороне Бориса Ельцина против сил, стремившихся реставрировать коммунистический режим. Он отправился в казармы и призывал солдат выступить на защиту демократии. Он был среди тех, кто при осаде Белого Дома стоял на танке рядом с Ельциным. Этот акт беспримерного мужества запечатлён на фотографиях и в видеороликах, телерепортажи об этих событиях разошлись по всему миру. Если бы путчисты взяли верх, все, кто стоял рядом с Ельциным, включая Воронцова, оказались бы в тюрьме. Но путч провалился, и Воронцов продолжил свою деятельность в российском парламенте (Государственной Думе), депутатом которого он был с 1991-го по 1996-ой год.

Николай Николаевич активно выступал против испытаний атомного оружия в атмосфере, не только советского, но и всех ядерных держав. В марте 1992 года он принял участие в протестной экс-

педиции «Гринпис» на корабле «Рейнбоу» (Rainbow) в район французского ядерного полигона на атолле Муруроа в Океании. Был арестован и депортирован французскими властями. Занимался Воронцов и историей науки. В соавторстве с Н.В. Тимофеевым-Ресовским и А.В. Яблоковым им была написана книга по истории эволюционной теории, выдержавшая несколько изданий.

Николай Николаевич Воронцов умер 3-го марта 2000-го года. О его похоронах рассказано в этой книге.



Н.Н. Воронцов(слева) и Лорен Грэхем

ДВОЙНОЙ КОЛЛАПС: Я И СОВЕТСКИЙ СОЮЗ

В начале декабря 1991 года я приехал в Москву для работы в советских архивах. Они стали настолько открытыми для иностранцев, что ничего подобного раньше нельзя было вообразить. «Нерушимый» Советский Союз был при последнем издыхании, хотя того, что он при мне окончательно рухнет вместе с правительством Горбачёва, я не подозревал.

Предметом моих изысканий были «чистки» в рядах советских инженеров в конце 1920-х годов. Документальные материалы по этой теме я собирал несколько десятилетий. В особенности меня привле-

кала жизнь и судьба Петра Пальчинского, обвинённого в создании контрреволюционной «Промпартии» и казнённого Сталиным в 1929 году. То, что я уже знал о Пальчинском, привело меня к мысли, что истинная причина расправы над этим талантливым инженером была иной. Пальчинский искренне верил в социализм и предложил такую программу индустриализации, которая, в первую очередь, служила бы интересам рабочих. Для Сталина, стремившегося сосредоточить в своих руках всю полноту власти и поднять военную мощь страны, не считаясь с тем, как это отразится на положении масс, Пальчинский стал преградой. Приехав в Москву, я, наконец, получил доступ к ранее недоступным архивным материалам, которые затем стали основой моей книги «Призрак казнённого инженера».

Хотя моя поездка носила частный характер (за мой собственный счёт), Академия наук СССР любезно пригласила меня остановиться в её пансионате, в районе с весёлым названием Нескучное – на московской окраине, в обширной парковой зоне. До революции это было богатое поместье знатного дворянина. Оно и стало санаторием-курортом для действительных членов Академии наук СССР, то есть нового советского дворянства. Академическая гостиница располагалась на краю заваленного снегом бывшего имения. Здание было чистым и современным, но обслуживание более чем скромным. В первые несколько вечеров я был единственным посетителем столовой, и в меню было лишь одно основное блюдо. Однако, оно была хорошо приготовлено, даже вкусно, и кроме того, можно было заказать даже салат из зелени, чего никогда не было в обычных советских отелях.

Нелегко было заставить себя работать в архивах, когда на улицах города всё бурлило. Группировки разных политических направлений устраивали митинги, киоски были завалены всевозможной литературой, ещё недавно строго запретной, – от монархических и неофашистских листовок на правом фланге политического спектра до анархистских и неомарксистских на левом. И порнография, тоже строго запретная, теперь была всюду. После десятилетий советского пуританства спрос на всё, связанное с сексом, был огромным, и такая продукция была повсюду, её поставляли разные недавно возникшие издания, хотя и незаконные, но процветавшие.

В одном месте женщина поставила столик и продавала лежавшие в двух стопках фотографии. Перед одной из стопок выстроилась

длинная очередь женщин, перед другой – мужчин. Женщины терпеливо ждали своей очереди, чтобы купить фотографии обнажённых мужчин, снятых в эффектных ракурсах, а мужчины выстроились в очередь за фотографиями обнажённых женщин, снятых в такой же манере. Бизнес кипел. По современным представлениям, эти снимки не были порнографией, скорее, обнажённой натурой.

Незадолго до вылета из США у меня возникли некоторые проблемы со здоровьем, но они показались незначительными. Периодически по моему лицу прокатывались спазматические боли. Боль простреливала нос сверху донизу, затем переходила на щёку. Мой доктор в Массачусетском технологическом институте в Кембридже, к которому я обратился, диагностировал «невралгию тройничного нерва», то есть воспаление лицевого нерва, а по-французски «*tic douloureux*». Он сказал, боль временами может быть очень сильной, но эта болезнь неопасная, со временем пройдёт сама по себе. Он прописал мне обезболивающие таблетки, сказав, что они помогут мне жить и работать в привычном режиме.

В течение первых примерно десяти дней работы в московских архивах я стал замечать, что приступы боли случаются всё чаще, но таблетки всё ещё помогали. Я приехал на короткий период между семестрами, когда я мог не быть в Кембридже, и старался как можно больше успеть. Боль обычно накатывала утром, я принимал таблетку и был избавлен от неё в течение всего дня.

А плоды моих архивных разысканий были поистине впечатляющими. В 1929 году, при аресте Пальчинского, органы ОГПУ произвели обыск и изъяли все его личные бумаги и письма, которые затем поступили в архив. Более шестидесяти лет они были недоступны, и вот теперь я знакомился с ними – с максимально возможной быстротой, которая была ограничена строгими архивными правилами, позволявшими заказывать в читальный зал не более десяти папок (единиц хранения) в день. Предостережения Пальчинского о том, что затеянная властью индустриализация приведёт к катастрофическим последствиям, были пророческими. Вместо всех благ, обещанных Революцией для трудящихся масс, она вела к ещё большей их эксплуатации и деградации. Ударные темпы и бесхозяйственность вели к экологическим катастрофам и нерентабельности промышленных предприятий.

В архивном фонде Пальчинского были не только его официальные доклады и критические заметки, но и личная переписка с женой и друзьями. Из писем было видно, что, хотя Пальчинский был в оппозиции к Сталину, он оставался убеждённым социалистом и наивно верил, что русская революция – это начало новой эры в истории человечества. Новая эра, по его представлениям, принесёт не только иные социальные и экономические отношения, но преобразует личные качества людей, в корне изменит отношения между полами. Пётр и Нина Пальчинские восстали против «буржуазных нравов». Они откровенно писали друг другу о своих любовных связях. Нина писала своему мужу, что совместное служение обществу, честность друг перед другом, духовная близость гораздо важнее таких предрассудков, как супружеская верность. Эти письма были, конечно, куда интереснее официальных протоколов, доступ к которым у меня был и раньше.

Однажды ранним утром, через полторы недели после начала моих архивных поисков, я проснулся от мучительной боли в лице. На этот раз не помогли и таблетки. Следовало тут же обратиться за помощью, но я побоялся, так как знал, какой хаос царил в советской медицине, как, впрочем, и в других учреждениях распадавшейся страны. Об ужасах, случавшихся с пациентами в больницах, часто писали в газетах. К тому же прежние приступы моей болезни проходили, так что я полгал, что и на сей этот раз как-нибудь обойдётся.

В общем, я оттягивал обращение за медицинской помощью, и через некоторое время боль довела меня до коматозного состояния. Я терял сознание, приходил в себя, снова терял и совершенно утратил ощущение времени. (Позднее оказалось, что я находился в таком состоянии больше двух дней). Когда мне понадобилось пойти в туалет, то я обнаружил, что дойти до него не могу – только доползти. У раковины я смог кое-как подняться, и то, что увидел в зеркале, меня ужаснуло. Всё лицо было перекошено. Я попытался выпить воды из-под крана, но безуспешно: челюсти были скованы, рот не открывался. К счастью я вспомнил, что Пэт положила мне в чемодан несколько пластиковых соломинок (как она могла предвидеть то, что со мной случилось?!). Я дополз до чемодана и достал одну из них. Вернувшись в ванную, я включил воду и, зажав соломинку губами и уперев её в зубы, попытался поймать льющуюся струю. Перевешиваясь торсом

через бортик ванны, я смог с большим трудом всосать немного воды. Таким же способом я утолял жажду и в следующие дни.

Лёжа на кровати, я словно плыл в тумане то уходящего, то возвращавшегося сознания. Боль временами становилась такой мучительной, что ничего подобного я прежде никогда не испытывал. Казалось, что наступает агония, чтобы её преодолеть, требовались титанические усилия. Я занимался психотерапией: когда боль достигла своего апогея, я пытался представить себе ещё более сильную боль, тогда то, что я испытывал, казалось менее невыносимым. Какое-то время это помогало, но затем боль сокрушала мою психологическую защиту, я терял сознание. Когда приходил в себя, меня вновь накрывала волна невыносимой боли. Горячий пот сменялся дрожью от холода.

Постепенно я стал сознавать то, что должен был понять много раньше: если никто не придёт мне на помощь, то я, скорее всего, умру в этом гостиничном номере. Дождавшись момента, когда боль была менее сильной, я решил попытаться связаться с кем-нибудь по телефону, но опасался, что парализованная челюсть и судороги в горле не позволят ничего сказать. Я спустился с кровати и подполз к столу, на котором стоял телефон. Приподнявшись на коленях и дотянувшись до телефонного аппарата, я набрал номер Антона Стручкова, молодого историка науки, с которым я познакомился и сразу же подружился всего несколько дней назад. Я говорил ему, что не очень хорошо себя чувствую.

Узнав голос Антона, отозвавшегося на мой звонок, я отчаянно попытался заговорить. Моя челюсть всё ещё была недвижима, и горло меня не слушалось, но, собрав в кулак всю свою волю, я сумел прохрипеть в телефон гортанный звук «ааргх», что ровно ничего не значило и могло только напугать всякого, кто его услышал. Ответом было долгое молчание. Но Антон не повесил трубку, как мне сперва показалось, он просто ничего не сказал. Через мгновение я повторил хрипение и снова ничего не услышал в ответ. Затем, после паузы, которая показалась мне бесконечной, он спросил по-русски: «Лорен, это вы?» Я ещё раз повторил своё хрюканье. Антон снова помедлил, а затем сказал: «Лорен, если это действительно вы, то не могли бы вы повторить этот звук дважды?» Я собрал все свои силы, поднёс телефон ко рту и издал два «ааргх», один за другим. Затем Антон быстро

спросил: «Лорен, если вы в своей гостинице и хотите, чтобы я к вам приехал, не могли бы вы сделать это ещё раз?» Я снова издал свой хрип и успел услышать слова Антона: «Я выезжаю!»

Я бросил телефонную трубку и рухнул в кровать. Затем, боясь, что Антон приедет, а я буду в обмороке и не смогу его впустить, я подполз к входной двери и открыл её. С огромным трудом дополз обратно до кровати и потерял сознание.

Машины у Антона не было, а жил он на противоположной окраине Москвы. Он достал из шкафа, где у него хранился неприкосновенный запас «золотой валюты», то есть несколько бутылок водки, взял одну из них и постучал к своему соседу, у которого был старенький, выдавший виды оранжевый «Запорожец», дымивший и кашлявший всеми тремя цилиндрами. За бутылку водки сосед согласился принять участие в операции по спасению, и они поехали ко мне в гостиницу.

Придя в себя после очередной потери сознания, я услышал телефонные звонки. Прежде чем я успел к подползти к телефону, послышались шаги за дверью, и на пороге появился Антон со своим спутником. По ужасу на его лице я понял, что моё лицо перекошено, как тогда, когда я сам увидел себя в зеркало.

Я указал на всё ещё звонивший телефон, Антон подошёл и снял трубку. Звонил Николай Николаевич Воронцов, министр природопользования и охраны окружающей среды СССР. Область исследований Антона – история науки об окружающей среде. Он, конечно, хорошо знал, кто такой Воронцов, но никогда с ним не встречался, и был впечатлён тем, что говорит с членом правительства. Пока говорил по телефону, он обводил взглядом мой сумрачный гостиничный номер, постепенно осознавая, в каком плачевном состоянии я нахожусь. В номере царил беспорядок: раскиданная помятая одежда, открытые бутылочки с лекарствами, разбросанные по столу таблетки.

Воронцов, мой давний друг, сказал Антону, что говорил со мной примерно неделю назад, приглашал навестить его и жену на их подмосковной правительственной даче, на что я сказал, что вряд ли смогу приехать, так как плохо себя чувствую, но обещал позвонить ему через несколько дней. Не дождавшись моего звонка, Николай Николаевич забеспокоился и решил узнать, всё ли у меня в порядке.

Антон, который ещё не до конца оценил ситуацию, ответил, что я выгляжу частично парализованным и не могу говорить. «Отправляйтесь с ним в Кремлёвскую больницу, – тотчас скомандовал Воронцов. – Я вызову скорую помощь. Сопровождайте его до тех пор, пока он не будет в безопасности под контролем врачей. Потом позвоните мне и доложите ситуацию».

Через пятнадцать минут карета Кремлёвской скорой помощи, микроавтобус «Мерседес-Бенц» с бригадой из двух врачей и двух медсестёр, подъехала к гостинице. Её появление у подъезда, оглашаемое воем сирены, ярко-красных проблесков маячков и надпись «Кремлёвская больница» взбудоражило персонал гостиницы. Все сбежали, работников скорой помощи тотчас привели ко мне в номер.

Антон рассказал врачам, что у меня челюсть парализована, я периодически теряю сознание, не могу говорить. Меня быстро осмотрели, один из врачей раскрыл чёрную сумку и окунул тампон в бутылку с какой-то жидкостью. Этим тампоном мне протёрли полость рта и челюсть. По немедленному эффекту я понял, что это был либо кодеин, либо морфин. Боль, которая буквально уничтожала меня, исчезла, челюсть расслабилась, внезапно я почувствовал себя даже не хорошо, а просто великолепно. Скоро я уже шутил с врачами, наслаждаясь происшедшей со мной переменой и пытаюсь представить себе, что такое эта Кремлёвская больница.

Медсестры уложили меня на носилки, вся команда спустилась к машине скорой, меня погрузили и тотчас отправилась в путь. В Москве центральные полосы на уличных магистралях зарезервированы для милиции, скорой помощи и автомобилей с «мигалками». Мы мчались по центральной полосе со скоростью, видимо, больше 100 миль в час. Антон и его друг следовали за нами в том же маленьком «Запорожце». Водитель выжимал педаль газа до самого пола, и все три цилиндра напрягались до предела, чтобы угнаться за удалявшейся каретой кремлёвской скорой помощи. Я крикнул водителю, что в «Запорожце» за нами следуют мои друзья, и я очень надеюсь, что они не потеряются.

Кремлёвская больница была частью большой сети учреждений, созданных специально для высшего руководства СССР. В эту сеть входили специальные продуктовые магазины, сапожные мастерские, санатории, магазины одежды и множество других объектов. Медицинское

обслуживание элиты находилось в ведении специального подразделения Министерства здравоохранения, так называемого Четвёртого главного управления. Сначала клиника для руководства располагалась в самом Кремле. Став слишком тесной для растущего персонала высшей элиты, она переместилась за его стены, но сохранила название Кремлёвской больницы. В конце двадцатых годов было выстроено здание на углу проспекта Калинина и улицы Грановского. Позднее, в многоквартирных домах, где жили высокопоставленные правительственные чиновники, расположились небольшие поликлиники. (Как, например, в «Доме правительства» на набережной Москвы-реки на Всесвятской улице, переименованной в улицу Серафимовича). В 1978 году Кремлёвская больница открыла большой комплекс, известный как «Московский клинический центр» на Мичуринском проспекте, 6, недалеко от Московского университета и, что самое важное, недалеко от особняков высшей кремлёвской элиты на набережной Москвы-реки, на улице Косыгина. Это новое заведение располагалось так близко к особнякам высшего руководства партии и правительства, что они могли быть доставлены в больницу за пять минут.

Больничным комплексом состоял из нескольких зданий, очень напоминавших университетский городок, окружённый высокой кирпичной стеной. Внутри современные хирургические и терапевтические отделения. В эту самую лучшую и современную больницу в Советском Союзе меня и доставили. Въезд преграждали гигантские металлические ворота. Рядом с ними сторожевая будка с охраной в форме кремлёвской милиции. Скорая помощь остановилась перед воротами, и они сразу стали открываться. Как только машина въехала, Антон и его друг, мчавшиеся сзади, въехали след за нами. Но охранник приказал «Запорожцу» остановиться. Он сказал Антону, что въезд частных автомобилей на территорию Кремлёвской больницы запрещён. Заметив, что наша машина тоже остановилась, Антон выскочил из «Запорожца» и подбежал к водителю скорой, чтобы тот попросил охранника позволить им проехать. Водитель ответил: «Они ни за что не пропустят вашу машину, подсаживайтесь к нам, и вы подъедете вместе со всеми». Антон так и сделал, и теперь в машине скорой помощи нас было семеро – два доктора, две медсестры, водитель, Антон и я.

Меня вкатили в палату на носилках в сопровождении всей бри-

гады. Антон загляделся на роскошное убранство палаты: восточные ковры, люстра, паркетный пол. Никто, похоже, не ставил под сомнение его право быть здесь. В палате меня ожидали ещё два доктора и несколько медсестёр. Я сказал врачам, что чувствую себя хорошо, могу ходить, и тут же соскочил с носилок. Врачи потребовали, чтобы я немедленно лёг. Медсестры сняли с меня одежду, надели довольно элегантный больничный халат и заставили лечь в кровать. Лечащий врач расспросил меня, врачей скорой помощи и Антона о моём состоянии, дал мне пару больших таблеток снотворного, снова протёр мне рот чудесным эликсиром и велел всем, кроме одной медсестры, выйти.

Я проснулся через несколько часов, когда медсестра вошла в комнату. Находясь в относительно стабильном состоянии, я сразу заметил, что это одна из самых красивых женщин, каких я когда-либо видел. Похоже, что когда кремлёвские вожди оборудовали и комплектовали свою больницу, они требовали всего самого лучшего.

Медсестра сказала, что пришла «проверить мои жизненные показатели». Она сама была прекрасным стимулом для жизненных показателей! Взяв меня за руку, она измерила пульс, а затем кровяное давление, которое оказалось очень высоким. Я сказал, что страдаю от «перепадов кровяного давления», оно у меня сильно варьируется, и что в других обстоятельствах моё давление было бы значительно ниже. Сознательная ли она, что лишь своим присутствием может спровоцировать подскок кровяного давления, или нет, но мне она сказала: «Скоро к вам придёт доктор Горбунов и повторно измерит давление». Она также сказала, что должна взять у меня кровь на анализ. Я знал, что в российских больницах повторно используют одни и те же иглы, и это служит источником распространения болезней. Я сказал, что не хочу, чтобы у меня брали кровь на анализ. Немного обидевшись, она спросила: «Почему нет?» Прежде чем я успел ответить, она продолжила: «Я знаю почему. Вы боитесь, что мы заразим вас СПИДом, не так ли?» Я признался, что такая мысль пришла мне в голову. На это она твёрдо и с гордостью объявила: «Это Кремлёвская больница. Мы используем только лучшие французские одноразовые иглы». Она открыла пластиковый футляр с несколькими такими иглами, каждая в отдельной целлофановой упаковке. Перед лицом таких неотразимых аргументов я смягчился, она взяла образец крови и ушла.

Вскоре в палату пришёл доктор Горбунов, несколько полноватый человек властного вида. Он сказал, что изучил историю моей болезни и намерен провести со мной «терапию», а прежде всего хотел бы измерить кровяное давление. Оно оказалось лишь слегка повышенным, близким к нормальному. Доктор Горбунов улыбнулся, попросил меня повернуться, открыл заднюю часть моего халата и начал долгий процесс втыкания акупунктурных игл. «Господи, – подумал я, – а что, если для акупунктуры он не использует одноразовые иглы?» Но возражать уже было поздно, да и не был доктор Горбунов похож на человека, который обратил бы внимание на мои возражения.

Я решил начать разговор издалека и заметил, что у него такая же фамилия, как у личного секретаря Ленина, который работал в Кремле в 1920-е годы. Не родственник ли он ему? «Да, конечно, – ответил доктор Горбунов, – все члены моей семьи были очень высокообразованными людьми и занимали важные должности. Человек, о котором вы говорите, Николай Горбунов, получил образование инженера-химика и был личным секретарем Владимира Ильича Ленина». Я не сказал доктору Горбунову, что мне известна дальнейшая судьба его родственника, уничтоженного в 1938 году во время Большого Террора. Он вкалывал иглы в мою спину, и я не хотел напрягать его столь неприятным напоминанием. По той же причине я не стал напоминать ему о том, что в 1953 году Сталин намеревался вычистить всех врачей кремлёвской больницы, якобы устроивших заговор против него.

Тем временем доктор продолжал свою просветительскую лекцию. «Как кремлёвский врач, я лечил самых важных людей в нашей стране», – говорил он с заметной гордостью. «Здесь вы получите лучшую медицинскую помощь в мире. Мы, кремлёвские врачи, гораздо более универсальны и методичны, чем врачи на Западе. Ваши врачи знают, как делать только две вещи – выписывать лекарство и резать. В этом они большие мастера, но у них нет индивидуального подхода к организму пациента в целом, как это практикуется у нас. Например, сейчас я делаю вам иглоукалывание, а затем натру вашу спину специальным лосьоном. У вас проблема с нервной системой, и я знаю, как её лечить».

Он провозился с иглами около двадцати минут. Лечение не было болезненным и, очевидно, применялось им систематически; для меня это было в новинку. Затем доктор Горбунов вынул иглы и начал на-

тирать спину. В нос ударил странный и резкий запах лосьона. Когда я спросил, что это такое, доктор Горбунов ответил, что это «пчелиный яд», который успокаивает нервы. Он втирал лосьон очень умело, было видно, что для него это привычная процедура. Так он проработал ещё минут пятнадцать, а затем сказал, что уходит, но если у меня возникнут проблемы, я должен сказать медсестре, она ему позвонит.

Когда он ушёл, я осмотрел себя, вытянул ноги и руки и попытался почувствовать мою спину, которая была столь тщательно обработана. Казалось, всё было в порядке. Я действительно чувствовал себя прекрасно и был до безумия голоден, так как несколько дней ничего не ел. Я решил встать и осмотреть помещение. Комната была очень большой, в ней был письменный стол, телефон, на столе стояла ваза со свежими цветами. Туалетная комната была тоже очень просторна, в ней было биде и джакузи. Я вышел в коридор и пошёл по нему, заглядывая в соседние палаты. В них никого не было. Тогда как обычные московские больницы были переполнены, порой по двенадцать и больше человек в палате, Кремлёвка была практически пуста. Причем, она была превосходно оборудована и очень чиста, в отличие от большинства российских больниц. Мне приходилось навещать моих русских друзей в обычных больницах, в числе других моего несчастного друга Виталия¹, так что я хорошо знал об их плачевном состоянии. В конце коридора был стол, за ним, спиной ко мне, сидела медсестра. Не желая её беспокоить, я молча вернулся в свою палату.

Вскоре в ней появилась другая женщина, она принесла меню. Она сказала, что в Кремлёвке пациенты могут заказывать любые блюда, какие пожелают. Просматривая меню, я увидел, что оно куда более разнообразно, чем в любом российском отеле, где мне приходилось останавливаться. Были даже французские вина. Я заказал цыплёнка-табака, зелёный салат и белое вино. Чувствовал я себя превосходно. Боли не возвращались.

Я пробыл в больнице ещё три дня, наслаждаясь прекрасным обслуживанием, какого никогда раньше иметь не приходилось. Боль ушла и больше не возвращалась, смазывания полости рта тампоном были прекращены. Приходила мысль, что, может быть, доктор Горбунов дей-

¹ Другу Лорена Грэхэма по общежитию МГУ Виталию посвящена глава 7 книги «Московские встречи». (Прим. переводчиков)

ствительно что-то починил в моём организме своим иглоукальзыванием и пчелиным ядом. На четвёртый день я сказал медсестре, что выздоровел и хочу выписаться. Она ответила, что об этом мне надо говорить с «главным администратором», которого она направит ко мне.

«Главным администратором» оказалась очень вежливая и вроде бы вполне компетентная женщина. «Почему вы хотите выписываться? – спросила она. – Вы не удовлетворены нашим лечением?» Я ответил, что, напротив, я очень доволен лечением, но я приехал в Москву работать в архивах, и мне надо вернуться к своей работе. «Хорошо, – сказала администратор, – почему бы вам не уходить каждое утро в ваши архивы, а вечером возвращаться сюда, чтобы оставаться под медицинским контролем?» Я был очень тронут, но у меня возникло подозрение относительно причин такой щедрости.

«Кто оплачивает это лечение?», – спросил я. «Вы, – ответила она, после чего разъяснила всю ситуацию. – Вы первый частный пациент в Кремлёвской больнице. Сейчас у нас в стране всё меняется, и многие высказывают недовольство тем, что у руководства есть особые привилегии в виде закрытых распределителей и своей особой системой медицинского обслуживания. Мы здесь, в Кремлёвской больнице, решили, что больше не можем обслуживать исключительно политическое руководство страны, а должны открыть двери для публики. Но мы опасаемся, что если сразу же это сделаем, то нас захлестнут толпы пациентов, которым нужна медицинская помощь. Мы решили это делать постепенно, начав с нескольких иностранцев, которые могут платить в твёрдой валюте. Вы первый такой пациент, мы делаем всё возможное, чтобы вам было комфортно, как дома. Почему бы вам не остаться у нас подольше?» Я ответил, что цену их гостеприимство и чуткое отношение, но мне нужно знать, каков будет счёт за лечение. Может быть, у меня не хватит денег, чтобы расплатиться.

«О, я уверена, что мы этоотрегулируем, – весело ответила она. – Мы обратились в American Express, чтобы можно было расплачиваться с нами по их кредитным карточкам. У вас есть такая карточка?» Я признал, что у меня есть кредитная карточка American Express, но добавил, что это не решает проблемы, так как в конце концов мне придётся платить из собственного кармана. Я мысленно представил себе счёт на тысячи долларов. Может ли она дать мне счёт за уже оказанные услуги? Она взяла счёты и задумалась. «Та-а-к... Доставка к

нам на машине скорой помощи... еда и вино ... лечение и лекарства». Она щёлкала на счетах, а моё беспокойство росло. Наконец, она сообщила: «На текущий момент ваш счёт составляет двести семь долларов и пятьдесят центов».

Четыре дня в Кремлёвской больнице стоили меньше одного дня в хорошем отеле! И питание было включено! Почему бы мне так и не остаться в Кремлёвской больнице! «Конечно, вы понимаете, – добавила она, – что вы наш первый частный пациент, так что у нас ещё не выработан твердый тарифный план. Нам нужно проконсультироваться с больницами на Западе, чтобы выяснить, сколько они берут».

Мне стало ясно, что у них нет ни малейшего представления о реальной стоимости больничных услуг. За всю предыдущую историю Кремлёвки всё оплачивалось правительством, финансовые счета для пациентов никогда не заводились. Даже в коммерческом секторе экономики все цены устанавливались властями, а не определялись рынком, никто не знал, что сколько стоит на самом деле. Рассказывали, как Сталин, в 30-е, годы, просматривая список цен на продукты, заметил, что цена за килограмм муки была выше, чем за килограмм сахара. Он поменял местами эти две цены, заметив: «все знают, что сахар дороже муки».

Я счёл за благо ретироваться. Хотя мысль остаться в Кремлёвской больнице подольше была очень соблазнительной, я понял, что лучше поскорее её покинуть. Когда они выяснят, во что обходится на Западе пребывание человека в отдельной больничной палате эксклюзивной больницы, у меня могут возникнуть серьёзные неприятности. Я вынул свою карточку American Express и сказал, что очень ценю их гостеприимство, но моя семья в Соединенных Штатах будет встревожена, если узнает, что я нахожусь в больнице, так что я должен их покинуть. Она неохотно согласилась, но тут я увидел, что она не знает, что делать с этой карточкой. Она смотрела на неё, вертела туда-сюда и была в полной растерянности. В моём поясе, в платяном шкафу, был «секретный карман», в нём несколько сотен долларов. В итоге я заплатил наличными.

Затем я уехал в гостиницу Академии наук и вскоре вернулся к работе в архивах. Но через несколько дней я почувствовал новый приступ боли в щеке и, уже зная, что за этим может последовать, я немедленно отправился в аэропорт и вылетел домой.

В Бостоне мой новый врач д-р Мартин Уол из медицинской школы Гарварда направил меня на неврологические тесты. Была обнаружена опухоль в головном мозгу и акустическая неврома. Опухоль медленно сдавливала верхнюю часть спинного мозга, что могло привести к смертельному исходу. Через несколько недель в Массачусетской больнице общего типа, под руководством доктора Роберта Ожеманна, специалиста по хирургии именно таких опухолей, была сделана успешная операция, длившаяся семнадцать часов. Опухоль была удалена.

Через несколько месяцев после операции, когда я почти вернулся в нормальное состояние, на конференции в Чикаго, организованной Фондом Макартуров, я встретил Михаила Горбачёва. Мы с ним сидели рядом на ланче в отеле Шератон, около Мичиган авеню. Горбачёв уже был отстранён от власти Борисом Ельциным и приехал в Соединенные Штаты, где его носили на руках за распад Советского Союза, чего он сам, разумеется не хотел, но к которому привели затеянные им реформы. Во время ланча, кто-то из присутствовавших сфотографировал нас во время оживлённой беседы.

На снимке мы похожи на двух крупных птиц с характерными отметинами на голове: Горбачёв – на канадского журавля с его знаменитым красным пятном на темени, а я – на индюка с обезображивающим шрамом на шее, идущим к самому черепу. Фотоснимок был сделан в тот момент, когда я рассказывал Горбачёву о том, как разваливался вместе с Советским Союзом, и о своих приключениях в Кремлёвской больнице. В ответ Горбачёв заметил, что у меня, похоже, дела идут лучше, чем у Советского Союза. Он знал доктора Горбунова, и ему было приятно услышать, что тот мне помог. Я не сказал ему, что в Кремлёвской больнице мне не диагностировали опухоль мозга. Кто знает, что сделал бы со мной доктор Горбунов, если бы ему был известен этот диагноз? Когда он был мне поставлен, я предпочёл комплексному подходу доктора Горбунова к «пациенту в целом» хирурга Ожеманна, который умел «только хорошо резать». Тем не менее, у меня до сегодняшнего дня остаются самые тёплые воспоминания о Кремлёвской больнице. Я был бы рад снова в ней оказаться в случае какого-нибудь недомогания, но только не для резания.

Позднее мне стало известно, что эксперимент с «посторонними пациентами» в Кремлёвской больнице был отклонён. Сколько част-

ных пациентов она успела обслужить, прежде чем снова закрыть свои двери для всех кроме политической элиты, я не знаю. Сегодня она обслуживает только высшее руководство страны. Без сомнения, Владимир Путин знает доктора Горбунова и предпочитает красивых медсестёр.

В марте 2000 года я снова посетил Кремлёвскую больницу, но не из-за проблем с моим здоровьем, а из-за смерти моего близкого друга.

ПОХОРОНЫ С ДВОЙНЫМ СМЫСЛОМ

2 [3] марта 2000 года в Москве скончался мой близкий друг Николай Николаевич Воронцов. Всем моим сердцем я почувствовал, что должен быть на похоронах. В 1991 году, когда я внезапно тяжело заболел, Воронцов, будучи министром природопользования, помог организовать молниеносную доставку меня в Кремлёвскую больницу (Кремлёвку), что, по-видимому, спасло мне жизнь.

Став членом правительства в последние годы существования Советского Союза, Николай Николаевич прилагал отчаянные усилия к тому, чтобы уменьшить загрязнение окружающей среды отходами хотя бы наиболее вредных промышленных предприятий. Очень скоро он убедился, сколь ничтожны его возможности, когда этому противятся «силовые министерства», как министерство обороны, внутренних дел, тяжёлой промышленности. Но он также увидел, что при стремительно нараставшем административном хаосе появились возможности, которых не было раньше: он стал по-тихому укрупнять размеры заповедников в отдалённых районах Крайнего Севера и Сибири. В Москве обострялось противостояние политических группировок, особенно борьба между Горбачёвым и Ельциным, так что на Олимпе власти никому не было дела до того, что происходит в прибрежных районах Северного Ледовитого и Тихого океанов или где-то в сибирской глубинке. Пользуясь такой ситуацией, Николай Воронцов стал незаметно увеличивать площади заповедных лесов и земель на сотни тысяч гектаров. Большинство этих заповедников и сегодня находятся под защитой государства, хотя и неадекватно обеспечиваемой.

Но подлинная политическая мощь этого человека проявилась в

августе 1991 года, когда был поднят военный мятеж с целью восставления авторитарной системы правления. Воронцов ездил по войсковым казармам, призывал солдат не подчиняться главарям путча, а затем встал рядом с Борисом Ельциным на танке перед «Белым Домом» – резиденцией российского парламента. Путч провалился, движение по пути реформ продолжилось.

Когда Николай умер, я был у себя дома, поездку в Россию не планировал, въездной визы у меня не было. Обычно получение визы – я знал по многолетнему опыту – занимало несколько недель, иногда больше месяца. К тому же о кончине Николая мне сообщили в субботу, а российское посольство в Вашингтоне в выходные дни не работало. Если бы даже мне удалось каким-то чудом преодолеть непробиваемую бюрократию и получить визу в понедельник утром, дабы вылететь во второй половине дня, я не успевал на похороны, назначенные в Москве на вторник. Проблема казалась неразрешимой, ибо сесть в самолет в Бостоне или Нью-Йорке в надежде убедить таможенников в Шереметьево впустить меня в связи с особыми обстоятельствами, тоже было невозможно, так как без предъявления въездной визы в Россию на московские авиарейсы никого не пускали.

Пришлось пойти на риск и вылететь в воскресенье в Париж, чтобы там, в понедельник утром, явиться в российское посольство и попытаться быстро оформить въездную визу, чтобы успеть на самолёт, вылетающий из Парижа в четыре часа дня. В этом случае я прибыл бы в Москву в понедельник вечером, то есть накануне дня похорон. Я решил, что, в случае неудачи, поброжу по парижским улицам, пообедаю в уютном французском бистро и помяну усопшего хорошим вином, предаваясь тёплым воспоминаниям о московских друзьях, живых и ушедших.

После бессонной ночи в самолете, в 7:30 утра, я приземлился в аэропорту «Шарль-де-Голль», доехал на метро до станции Шателье в Париже, а затем на такси до российского посольства на Бульваре Ланнэ, вблизи Булонского леса. Ассоциации историка напомнили мне о том, насколько уместно расположено посольство: ведь именно в этом районе располагался лагерь российских войск, вошедших в Париж после победы над Наполеоном. Но эти исторические параллели улетучились в тот момент, когда я приблизился к посольству. Сам вид

тяжеловесного здания в стиле модерн, которое занимало большой городской квартал, создавал впечатление, что оно забито такой же тяжелой и неповоротливой бюрократией.

Когда я спустился в подвальный этаж, где находился визовый отдел, чувство безнадежности только усилилось. Там было от восьми до десяти стандартных окошек, за которыми сидели работники посольства с непроницаемыми лицами, а перед окошками волновалась большая беспокойная толпа. В самой короткой очереди было человек десять-двенадцать. Стало ясно, что шансов оформить визу, со всеми необходимыми причиндалами (марками, фотографиями, печатями), за четыре-пять часов, которые оставались до выезда в аэропорт к последнему из московских рейсов, у меня практически нет.

Но делать нечего, я стал в очередь. Простояв минут сорок или сорок пять, которые показались вечностью, я, наконец, подошёл к окошку. За ним сидела женщина, очень походившая на типичных служащих кредитных банковских отделов, натренированных на то, чтобы категорично отказывать непрошенным клиентам. Глубоко вдохнув и изобразив на лице приветливую улыбку, я сказал по-русски, что я – Лорен Грэхэм, профессор из Соединённых Штатов, и что у меня необычная просьба: мне нужна срочная виза, чтобы сегодня же вылететь в Москву для участия в похоронах.

К моему изумлению, женщина ответила:

– Мы ждём вас, профессор Грэхэм, ваша виза будет готова через несколько минут.

Оказалось, что семья Воронцова, знавшая о моих планах, связалась со своим другом в Министерстве иностранных дел, и он отправил факс в российское посольство в Париже с просьбой немедленно предоставить мне въездную визу «по срочным обстоятельствам». Впервые в моей жизни российская бюрократия оказалась невероятно эффективной.

(Я не мог не отметить про себя глубокое различие между новой российской бюрократией и старой советской, которая довела до смерти моего друга Виталия, так как он не смог выехать на лечение из-за того, что ему слишком долго не выдавали выездной визы. Правда, я понимал, что такое сопоставление не вполне корректно: большая эффективность нынешней бюрократии могла объясняться отнюдь не тем, что уже не было Советского Союза, а тем, что теперь у меня те-

перь было больше влиятельных связей в высших кругах власти). Примерно через полчаса, став беднее на 100 долларов, я покинул посольство с визой в руках. Я настолько быстро добрался до аэропорта, что успел на самый ранний рейс до Москвы, пожертвовав аппетитным обедом во французском бистро.

В постсоветской России процветала преступность, и самым опасным для иностранца был путь из аэропорта в город. Если остановить на шоссе случайную машину, то за рулём мог оказаться обыкновенный грабитель, жаждущий очистить карманы клиента. Поскольку дорожные чеки мало где принимались в России, приезжие иностранцы обычно имели при себе все деньги наличными, что русской мафии было хорошо известно. Я знал о нескольких таких ограблениях, одно из них завершилось проломом черепа. Заказывая номер в отеле, я выяснил, как найти остановку автобуса, развозившего по отелям пассажиров из аэропорта Шереметьево.

Когда я стоял на остановке в ожидании этого автобуса, я вдруг заметил у моих ног небольшой пластиковый пакет размером с полкирпича, перехваченный несколькими резиновыми кольцами. Сквозь прозрачную пластиковую упаковку виднелась стодолларовая купюра. Было похоже, что всё содержимое пакета состоит из таких же купюр, свёрнутых рулоном. Поражнный столь удивительной находкой, я вдруг услышал тихий голос в моей голове: «Лорен, не прикасайся к этому пакету».

Я отошёл на пару шагов и видел, как стоявший на той же остановке мужчина поднял пакет и сунул в карман своего пальто. Я не удержался и сказал ему: «Вы очень счастливый человек». Он улыбнулся, но ничего не ответил. И тут к остановке подбежал человек с громкими рыданиями, слёзы ручьём струились по его лицу. Он прокричал нам обоим: «Я только что потерял все свои сбережения, пять тысяч долларов. Они были завернуты в пакет, я, должно быть, выронил его где-то здесь, несколько минут назад, вот здесь, где вы стоите». Обратившись ко мне, он спросил: «У вас мои деньги?» Я ответил: «Нет, у меня ваших денег нет». Тогда плачущий мужчина обратился к другому человеку – тому, кто подобрал пакет: «У вас мои деньги?» Тот ответил: «Я ничего не знаю. У меня нет ваших денег».

Расстроенный человек, продолжая всхлипывать, стал бегать по тротуару туда и сюда, в поисках пропавшего пакета. Когда он отошёл

достаточно далеко и не мог нас слышать, я сказал парню, прикарманившему этот пакет: «Отдайте ему его деньги, я знаю, что они у вас.» В ответ он предложил: «Давайте их разделим.» Я ответил: «Нет, мне ничего не надо. Верните ему деньги.» Мой визави довольно долго смотрел на меня, видимо, прикидывая, готов ли я сдать его полиции, затем подбежал к плачущему и отдал ему пакет. Они тотчас разошлись в разные стороны, я их больше не видел. Заметил только, что человек, так убивавшийся из-за своей потери, не выразил никакой радости и не сказал даже слова благодарности тому, кто вернул ему его пропажу.

Когда я рассказал об этом странном происшествии нескольким московским друзьям, все дружно сказали, что я чуть не влип в хорошо отработанную афёру. Те двое работали в паре. В пакете, конечно, не было никаких денег, сверху лежал лист бумаги, разрисованный под столларовую купюру. Если бы я взял пакет или согласился разделить его содержимое, тотчас появился бы еще один участник афёры, в милицейской форме, и «арестовал» бы нас обоих за хранение краденного.

А дальше произошло бы одно из двух: либо я заплатил бы большую взятку, либо меня, как якобы арестованного, оттащили бы в укромное место, ударили чем-то тяжёлым по голове и отобрали все имевшиеся при мне деньги. Узнав о такой хитрой западне, я невольно задался вопросом: «Кто же изобрёл такую хитроумную комбинацию? Не проще ли проследовать за намеченной жертвой, дожждаться, когда она, к примеру, уединится в туалете аэропорта или гостиницы, где можно с ней легко расправиться? Может быть, это были не обычные грабители, а какие-то лишившиеся работы учёные, которым требовалось как-то реализовать свой творческий потенциал?»

Ошеломлённый калейдоскопом неожиданных происшествий, случившихся за последние двадцать четыре часа, я, наконец, добрался до отеля – он был вблизи аэропорта – и свалился в постель. На следующее утро мой давний друг Антон Стручков приехал за мной и отвёз на похороны.

То, что за мной приехал именно Антон Стручков, было поразительно и символично. Ведь девять лет назад, когда я неожиданно рухнул в Москве почти в тот самый момент, когда политически рухнул Советский Союз, за мной приехал именно он, Антон Стручков; он же, по твёрдому настоянию Николая Воронцова, доставил меня в Кремлёвскую больницу. А Николай Воронцов умер в той же больнице, и

на похоронную церемонию меня везли теперь туда же. Для траурных прощаний с элитой компартии и советского государства на территории Кремлёвской больницы (бульвар Маршала Тимошенко, дом 25) был особый траурный зал. Путь к нему шёл через те же больничные ворота, через которые мы с Антоном въехали несколько лет назад в машине скорой помощи.

Похоронный зал Кремлёвской больницы выглядел необычно. Советские идеологи стремились чем-то заменить религиозные символы, которые традиционно сопровождают такие знаменательные события человеческой жизни, как рождение, брак и смерть, не говоря уже обо всех религиозных праздниках по православному календарю. Власти создали параллельные светские церемонии взамен традиционных религиозных обрядов.

В 1920-х годах небольшая группа коммунистов-«богостроителей» проводила многолюдные торжественные церемонии во славу коммунизма, со светскими ритуалами взамен религиозных. Каждому элементу православной литургии находили соответствующую замену. Во время Французской революции нечто подобное делал Робеспьер. Он устраивал «Фестивали Верховного Существа» и выступал на них перед массами парижан в великолепном одеянии небесно-голубого цвета. Похоронный зал Кремлёвской больницы представлял собой своего рода рудименты этих усилий.

Как без торжественных религиозных обрядов проводить в последний путь важную персону? Похоронный зал при Кремлёвской больнице выглядел величественно, в советском стиле. Стены облицованы дорогим мрамором, чередуются плиты кремового и серого цвета. Поверху идут массивные металлические карнизы, к которым прикреплены тяжёлые чёрные портьеры. В одном торце зала огромное окно, но оно остеклено не так, как традиционные витражи христианских соборов, а вполне «по-светски». Чередуются синие и белых квадраты стекла, вполне прозрачные, так что даже в мурое зимнее время в зал проникает дневное освещение. Противоположная стена украшена трубами органа, но на нём, похоже, никогда не играли, так как место для органиста не было предусмотрено. Слышался негромкий траурный марш Шопена в магнитозаписи.

Но было уже 7 марта 2000 года, Советского Союза давно не было. К тому же хоронили человека, гордо отказавшегося вступить в ком-

партию и во время путча смело выступившего против возврата к советским порядкам. О прозападных, демократических убеждениях Воронцова было хорошо известно. Тем не менее, его ввели в состав последнего советского правительства – единственного беспартийного министра за всю советскую историю, потому он и удостоился прощальной церемонии в столь элитарном месте.

Согласившись устроить прощальную церемонию здесь, семья Николая Николаевича решила провести её так, чтобы ясно показать неприятие усопшим советской системы.

Отсюда «христианизация» церемонии, в которую были введены некоторые религиозные элементы. Но с этим тоже было непросто. Николай Николаевич не был религиозным человеком. Убеждённый биолог-эволюционист, он признавал, насколько глубок конфликт между наукой и религией, и стоял на стороне науки.

«Антисоветскость» покойного была продемонстрирована такими символами, как два маленьких латунных крестика перед открытым гробом. В остальном церемония была светской, так как других религиозных символов не было. Однако в гардеробной ожидал священник, он повесил на стенах иконы и другие символы православной веры. Так что религию держали на расстоянии, но она присутствовала.

Церемония была разделена на две части, светскую и религиозную. В светской части несколько человек, включая меня, произнесли прощальные речи об умершем. Вёл светскую часть церемонии Сергей Капица, известный учёный и телеведущий, с которым я был знаком много лет. Ораторы, выступавшие передо мной, превысили отведённый им регламент, поэтому мне пришлось быть предельно кратким. Вначале я говорил на английском языке от имени Русского Центра Дэвиса Гарвардского университета² и других американских учёных, просивших передать свои соболезнования, а затем, лично от себя, на русском. Среди выступавших были Егор Гайдар и Борис Немцов – ведущие российские политики того времени и коллеги Николая Николаевича по демократическому лагерю.

После светской службы началась религиозная. В зал вошёл свя-

² *Центр российских и евразийских исследований Гарвардского университета.*

щенник, ожидавший в гардеробной. Православная панихида, очень долгая и трогательная, сопровождается музыкой и отпеванием. Одна из певиц была нездорова, она выглядела очень бледной и хрупкой, ей пришлось уйти, не дождавшись конца церемонии. Священник обходил гроб, помахивая кадиллом с медной курильницей и ладаном. В определённые моменты присутствующим положено было креститься, но большинство собравшихся – несколько сот человек – не были религиозны. Я заметил, что лишь немногие, примерно пятая часть, осеняли себя крестным знаменем. А некоторые всем своим видом демонстрировали, что не скромно воздерживаются от того, чтобы перекреститься, но гордо это демонстрируют.

Пока шла церемония, у меня было достаточно времени осмотреться, и я увидел, что среди пришедших почтить память Воронцова довольно много моих знакомых. Тут были биологи и активисты защиты окружающей среды, чему был так предан Николай Николаевич; были участники демократического движения, которое преобразило Советский Союз в последние годы его существования; были и члены правительства, коллеги Николая Николаевича, когда он был министром и депутатом первых четырёх Дум.

Почти все собравшиеся принадлежали к русской интеллигенции, которую традиционно объединяло то, чему она противостояла. Эти люди, особенно биологи-эволюционисты, ощущали себя хранителями традиций, заложенных в российской науке конца девятнадцатого и начала двадцатого века, когда эволюционное учение рассматривалось как вызов царскому самодержавию и религиозной ортодоксии. Однако самый известный глашатай биологической эволюции в России, Климент Тимирязев, в революцию 1917 года открыто примкнул к власти большевиков, что в среде учёных того времени было большой редкостью.

В начале советского периода многих биологов оттолкнула программа ускоренной индустриализации, которая разрушала природные сообщества и загрязняла окружающую среду. Когда они убедились, что не в силах этому противостоять, они удалились в природные заповедники, где могли жить и работать в своих небольших сообществах, до которых у коммунистической власти не дотягивались руки. Они даже могли свободно избирать своё руководство, что в других советских сообществах уже было невозможно.

Два историка науки, изучавших природоохранное движение в СССР, один американец, другой русский, присутствовали на похоронах Н.Н. Воронцова, правда, мой соотечественник Дуглас Вейнер, автор метко названной книги «Маленький уголок свободы», присутствовал виртуально. Я зачитал его письмо. Его российский коллега Феликс Штильмарк стоял в нескольких шагах от меня. Он был в мятом костюме и выглядел совсем непрезентабельно, словно не выходил из занесённой снегом сибирской избы.

Присутствовали также биологи старшего поколения. В сороковые-пятидесятые годы они мужественно противостояли Лысенко и лысенковщине, когда это было очень опасно. Некоторые отбыли сроки в сталинских лагерях. Были и представители более молодого поколения, которые на излёте советской власти открыто выступали против коммунизма. Некоторые из них были активными диссидентами, другие сочувствующими.

Было заметно, что теперь, когда Советский Союз распался, эти люди разных поколений, которых объединяло совместное противостояние тиранической власти, испытывали растерянность, так как не знали, кому и чему они теперь должны противостоять. Привычное противостояние тоталитарной власти наполняло их жизнь смыслом и делало её устойчивой. Традиционно противостоявшие религии, они обращались к ней, чтобы в советском храме не быть советскими. Они противостояли коммунизму во имя демократии и русского народа, но свободные выборы показали, что русский народ поддерживал не демократов, а авторитарных лидеров, как коммунист Геннадий Зюганов, ультра-националист Владимир Жириновский или человек «твёрдой руки» Владимир Путин, которого через несколько недель изберут президентом страны.

Интеллектуалы, собравшиеся в этом зале, полагали, что демократия предоставит им возможность проявить себя, их мнения приобретут вес, с ними будут считаться. Но оказалось, что страна в условиях демократии выбрала другой путь. Представители оппозиционной интеллигенции оказались лишними людьми. Я чувствовал идеологический вакуум в этом похоронном зале.

После панихиды все отправились на кладбище, на церемонию погребения. В обществе якобы всеобщего коммунистического равенства место погребения было одним из важных показателей об-

ществленного статуса. *Crème de la crème*³ были похоронены в Кремлёвской стене, или перед нею, на Красной площади. Здесь обрели упокоение Ленин, Сталин, некоторые члены Политбюро, даже некоторые иностранцы, как американский радикал Джон Рид. Но многие из бывших главарей перед кончиной не имели достаточного влияния, чтобы удостоиться такой чести. Они, включая главу партии и правительства Никиту Хрущёва, оказались на кладбище Новодевичьего монастыря, втором по рангу месте захоронения. Однако и Новодевичье кладбище было переполнено, поэтому представителей правящей элиты всё чаще отправляли на третье по значимости кладбище, Троекуровское, недалеко от Кремлёвской больницы. Там хоронили и Николая Николаевича.

Церемония у могилы тоже была долгой, с участием священника. Служба велась под завывание снежной метели. Шёл густой снег, он падал в открытый гроб, на лицо Николая, быстро покрывая его глаза и брови, так что кто-то из родных каждые несколько минут протирает его лицо платком. Было холодно, ветрено, дрожь пробирала присутствовавших. Снова проносились речи, люди стояли с непокрытыми головами, под ветром и снегом.

Я оглядывался вокруг. На памятниках, по обе стороны от могилы Николая, были выгравированы не только имена похороненных, но и их звания: здесь был адмирал флота, а вон там генерал, здесь «народный артист», а там министр или действительный (а потому бессмертный) член Академии наук. Часто на памятнике был выгравирован портрет покойного.

Как и надлежало правительственному кладбищу, большинство надгробий были правительственными: стандартные прямоугольные блоки, одни побольше, другие поменьше, в этом было основное различие. Но я обратил внимание, что некоторые из поздних надгробий, воздвигнутых примерно с 1994 года, выполнены в форме православного креста. Религия, ранее запрещённая для официальных мероприятий, вползала на правительственное кладбище. Среди намогильных памятников, которые мне были видны, примерно десять-двенадцать было таких православных крестов. Я обратил внимание на то, что в поле моего обозрения не было ни одной звезды Давида. Не видел я

3 *Crème de la crème* (фр.) – сливки.

их и когда шёл потом по заснеженной дорожке к выходу из кладбища. Бросилась в глаза одна необычная надгробная плита: человек был похоронен в 1972 году, почти за двадцать лет до распада Советского Союза, его надгробие было стандартным и безликим. Но кто-то, без сомнения, из его близких, совсем недавно, прикрепил к надгробной плите каменный православный крест.

В конце церемонии кладбищенские рабочие, в перепачканной грубой одежде и сапогах, закрыли крышку гроба и приколотили её гвоздями. Затем они спустили его в могилу на двух толстых истёртых веревках. Делали это настолько неловко, что гроб опускался под острым углом, так что тело покойника наверняка сотрясалось внутри и сдвинулось с места. Механизма с автоматически разворачивающимися подвесными ремнями, как на американских кладбищах, не было.

Как только гроб лёг на дно могилы, восемь или девять рабочих стали остервенело его закапывать. Провожающие подходили к могиле по одному и, по православному обычаю, бросали на гроб пригоршню земли. Я последовал за другими, но задача оказалась нелёгкой. Земля смёрзлась, оторвать небольшой комок было трудно. Когда могила была засыпана на две трети, один из рабочих воткнул в неё деревянный крест. Для устойчивости его нижнюю часть завалили землёй.

Покидая кладбище, я думал о том, что Николай, вероятно, не согласился бы со многим из того, что здесь произошло, включая установку креста – символа религиозной ортодоксальности. Но каким символом следовало бы отметить могилу человека, который большую часть жизни противостоял ортодоксии? Теперь вокруг теснились новые ортодоксы. Он и его жизнь не шли с ними в ногу. Вряд ли он ясно сознавал, что ему следует поддерживать в новой России, а чему противостоять.

Антонио ТАБУККИ

ДВА ГЕНЕРАЛА

Я никогда не считал, что жизнь подражает искусству, это просто распространённая шутка, реальность всегда превосходит воображение, поэтому практически невозможно положить на бумагу некоторые истории, получается бледное подобие того, что было на самом деле. Но оставим в покое теорию, быть может, у тебя скорее получится удачно изложить историю, которую я тебе с удовольствием расскажу, поскольку по отношению ко мне у тебя есть преимущество: ты не знаешь того человека, который её прожил. Честно говоря, сам он рассказал мне только то, что предшествовало ей, самое начало, остальное я узнал от одного моего друга, и то в нескольких словах, мы с ним больше разговаривали о музыке, о теории шахмат, о том, что будь Гомер знаком с Улиссом, тот показался бы ему банальным пошляком. Мне кажется, из всего этого я понял только одно, что истории всегда намного больше нас, они случаются, и мы невольно становимся их действующими лицами, но главным действующим лицом истории, которую мы пережили, являемся не мы, а сама история, которую мы пережили.

...Никому не известно, почему он приехал умирать в этот город, о котором он ничего не знал, может, потому, что это Вавилон, и, может, у него закралось подозрение, что его история - символ Вавилона, а его страна слишком маленькая, чтобы умереть в ней. Ему было уже почти девяносто, послеполуденные часы он проводил, глядя из окна своей квартирки на небоскрёбы Нью-Йорка, по утрам к нему приходила девушка-пуэрториканка, чтобы прибраться, она же приносила ему завтрак из Тони'с кафе, он разогревал его в микроволновке, а потом, после ритуального прослушивания старых пластинок с музыкой Белы Бартока, которую знал на память, он осмеливался на короткие прогулки до решётки Центрального парка. В шкафу в пластиковом пакете он хранил генеральскую форму,

и всякий раз, когда открывал дверцу, он дважды хлопал по погонам, словно приветствовал старого друга, а затем шел спать, он говорил мне, что ему не снятся сны, а если такое случается, то ему снится небо над равнинами Венгрии, он считал, что так действует на него снотворное, которое подобрал ему один американский врач. Я рассказываю тебе эту историю так коротко, как мне рассказал её тот, кто её прожил, все остальное лишь предположения и догадки, но это уже остаётся на твою долю.

* * *

Когда эта история началась, её главный герой был молодым офицером венгерской армии, и, согласно григорианскому календарю, это было в тысяча девятьсот пятьдесят шестом году. Назовём его условно Ласло, имя в Венгрии очень распространённое, что делает нашего героя анонимным, даже если он, на самом деле, был Ласло и никто иной. Мы можем допустить, что это был мужчина чуть старше тридцати пяти, высокий, худощавый, светлые волосы с лёгкой рыжинкой, серые, с чуть заметным голубым отблеском, глаза. Здесь можно добавить, что он был единственным наследником семьи владельцев земель на границе с Румынией, и в его доме, кроме венгерского, согласно традиции габсбургской империи, разговаривали и на немецком, после экспроприации земель семья переехала в Будапешт, в огромную квартиру, предоставленную ей коммунистическим режимом. Можно также предположить, что в лицее он увлекался литературой, превосходя всех в знании древнегреческого, цитировал наизусть целые куски из Гомера и в тайне пописывал оды в пиндарическом стиле. Его учитель, единственный, кому он осмелился показать их, предсказывал ему будущее великого поэта, нового Петефи, чему он сначала не поверил, впрочем, эта деталь малосущественна, посчитаем её чистым предположением. Но все дело было в том, что отец видел сына только военным, потому что сам с юного возраста служил в австро-венгерской армии. Тот факт, что ныне армия служила коммунистическому режиму, казался ему ничего не значащим, главным было служение Венгрии, ради защиты этой земли люди брали в руки оружие, а вовсе не ради такой эфемерной сущности, как её правительство. Наш Ласло без возражений исполнил отцовскую волю, в душе он

хорошо понимал, что ему никогда не стать новым Петефи, а быть вторым после кого-либо он не потерпел бы, он желал быть первым во всём, чем бы это всё ни было, силы воли ему было не занимать, а жертвы его нисколько не пугали. Учась в военной академии в Будапеште, он сначала числился лучшим кадетом, затем первым юнкером и, наконец, превосходным офицером, которому по завершению обучения сразу же была доверена ответственная командирская должность в пограничном округе.

В этом месте вполне можно сделать отступление, которое никаким боком не относится к нашим предположениям и является лишь плодом воображения того, кто рассказал эту историю, выслушанную от кого-то, кому её рассказали в свою очередь. Вполне реальным представляется, что в деревне, находившейся на земле, какой когда-то владел его отец и где он провёл свою раннюю юность, он оставил свою первую любовь, которой был верен до сих пор. Это сентиментальное уточнение безусловно уместно, иначе он мог бы показаться обряженной в военную форму марионеткой, действующим лицом истории, главным в которой являются волевые качества и физическая сила, и полностью исключается таинственная духовная сила, вырабатываемая сердечной мышцей. У Ласло было романтическое сердце, и приписывать ему чувства, которые испытывает сердце каждого из нас, вполне обосновано, следовательно и сердцу Ласло было не чужда большая любовь, а вспоминаемая им с щемящей тоской большая любовь воплощалась в красивой деревенской девушке, которой он, юноша, после полудня, проведённого в стогу на пшеничном поле, поклялся в вечной любви, а она, со своей стороны, в стенах огромного отчего дома, защищённого высокими деревьями, пообещала ему продолжить его род.

Ну а пока Ласло был там, в Будапеште, с его роскошными дворцами, начальник Генерального штаба воспылал к нему симпатией. Каждое последнее воскресенье месяца генерал устраивал приёмы, на которые приглашённые офицеры являлись в парадной форме, после ужина все танцевали, пианист во фраке играл венские вальсы, и во время танца глаза дочери начальника Генерального штаба утонули в глазах Ласло, и кто знает, видела ли она в этот момент глазах Ласло именно Ласло либо просто самого блестящего офицера военной академии о котором с восхищением отзывался её отец. Но

всё это, в принципе, не играло никакой роли, ибо после быстротечной помолвки они поженились. Нельзя исключать того, что воображение взяло в душе Ласло верх над реальностью. Разумеется, он любил свою жену, она была красива, хорошо воспитана, но он так и не смог разглядеть в ней черты своей первой любви, которую считал преданной им, неуловимый, уже довольно размытый образ деревенской девушки со светлыми волосами. Посему он ходил искать свой фантазм в борделях Будапешта, сначала в компании нескольких товарищей по оружию, затем в унылом одиночестве.

Но вернёмся в тысяча девятьсот пятьдесят шестой год, тот самый, когда советские войска вторглась в Венгрию. Повод для вторжения был, по сути, идеологическим, но невозможно установить, была ли реакция Ласло аналогичной или у неё были иные мотивы: домашнее воспитание, например, потому что это была земля Венгрии, а, как учил его отец, родная земля священна и стоит выше любого правительства; или же мотивы носили чисто, назовём это так, технический характер, поскольку что военный подчиняется, прежде всего, приказам начальника своего Генерального штаба, а приказы, как известно, не обсуждаются. Не вызывает сомнения и тот факт, что выросший в большой семье Ласло располагал обширной библиотекой, а это позволяет сделать и другое, более иллюзорное предположение, скажем, что он прекрасно знал Дарвина и считал, что политические системы подвержены эволюции подобно биологическим организмам, и, следовательно, существующая в стране система, в значительной степени примитивная и базирующаяся на благих намерениях, способна к изменению в лучшую сторону, если во главе неё станет такой человек, как Имре Надь. А может быть, он прочитал книгу Андре Жида “Путешествие в Советский Союз”, которой зачитывалась вся Европа и которая подпольно распространялась и в Венгрии. К этим предположениям вторичного характера можно добавить ещё одно: вероятно, подспудно он ощущал, что можно рассчитывать на поддержку со стороны коммунистических партий некоторых европейских стран. Как-то раз на одном из приёмов он разговорился с функционером крупной западноевропейской компартии, элегантным молодым человеком, говорившем на превосходном французском и знавшем все о ГУЛАГЕ, и тот признался ему, что является коммунистом-мильори-

стом*, смысл этого понятия остался для нашего героя неясен, но мысли собеседника показались созвучными его собственным.

В ту ночь, когда советские танки пересекли венгерскую границу, Ласло вспомнил о мильористе. А так как тот оставил свой номер телефона, он немедленно позвонил ему, успев до того, как русские перережут линии. Он понимал, что пусть даже символическая поддержка большой демократической страны маленькой и плохо вооружённой венгерской армии окажется очень важной перед лицом гусениц русских танков. Трубку долго не снимали, потом ответила заспанная и раздражённая горничная, сообщившая: сенатора нет дома, он на званом ужине, если желаете, можете, оставить для него сообщение. На это Ласло попросил лишь передать сенатору, что звонил Ласло. Ответного звонка он так и не дождался. Нельзя доверять демагогам, мелькнула и мгновенно исчезла мысль, ибо в этот момент ему предстояло обдумать более серьёзные проблемы, но два дня спустя, когда он услышал по радио, как этот иностранный товарищ назвал венгерских патриотов контрреволюционерами, он понял, что не ошибся.

...Глядя из окна на нью-йоркские небоскрёбы, Ласло, который только что прочел стихотворение Уильяма Йейтса "Мужчины с годами становятся лучше", размышлял над этой забавной сентенцией и задавался вопросом: а что, если в жизни все не так, если время на самом деле не улучшает людей, а если и улучшает, означает ли это, что это заставляет их становиться другими, или, таща их за собой, время всего лишь превращает в миражи то, что в прошлые времена было для них, действительно, реальностью. Солнце катилось за небоскрёбы, ему предстояло совершить свою гигиеническую прогулку до Центрального парка и обратно, а он, так сильно желавший улучшить своё время, размышлял под музыку Белы Бартока о времени, в котором сейчас пребывал.

Каким образом Ласло удавалось в течение трёх дней сдерживать напор советских войск, сейчас уже невозможно установить. Можно сделать всего несколько предположений по этому поводу: причиной его стратегический талант; его врождённой упрямство; его горячая

* *Представитель части западного коммунистического движения, требующей его демократизации.*

вера в невозможное. Так или иначе, факт остаётся фактом: танки армии оккупантов, понеся большие потери, не могли продвинуться ни на метр вплоть до четвёртого дня, когда их сила одолела-таки упорство горстки венгерских солдат, которыми командовал Ласло.

Командир противостоящей ему части российских солдат, был примерно того же возраста, что и Ласло. Назовем его условно Дмитрий, имя в России распространённое, что гарантирует анонимность, но он был реально Дмитрий и никто иной. Грузин по национальности, вспыльчивый и жизнерадостный, он окончил военную академию в Москве и в жизни любил три вещи: Сталина, потому что был обязан его любить и потому что тот был грузином, как и он, Пушкина и женщин. Карьерный военный, он никогда не интересовался политикой, беззаветно любил Россию и искренне переживал, что был ещё слишком молод во время войны с нацистами, которых люто ненавидел, но не мог заставить себя ненавидеть венгров и честно не понимал, почему должен делать это. Неожиданный отпор этого народа приводил его в ярость, ему причиняла душевную боль гибель его солдат и особенно безысходность отчаянного сопротивления венгров, смысл которого ему никак не удавалось постичь, ведь они наверняка отдавали себе отчёт в том, что будут уничтожены, и что каждый час противостояния оборачивается новой кровью, пролитой на алтарь красивой иллюзии. Но зачем проливать кровь ради иллюзии? Это его смущало.

Когда в Будапеште был установлен так желаемый Москвой порядок и неудобное ей правительство было заменено более лояльным, венгерские офицеры, принимавшие участие в мятеже, как отныне квалифицировалось сопротивление, были преданы суду. Среди них, естественно, и Ласло, он был признан одним из самых злостных мятежников, и его ожидал показательный приговор. Псевдотрибунал для обоснования обвинений затребовал письменный рапорт российского офицера Дмитрия, который прислал его уже из Москвы. Приговор был написан заранее, речь шла лишь о придании ему внешней видимости законности, Ласло, зная, какую силу имеют показания, данные в письменном виде, считал, что именно рапорт Дмитрия оказался решающим в его осуждении. Последовало наказание, надлежащее такому опасному мятежнику, как Ласло: он был публично разжалован в рядовые, изгнан из армии и посажен в

тюрьму в гражданской одежде, так, чтобы венгерский военный мундир остался незапятнанным.

Когда его освободили, он был уже пожилым человеком, дом его был конфискован, страдавшая от артрита жена умерла, средств существования не было. Он уехал жить к дочери, которая была замужем за провинциальным ветеринаром. Так время и шло, до того самого дня, когда с падением Берлинской стены рухнула Советская империя, а вместе с ней и режимы стран стран-сателлитов, какой являлась и Венгрия. Несколько лет спустя демократическое правительство его нового государства приняло решение о реабилитации военных, которые в тысяча девятьсот пятьдесят шестом году возглавили революцию против Советского Союза. Их к тому времени осталось совсем мало. Среди этих выживших был и Ласло.

* * *

Порой глубинный смысл истории обнаруживает себя в тот момент, когда история кажется уже завершённой. Было похоже, что жизнь Ласло, как и его история, клонилась к закату. Но нет, именно с этим решением правительства она приобрела неожиданный смысл. Дочь и внучка сопроводили его в Будапешт на торжественную церемонию восстановления в рядах армии и вручения ему звания героя Венгрии. Он предстал на ней в старом мундире, стойко пережившей время, если не считать нескольких проеденных мольюдырок. Это была, в самом деле, торжественная церемония, проходившая в огромном зале военного министерства и транслируемая по телевидению: так же быстро, как много лет назад, Ласло был разжалован до рядового, так же быстро он был возведён в звание генерала армии, после чего ему на грудь навесили целый иконостас наград.

В ту ночь в шикарном номере лучшей гостиницы города, зарезервированном за ним министром обороны, Ласло заснул мгновенно, быть может, потому что выпил слишком много на банкете, но неожиданно проснулся среди ночи и долго лежал без сна, обдумывая пришедшую ему в голову идею. Трудно делать предположения о мотивах, породивших её, но факт остаётся фактом: наутро он позвонил министру обороны, назвал своё имя и звание и, продиктовав имя и фамилию одного русского офицера, попросил найти его координаты. Через несколько минут их ему сообщили: венгерские

секретные службы знали о нём практически всё, включая номер телефона.

Дмитрий тоже уже стал генералом, героем Советского Союза, выйдя в отставку и овдовев, он жил одиноко в Москве в небольшой квартире на ежемесячное содержание, назначенное ему властями новой России. Он был членом Ассоциации российских шахматистов и имел постоянный абонемент, позволявший каждый субботний вечер посещать небольшой театр, где ставили только спектакли Пушкина.

Ласло позвонил ему глубокой ночью. Дмитрий снял трубку после первого же звонка. Ласло представился, Дмитрий сразу вспомнил его. Ласло сказал, что хотел бы лично познакомиться с ним, Дмитрий не спросил, зачем, он понял это сам. Ласло предложил ему приехать в Будапешт, обещая оплатить билеты и проживание в хорошей гостинице три последних дня недели. Дмитрий отказался, приведя убедительные доводы: Венгрия ему не нравится, и, кто знает, что могут предпринять против него определённые иностранные секретные службы, надеюсь, вы поняли. Ласло ответил, что понял и что в таком случае, если Дмитрий не возражает, он сам может приехать в Москву.

На следующий день он туда и отправился. Дочь попыталась отговорить его, но Ласло попросил её вернуться домой и не оставлять слишком надолго своего ветеринара. Когда он вернулся, то единственное, что он сказал дочери и зятю: поездка прошла хорошо. В ответ на настойчивые просьбы о подробностях повторял одно и то же, что поездка прошла хорошо, не добавляя ни слова. Кое-какая информация о его пребывании в Москве всплыла позже, когда он уже находился в городе, где разглядывал небоскрёбы из окна небольшой квартирки на Манхэттене. В субботу вечером он пошёл поужинать в маленький МакДональдс, что на углу Семидесятой улицы и Амстердам авеню, который посещал по двум мотивам. Во-первых, он узнал, что в солидных нью-йоркских ресторанах подают только грудку курицы, считая продуктом второго сорта остальные части куриной тушки, которые отдают в заведения для бедных, типа МакДональдс, а Ласло как раз нравились именно эти отвергнутые части курицы. Во-вторых, потому что в этом заведении он свёл знакомство с небольшой группкой соотечественников, засиживавшихся там до-

поздна, играя в шахматы. Он тоже принялся играть с одним своим земляком, который, как и он, принимал участие в боях с советскими солдатами и обладал замечательным качеством: умел слушать. Именно ему Ласло рассказал подробности своей поездки в Москву.

Был поздний вечер, медленно падал снег, в заведении оставались только они двое и официант, подметавший пол. Дорогой Ференц, сказал он, я провёл три дня в Москве, в огромном городе, где я никогда не бывал прежде, он тебе тоже понравился бы, люди там похожи на нас, не как здесь, где мы чувствуем себя иностранцами. В первый день мы с Дмитрием болтали о том, о сём и играли в шахматы, он выиграл три раза подряд, а на четвёртый выиграл я, но у меня такое впечатление, что это он позволил мне выиграть. Следующим днём мы совершили прогулку на катере по Москва-реке, а вечером пошли в театр посмотреть драму Пушкина. На третий день он повёл меня в бордель, элегантное место, каких в Будапеште больше нет, там мне было очень хорошо, ко мне даже вернулась мужеская сила, которая, как я думал, уже утасла безвозвратно.

И вот что я хочу сказать тебе, Ференц, может быть, ты даже мне не поверишь, но в Москве я провёл самые прекрасные дни моей жизни.

Антонио Табуки – известный итальянский писатель, филолог-португалист, переводчик. Родился в 1943 году в Пизе. Он – автор многих романов и эссе, лауреат многих наград и премий. Среди них Премия Медичи (1987). Рыцарский орден Инфанта дона Энрике (1984). Орден искусств и литературы (1984). За роман «Реквием» (*Requiem*, 1992), написанный на португальском языке и позднее переведенный на итальянский, автору присуждена премия итальянского Пен-клуба. Государственная премия по европейской литературе (1998). Был номинирован на Международную Букеровскую премию (*The Man Booker International Prize*) в 2005 и 2009 годах. Антонио Табуки скончался в 2012 году в Лиссабоне (Португалия).

Валерий Николаев – российский переводчик прозы и драматургии с итальянского языка. Сотрудничает с издательствами «АСТ», «Радуга», «Прогресс», «Махаон», «Иностранка», «Россмэн», «Рипол-Классик» и другими, а также с литературными журналами. Член Союза писателей Москвы и русского ПЕН-клуба

Юрий СОЛОДКИН

СКВОЗЬ БУРИ И ГРОЗЫ

1

Небо над головой. Многие века там обитали боги и ангелы, дьяволы и черти. Оно то радовало солнечным теплом и живительным дождём, то наказывало градом, убивающим посевы, и молнией, устраивающей пожары. Что остаётся делать? С небом не поспоришь. Умолять, умастить дарами, взывать к жалости. Иногда помогало, чаще нет.

Но вот полетели в небо первые самолёты, а следом и ракеты. Все небесные обитатели исчезли в далёком космосе. А нам осталось любоваться небом в любую погоду и привыкать к умному слову – атмосфера. Дальше – больше. Поскольку небо свободно от высших сил, и атмосфера только часть природы, то как в ней не похозяйничать себе на пользу.

Физика атмосферы стала его предназначением, его судьбой, любовью и страстью.

- Это про нас, – говорит он про «Иду на грозу» Даниила Гранина.
- И это про нас, – о песне Юрия Кукина «А я еду, а я еду за туманом...».
- Много лет мы реально «шли на грозу и гонялись за туманами».

Когда встречаешься с одарённым человеком, не просто состоявшимся в жизни, а чьи достижения весомы и зримы, возникает интерес к тому, как он получился такой, каким был в детстве и юности, как шёл к своей вершине, «через тернии к звёздам».

Леонид Диневич родился в 1941 году, за десять дней до начала войны. Это случилось в селе Оноры на Сахалине. Сюда был направлен для прохождения службы после окончания Одесского военного училища его отец. В самом начале войны их передислоцировали в расположение военного гарнизона близ станции Зима Иркутской области.

Первое, что сохранила память. Ему почти четыре. Весна. Небо плотно укутано облаками, которые принимают самые разные формы, превращаясь во что-то узнаваемое. Он идёт по дороге вдоль одноэтажных деревянных домиков, в которых живут семьи офицеров. За домиками лес с высоченными деревьями. На обочине деревянный столб, на котором вверху висит большой чёрный колокол. Из него звучит мощный голос, объявляющий об окончании войны и капитуляции фашистской Германии. Победа!

Возле столба собираются женщины, целуются, обнимаются, плачут. Он бежит домой и кричит: «Мама! Победа!» Мама выбегает на улицу и плачет вместе со всеми. А он гордый, как победитель, идёт строевым шагом по укатанной грунтовой дороге. Дорога уходит за горизонт. Там что-то скрыто от глаз, но он обязательно узнает что, когда вырастет.

– Отца отправили продолжать войну на японском фронте, а всё остальное семейство – я, полуторагодовалый младший брат и мама, беременная моей будущей сестрой – поехали из Сибири в родную Одессу, где оставалась семья моей мамы и где, как решили родители, ей лучше родить и какое-то время пожить с детьми среди своих. Но прошло четыре года страшной войны. Где те, что остались? Успели спастись или, не дай Бог, погибли? От них никаких вестей. Едем, а там будет видно.

Лето 45-го года. Мы все стоим у дверей квартиры, в которой выросла мама. Оцепеневшая от ожидания и страха, мама стучит в дверь. Дверь приоткрылась. Я не видел, кто её открыл, не слышал, что было сказано, но дверь захлопнулась перед носом.

Мы вышли во двор, и тут же высыпали соседи. Многие из них узнали маму, и она называла их по именам. А дальше мы услышали жуткий рассказ.

В этом дворе от рук фашистов погибли бабушка, старшая мама сестра, беременная на последнем месяце, и двое её детей. Выдала их дворничиха. Мама помнила её. Она приходила к ним в гости, пила чай с бабушкиными пирожками и благодарила за доброту и гостеприимство. Когда убежать от захватчиков не удалось, дворничиха обнадёжила, что спрячет и защитит, но в первый же день привела фашистов в квартиру с евреями. Их выгнали на улицу. У сестры начались преждевременные роды. Она не могла идти, упала. Её

добили прикладом. Бабушка с криком упала на неё и тоже получила удар в затылок. Двух ревущих детей поволокли и бросили в машину.

Мама плакала навзрыд, а я, как она рассказывала потом, спросил: «Почему убили бабушку?» – «Потому что она еврейка», – услышал я в ответ. Слово «еврейка» было для меня новым, и я его сразу забыл.

Мы уходим. Нас не пустили в нашу квартиру. Туда вселился кто-то чужой. Вот был бы папа рядом, он бы восстановил справедливость. Но он далеко, а мама не в силах что-либо сделать.

Они поселились в крохотной комнатке в полуподвале, которую уступила им мамина подруга довоенных лет. Это была коммунальная квартира с общей кухней и длинным коридором, по которому можно было бегать и гонять на оказавшихся нашими трёхколёсных велосипедах.

Жить трудно. Денег нет. А в августе мама рождает сестрѐнку, и становится совсем тяжело. Она идёт в горсовет с просьбой вернуть квартиру и оказать помощь. Молодая и красивая женщина, как не воспользоваться положением, и власть имущий намекает, что может помочь, если она ... Повернулась и ушла. Как-нибудь проживѐм, дождѐмся папу, и он с этими гадами разберѐтся.

– У мамы было много молока, хватало и сестрѐнке, и на обмен. За него она получала продукты. Да и сердобольные соседки подкармливали нас, малышей – то галушками угостят, то варениками, а бывало, и супа горячего нальют.

А папа воюет в это время с японцами на Сахалине и Курильских островах. Японцы быстро признали себя побеждёнными. К концу августа всё было кончено... Папа жив-здоров, берѐт короткий отпуск и приезжает за нами в Одессу. У него нет времени разобраться с нашей бывшей квартирой, тем более, искать дворничиху, которая, скорее всего, сбежала в родную деревню, и никто не знает, откуда она родом. Папа забирает нас по месту своей службы на Курильские острова.

...Мы сидим в уютном кафе на короткой и очень красивой улице Мамила, ведущей к Яффским воротам. Это наша первая личная встреча. До этого была переписка, из которой я узнавал о его насыщенной событиями жизни. Мне уже было известно, что он занимал в Союзе высокий пост, имел звание генерал-лейтенанта. В Израиле

ле он тоже нашёл приложение своим знаниям и способностям, но это была не та высота, к которой он привык. Умом всё понимал, но душа никак не могла успокоиться. Приходилось просить, а он привык приказывать.

Но это всё в дальнейшем, а пока вся семья – папа, мама и трое детей мал мала меньше – поселились на краю света, на острове Кунашир.

– Первое, что вспоминается – море. В полукилометре от берега, а во время прилива всего метрах в пятидесяти – ряд одноэтажных деревянных домиков для семей офицеров, точно таких же, как в Сибири на станции Зима. Возле каждого домика сарайчик и небольшой двор. За домиками сопка. К её вершине ведёт длинная деревянная лестница. На сопке солдатские казармы, а вокруг густой лес. Вповалку лежат отжившие свой век деревья, покрытые мхом, а рядом уже пробиваются маленькие деревца. Одно уходит, другое является ему на смену.

Чуть подальше японская деревушка с ещё живущими в ней японцами. Там была небольшая деревянная пагода с изогнутой крышей, куда они ходили молиться. Внутри пагода была украшена разноцветными фонариками и гирляндами из бумаги и картона. Мы бегали в эту пагоду, брали фонарики для своих детских игр, и никто нам не препятствовал. Для японцев мы были победителями, а они для нас – побеждёнными врагами.

После отлива на берегу часто оставалось много рыбы, в основном, горбуши. Может, вам более знакомо другое название этой рыбы – лосось. Недалеко от дома папа вырыл яму и поставил сверху железную бочку без дна. В яме разжигали костёр, а в бочке подвешивали рыбу для копчения. Участие в копчении рыбы принимала вся семья. Даже едва начавшая ходить сестрёнка подбрасывала щепочки в костёр и в восторге пищала, когда они вспыхивали. Из рыбы доставали красную икру и солили в специальных деревянных бочонках. За нашим домом был небольшой участок, на котором мы сажали картошку, а в сараюшке мама выращивала поросёнка.

Леонид немного помолчал. Взгляд его казался устремлённым внутрь. Что ещё сохранила детская память?

– Землетрясения чуть ли не каждый день. Они были настолько привычными, что на них никто не обращал внимания. Мебель была

соответствующая: массивный стол, шкаф, прикрученный к стене, и тяжёлые табуретки, в центре которых было отверстие под ладонь, чтобы их было легко перемещать. Под потолком на шнуре висела лампочка без абажура. Табуретки под нами качались, но рядом были спокойные мама и папа, и нам было совсем не страшно.

Рима была долгой, с ветрами и снежными бурями. В иные дни ходить можно было только держась за верёвки, натянутые между домами. Дома засыпало снегом по самую крышу, и вход в дом раскапывали солдаты.

На острове были дети только из семей офицеров, причём, все дошкольного возраста. Школы не было, и старшие дети отправлялись учиться к бабушкам и дедушкам на материк. Поэтому в свои шесть с небольшим лет я был самым старшим и в авторитете, как нынче принято говорить.

Хорошо помню один момент, который мог закончиться трагически. На берегу стояла небольшая просмоленная японская лодка, больше похожая на ящик. Мы решили все залезть в эту лодку. Пусть она будет большим военным кораблём. Мы – это мой брат, соседские друзья и даже моя маленькая сестрёнка, которая сама залезть не смогла, и её пришлось затащить. Капитаном был я, и мы плыли воевать с фашистами. Мы настолько увлеклись игрой, что не заметили, как прилив поднял нашу лодку и потянул в море. Никто не испугался. Ведь мы плыли на войну и трусами быть не могли. Родители заметили наш морской поход, когда мы уже были далеко от берега. Им пришлось вызывать пограничный катер, который вернул героев домой.

После нескольких лет службы на Курилах отца отправили в подмосковный Солнечногорск на курсы высшего командного состава «Выстрел». После окончания курсов его не вернули на Курилы, а направили для продолжения службы в Волынскую область западной Украины для борьбы с ещё действующими бандеровскими бандами. Это означало, что с Кунашира до Солнечногорска нам добираться самим.

Наша дорога в Солнечногорск – это отдельная повесть. Дело к зиме. С пирса уходит последний в навигации грузовой пароход. Если на нём не уплыть, придётся ждать до весны. А меня надо отда-

вать в школу. Мать мечется, не зная, за что хвататься. Спасибо папиному ординарцу, который помог собрать вещи и подвёз к пирсу.

Холодно и сильный ветер. Из-за шторма пароход к пирсу причалить не может и стоит на рейде. Всех к пароходу доставляет специальный катер. Катер и пароход сильно качаются на волнах. Всех пассажиров и вещи приходится поднимать с катера на верёвке. Нас по очереди обвязывают верёвкой и поднимают на палубу.

Пассажиров не так много. Всех разместили в трюме. Пароход-то грузовой. Запомнилась в середине трюма гора соли. Наконец, отплыли. Качка такая сильная, что все лежат пластом и не могут подняться. А меня почему-то не укачивало, и я помогал всем, кто просил что-то принести или унести. Это продолжалось больше двух суток до прибытия во Владивосток.

Нас высадили на привокзальный берег, прямо на грунт. Встречать нас некому, дальше сами, как хотите. Маме нужно пойти на вокзал и по воинскому билету получить места на поезд Владивосток – Москва. Она оставляет нас на берегу. Мне 7 лет, на мне ответственность за брата и сестру, пока нет мамы. Мне нравится чувствовать себя взрослым.

Мама возвращается. Всё в порядке, но поезд почти через двое суток. Что делать? Уже поздний вечер. В комнате матери и ребёнка отказано – нет мест. Куда деваться с детьми?

Выручил молодой моряк. Увидев нашу беду, он предложил переночевать в деревянном строении, которое было когда-то общественным туалетом. Из толстых матов была сооружена стенка, отделяющая туалетные дыры от небольшого входного пространства. На полу лежали те же маты, на которых мы и переночевали. Наутро тот же моряк получил для нас место в комнате матери и ребёнка, а потом помог нам сесть на поезд.

В общем плацкартном вагоне мы ехали до Москвы семь суток. В Москве нас встретил папа с подарками каждому. Мама светилась от счастья, и мы все поехали в Солнечногорск.

Солнечногорск мне не запомнился. Это было очень короткое пребывание, и мы поехали по новому назначению в Западный военный округ, в небольшой городок Любомль, Волынской области, в 17 км от польской границы. 1949 год. В лесах и на хуторах ещё полно бандеровцев и прочих бандитов, которые вешали и убивали комму-

нистов, сжигали колхозную собственность. Ликвидацией этих бандитов и должен был заниматься отец. А для меня начиналась моя школьная жизнь. Я начал учиться в русской школе в Любомле, а заканчивал школу в соседнем городке Владимире Волынском, куда мы переехали вслед за отцом.

Учился я легко, получал по всем предметам только пятёрки. Исключением был украинский язык, считавшийся вторым после русского. Говорил я неплохо, но писал с ошибками. Из-за отметки по украинскому мне не дали медаль после окончания школы. Это при том, что в десятом классе на областной школьной олимпиаде я получил первые места по математике, физике и химии. Мне и в голову не могло прийти, что это могло быть связано с моим еврейством. Никакой обиды, надо было лучше учить украинский, думал я, и родители даже не пытались мне объяснить, что могут быть иные причины.

Памятными в школьные годы были дни, когда отец брал нас с собой на полевые учения. Мы жили в палатках, ели солдатскую кашу, стреляли из всех видов оружия. Немаловажный факт в воспитании настоящих мужчин.

В семье мы никогда не слышали никакой критики советской власти. Она, власть, всегда была права. Помню венгерские события. Со всех сторон осуждение попытки фашистского переворота. Отцовский полк в полной боевой готовности выведен на польскую границу. Фашизм не пройдёт!

Другое событие – «Дело врачей». Врачи-убийцы. Еврейский заговор. Вокруг нас немало евреев, и среди родительских друзей, и среди учеников в школе. Взрослые перешёптываются о возможных проблемах для евреев. Мне, ученику четвёртого класса, завуч школы задаёт вопрос, что я сделал бы с врачами-отравителями. Я по-пионерски уверенно ответил, что их всех надо расстрелять. Много позже я понял, насколько подло было задать этот вопрос именно мне. А тогда не сомневался в справедливости обвинений, в преступном заговоре, но я-то лично при чём. Меня может ждать только светлое будущее.

Ближайшее светлое будущее должно наступить, кто бы сомневался, после окончания школы. Меня поздравил с победой на олимпиаде школьников морской офицер в красивом мундире и предложил поступать в Ленинградскую военно-морскую медицинскую

академию. Это было больше, чем мечта. Это звучало как песня. Я обрадовал родителей и дал согласие.

Прежде чем поехать в Ленинград для сдачи экзаменов, надо было пройти медицинскую и мандатную комиссии в Луцком облвоенкомате. Медицинскую комиссию я прошёл легко. На мандатную комиссию шёл с полной уверенностью. Сын боевого офицера, круглый отличник, политически грамотный и общественно активный.

Большущая комната. Длинный стол. За ним в центре сидит военком, по обе стороны от него члены комиссии. Перед военкомом папка с моим личным делом. Незаметно заглянул в открытую папку. Одно короткое слово подчёркнуто красным карандашом. Чётко не вижу, но догадываюсь, что это слово «еврей».

Обращаясь ко мне, военком говорит, что он не может послать меня в Ленинградскую академию, и предлагает Высшее техническое училище бронетехники. Причиной он называет то, что я ещё очень молод, а в академию требуются студенты, уже имеющие опыт работы или службы в армии.

В полной растерянности заявляюсь домой. Родители тоже расстроены, но ни слова про антисемитизм. Они отправляют меня в Одессу. Там мамина сестра – есть кому принять, и полно ВУЗов – есть где учиться.

Я подал документы в Технологический институт пищевой промышленности. Первые три экзамена – математика письменно и устно и физика – на отлично. За сочинение на русском получил четыре. Последний экзамен – немецкий язык. «Немка» в школе всегда хвалила. Я не был свободен в языке, но школьную программу освоил на отлично. Понял всё, что меня спрашивали по-немецки. Ответил на все вопросы. Перевёл и написал какие-то предложения. Мне не сделали ни одного замечания, не указали ни на одну ошибку и поставили тройку. Это означало, что я не набрал проходного балла.

Сегодня я понимаю, что была задача не пропустить меня по конкурсу, но тогда я всё ещё не допускал мысли об антисемитизме по отношению ко мне. Верите – нет, но решил, что лучше надо готовиться. Сейчас трудно в это поверить, но так оно было.

Следующая попытка возможна только через год, но если и она

будет неудачной, тогда заберут на три года в армию. А пока надо устраиваться на работу.

Дядя, муж маминой сестры, устроил меня слесарем на завод «Металлист». Работа не была мне в тягость. Когда я ехал в трамвае домой, мне казалось, что люди с уважением смотрят на мою замасленную одежду и ладони с застрявшими кусочками стружки. А как же иначе – едет рабочий человек!

Одновременно я поступил на подготовительные курсы Одесского гидрометеорологического института. Это не было случайным выбором. Атмосфера, моря и океаны, погода и климат – всё это уже начинало занимать мои мысли, увлекало возможностями новых достижений в овладении природой.

Через год снова сдаю вступительные экзамены. Переживаю не только я, но близкие и дальние родственники. У меня уже повестка явиться в военкомат. Но... все экзамены на пятёрки, и я зачислен на первый курс. В институте есть военная кафедра, поэтому я освобождён от призыва в армию.

Первая сессия сдана на отлично. Я получил повышенную стипендию и место в общежитии. Не остались незамеченными и мои организаторские способности. Вскоре я стал заместителем председателя Объединённого комитета профсоюзов, а ещё через год – председателем Студенческого научного общества Института.

Тут хочу рассказать о том, что мне больно вспоминать, но никак забыть не могу. Мой младший брат после окончания школы решил поступать в тот же институт, где учился я. Все экзамены на пять, а за сочинение по русскому языку и литературе тройка. Ситуация повторяется с очевидной закономерностью. Мы идём, подавленные результатом, а навстречу моя преподавательница, куратор нашей группы, очень хорошо ко мне относившаяся: «Что, ребята, голову повесили?» Рассказываю, что случилось. «Надо проверить. Не исключено, что можно помочь».

Но попытка таким путём исправить оценку казалась мне бесчестной. И брат молча стоял рядом, был того же поля ягода, что и я. Почему мне в голову, вроде совсем неглупую, не приходило, что тройка брату, как ранее мне, была бесчестной и несправедливой, что исправить её было бы как раз справедливым и правильным. Но комсомолец Леонид Диневиц, – с горькой усмешкой сказал он о

себе в третьем лице, – ответил: «Спасибо, не надо. Пусть лучше готовится к экзаменам». Можно сослаться на время, на воспитание из нас «павликов морозовых», на наше полное незнание реальной жизни, всё так. Но помните, у Твардовского: «...и всё же, всё же, всё же».

Про институтские годы рассказывать особенно нечего. Круглый отличник, круглее не бывает. Про общественную работу уже говорил. Кроме этого, научная работа на кафедре. Даже по просьбе профессора несколько лекций прочитал по теоретической механике. Всё шло к тому, что после окончания меня оставят на работе в Институте.

Так бы оно и было, но... Жизнь распорядилась по-другому. Это случилось в колхозе, куда нас, студентов, отправляли на помощь в уборке урожая. Я, как ответственный за работу студентов, собираю вечером народ, чтобы обсудить итоги дня. И вот девочки жалуются, что две подружки делают существенно меньше остальных, и это снижает общий показатель.

Не буду вдаваться в подробности, но одну из них звали Соня. И вот я, студент третьего курса, почти каждый вечер хожу полчаса пешком к ней в гости. Соня жила вместе с подругой Анютой. Анюту я не мог не упомянуть, поскольку Анина мама была акушеркой и принимала роды у Сониной мамы в Винницком гетто. Так и дружили с той поры и мамы, и дочки.

Однажды я застал в гостях у Сони с Аней парня, который приехал на служебной машине откуда-то из Винницкой области. Парень вёл себя как жених, и всем видом показывал, что у них с Соней вопрос уже решён. Меня это настолько разозлило, что я, зажав вилку в руке, сломал её большим пальцем, и обломок полетел в сторону соперника. Это был вызов. Мы вышли. Он пытался мне объяснить, что Соня его любит и будет его женой. А я ему сказал, чтобы он про Соню забыл и больше мне на глаза не попадался.

Решение было принято, и в конце апреля я стал семейным студентом. Это была первая студенческая свадьба на курсе. Соня стала моей любовью на всю жизнь, моим счастьем, моей жизненной удачей.

После окончания института было несколько возможностей, включая аспирантуру. Но на распределение приехал профессор Гай-

воронский Иван Иванович из Центральной аэрологической обсерватории в Долгопрудном. Соня проходила у него производственную практику. Я тоже одновременно проходил эту практику, но в другой организации в Москве. Мы, естественно, жили вместе, но я часто бывал в обсерватории, и Иван Иванович меня знал.

Так вот он уговорил нас распределиться к ним на работу, но не в Долгопрудном, а на полигоне в Молдавии. Расписал, что мы будем работать на переднем крае науки и техники, что в короткое время защитим кандидатские, а затем и докторские диссертации, но главное – нам в ближайшее время обещана квартира. Это же такой подарок для молодой семьи. И вдобавок в Тирасполе жили теперь мои родители, значит, с ними можно будет чаще встречаться.

Несколько слов о том, как родители оказались в Тирасполе. В 1960 г. Никита Хрущёв решил сократить Вооружённые силы СССР почти на треть. Отец был уволен в запас. Жилья нет, гражданской профессии нет. Где жить, на что жить – кого это волнует? Пройти войну, отслужить более четверти века верой и правдой и оказаться никому не нужным. Это к вопросу, как заботилась Советская власть о человеке.

Приехали в родную Одессу. О возвращении украденной по сути дела квартиры и слышать не хотели. Более того, даже прописать в городе отказались, если они не найдут квартиру, соответствующую минимальной норме на пять человек. Иначе чем издевательством это не назовёшь. Пришлось уехать к отцовским сёстрам в Тирасполь.

2

Ещё в институте, в начале шестидесятых, Леонид слышал об активных воздействиях на облака. Первые успехи, как это часто бывает, вызвали непомерные ожидания. Град больше не будет уничтожать урожаи, дождь и снег будут выпадать, где надо и в нужное время, ураганы будут менять свои пути и уменьшать разрушительную силу. Да что там осадки и ураганы! Будем управлять атмосферой и менять климат.

Эйфория быстро прошла. Экспериментальный полигон, на котором он начал работать в Молдавии, был в зачаточном состоянии. Они прибыли на эту базу в конце июня 1965 года, всего через

полгода после её создания. Вышли на железнодорожной станции Корнешты, спросили, как дойти до полигона. До «ракетной базы»? – уточнил местный житель. Так здесь именовали полигон.

Ему запомнилась липкая чёрная грязь, которая приклеивалась к подошвам и отваливалась кусками при ходьбе. На окраине посёлка длинный глинобитный сарай, служивший раньше складом, несколько палаток, радиолокатор и две пусковые ракетные установки. Сотрудников десятков с небольшим вместе с командированными.

Через 28 лет своей работы он мог с гордостью перечислить содеянное: 12-этажный производственно-лабораторный корпус в Кишинёве, командно-диспетчерский пункт совместного управления воздушным движением и запусками ракет и центр для рассеивания туманов в аэропорту Кишинёва, 250 ракетных пунктов, 15 экспериментальных баз в различных районах республики с комплексами служебных зданий, с десятками километров подъездных дорог и линий связи, с собственными электростанциями на случай отключения электричества при грозах, с жилыми домами и базами отдыха для сотрудников, число которых достигло почти трёх тысяч человек.

Создание такого большого коллектива, способного на высоком научном и техническом уровне решать поставленные задачи, Леонид считает главным достижением в своей жизни.

На двух заводах Молдавии шло освоение производства пусковых установок под новые типы ракет. Количество используемых ракет превысило 50 тысяч ежегодно. По его инициативе началась подготовка специалистов в Кишинёвском университете. Он взял на себя чтение курсов физики атмосферы и радиолокационной метеорологии.

Накапливались экспериментальные результаты, которые стимулировали новые научные разработки и более совершенные технологии. Доктор физ-мат наук, профессор Леонид Диневиц вместе с сотрудниками публиковал статьи и книги. Всего им опубликовано пять книг и более ста статей по проблемам активных воздействий, а позднее и по радиолокации птичьих стай. Но речь о птичьих стаях ещё впереди.

Широкий спектр профессионально и эффективно выполняемых задач, техническое оснащение новыми разработанными сред-

ствами воздействия сделали Службу, так коротко называл Леонид свою организацию, авторитетной не только в Союзе, но и в мире. В Молдавию учиться и перенимать опыт приезжали специалисты из многих стран. США, Китай, Аргентина, Бразилия, Италия... – далеко не полный перечень. И Леонид Диневич неоднократно бывал в этих странах, выступал с докладами на конференциях, обсуждал со специалистами состояние работ по активным воздействиям.

Всё это звучит победными гимнами. Но его свершения – это не только результат собственных знаний и таланта, это ещё и работа с людьми, среди которых он обрёл много друзей, но были и соперники без чести и совести, были и враги, подлые и мерзкие. Во время долгих разговоров Леонид вспоминал то один, то другой эпизод из его жизни. Было видно, что он переживает их заново.

Леонид вспоминает, как после обещания почти манны небесной его, Соню и маленькую дочку поселили в девятиметровой комнате в двухкомнатной квартире. После отъезда соседа им дали его четырнадцать квадратных метров. Большое спасибо! А когда получили для себя и родителей Сони, с которыми стали жить вместе, отдельную двухкомнатную малометражку, это был праздник.

Не случайно он вспомнил про жилищные условия. Когда ему было предложено написать книгу, он с энтузиазмом взялся за эту работу, но на службе, а она длилась с утра до вечера, времени для книги не оставалось. Он писал её до поздней ночи дома. В одной комнате жена с ребёнком, в другой – её родители. Оставалась ванная. На ванную была положена доска, приставлена табуретка. Чем не рабочий кабинет!

Далее прямая речь.

– И вот книга готова. Отправляю её московским начальникам, по инициативе которых она была написана. Включаю их в авторы. От меня не убудет, а делу поможет. Вдруг получаю от них предложение, в это трудно поверить, исключить меня из авторов. Какой-то жалкий лепет по поводу примирения «артиллерийского» и «ракетного» направления, а я непримиримый сторонник второго, и первые могут обидеться, увидев меня среди авторов.

– Действительно, жалкий лепет. И что вы ответили?

– Я отказался от авторства. Подумал, хрен с ними. Я молод, мои книги ещё впереди. Зато буду иметь поддержку из Москвы во всех

своих начинаниях, включая финансирование работ, укомплектование кадрами и прочее.

– Сегодня не жалеете об этом?

– Жалею только о том, что этот поступок не делает мне чести. А для меня быть честным во всём было жизненным кредо.

– Разрешите с вами не согласиться. К чести это не имеет отношения. Вы играете в шахматы и жертвуете фигуру, чтобы одержать победу. Вы отказались от авторства, но в итоге победили.

– Теперь я с вами не согласен. Аналогия с шахматами хромает. Люди – это не шахматные фигурки.

Другой случай.

Для сбора экспериментальных данных позарез нужна немецкая климатическая камера. Помочь её приобрести может только Госплан СССР. Диневич полетел в Москву с одним авторитетом из Госплана Молдовы. С собой взяли ящик коньяка и два ящичка вишни. Поселились в гостинице Москва, пригласили в номер сотрудника Госплана СССР, поговорили, вместе поужинали. Вскоре получили две климатические камеры.

– Знакомая ситуация. Но это для общего дела, а для себя, для семьи неужели никогда не приходилось кого-то о чём-то просить?

– Никогда. Было одно исключение, но я не мог его не сделать. Наша дочь закончила филологический факультет Кишинёвского университета. Выпускные экзамены она сдавала, будучи беременной нашей внучкой. Молодую семью распределили на работу в какую-то далёкую деревню. Соня была в ужасе и настояла, чтобы я вмешался. К тому времени я был депутатом Кишинёвского совета, ещё и приглашённым профессором в том же университете, только на другом факультете. И вот в генеральской форме я заявился к ректору. Был встречен с уважением, получил от него обещание решить вопрос. И он решил. Дочь направили преподавать английский язык в школу-интернат рядом с нашим домом.

– Кто ж вас за это осудит. А как вы дослужились до генерала?

– Дело в том, что наша Служба – это та же самая армейская: ракеты, пусковые установки, радиолокаторы, средства связи, круглосуточные дежурства. Всё это требует военной дисциплины, и наши гражданские организации были преобразованы в военные. Был

разработан устав, введена форма одежды, отменены профсоюзы. Все сотрудники получили различные воинские звания. Я, как глава Службы в Молдавии, получил звание генерал-лейтенанта. Так что я, – смеётся, – из младшего офицера запаса скакнул сразу в генералы.

– Леонид, – меняю я тему разговора. – Вам приходилось обманываться в людях?

– Неоднократно. Излишняя доверчивость всегда была моим недостатком. На меня и доносы писали... А вспомните 1991 год. Горбачёвский беспредел. Нашлись сотрудники, которые стали требовать выборности руководителя. Они собирались и обсуждали, как заставить меня пойти на это. Мол, руководи, как нам нравится, иначе не выберем. Может, надо было принять участие в их обсуждениях, объяснить им, что Служба не государство, а я не президент. Я этого не сделал. А ведь у меня было 15 экспериментальных баз, 3000 работников, в среднем, по 200 человек на базе. Огромное хозяйство...

Более того, нашлась группа специалистов, которая направила письмо в «Литературку». Помните, была такая толстая газета, публиковавшая острые материалы в перестроечное время. В письме говорилось о недостаточной эффективности наших работ. Конкретно меня не обвиняли, но кто же ещё может быть в этом виноват.

Из Москвы прислали комиссию, которая целую неделю разбиралась с жалобой. Беседовали со всеми жалобщиками. И они лепетали, что имеющийся состав специалистов в сменах работает очень тяжело, и надо увеличить штаты (а кто против?), что надо повысить оплату труда (конечно, надо), что необходимо выявлять причины пропуска града и думать о технологическом прогрессе (так это моя основная работа). Словом, гора родила мышь, хоть и маленькую, но противную.

– Вы упомянули про горбачёвский беспредел...

– Я не принял ни Горбачёва, ни Ельцина. Я видел в них разрушителей страны, предавших идею. Когда мне предложили на сессии Кишинёвского Совета во всеуслышание отказаться от членства в коммунистической партии, я категорически отверг это предложение. Да, нужен был капитальный ремонт системы, но «разрушать до основания, а затем»... Никто и представить не мог, что будет затем. Я был убеждённым советским человеком. Я наблюдал, как вчерашние идеологи заискивают перед новой властью, сдают без борьбы свои идеалы, заботясь лишь о личном благополучии.

Однажды у нас возник разговор о всемирном потеплении. Мне очень хотелось узнать мнение Диневича по этому поводу. Он с атмосферой на ты. Он жил не в ней, а с нею. Он изучал её со всей страстью учёного. Она была с ним и наяву и во сне. Ему слово.

– Существует множество естественных причин, влияющих на изменение климата. Вклад каждой из них может быть оценён весьма приблизительно. Поэтому количественные выводы на основании имеющихся данных не могут быть точными и достоверными. Выбросы от вредных производств, конечно, надо ограничивать. Это и делается установленными нормами. Но устраивать истерику по поводу автомобилей и самолётов, мягко говоря, не стоит. Какие учёные установили связь между количеством сжигаемого топлива и изменением среднегодовой температуры на Земле? Некоторые договорились до того, что знают, насколько нужно уменьшить выбросы, чтобы предотвратить потепление планеты на два градуса. Чушь! Нам ещё предстоит создать специальные спутниковые системы, получить базы данных по многим параметрам хотя бы с точностью до процента. Предстоит огромная работа. Только после неё можно будет серьёзно говорить, влияют ли выбросы углекислого газа на изменение климата или это естественные его колебания, которые были в прошлом и которых не минуем в будущем.

3

Не раз мы говорили с Леонидом о судьбе еврейского народа, к которому оба принадлежали. Он неплохо знал историю, но её еврейская составляющая была от него далека. Его не обзывали жидом в детстве. Откуда было взяться антисемитизму в маленьких военных городках, где отец был уважаемым командиром. В украинской школе с ним вместе училось много еврейских ребят, тоже не разгуляться антисемитам. Даже при поступлении в институт он не мог поверить, что проблемы возникли из-за его еврейства. Но со временем поверить пришлось. Жизнь повернулась к нему и этой стороной. Леонид признаётся, что ему тяжело вспоминать об этом, но из песни слова не выкинуть.

После развала Советского Союза в бывших союзных республиках сильно возросли национальные амбиции. Уже не было Москвы, которая командовала парадом. И не где-то на улице, а во время сво-

их выступлений на депутатских сессиях он дважды услышал из зала крик: «Убирайся в свой Израиль!» У кричащих не хватило смелости подняться с места, но и соседи не поспешили вывести их из зала. По улицам чуть ли не ежедневно проходили митингующие толпы с плакатами и речёвками: «Чемодан, вокзал, Россия, а с евреями разберёмся сами».

Один откровенный молдавский националист, профессор Кишинёвского университета, назначенный отвечать за экологию в стране, стал поносить Службу за то, что она загрязняет поля и водные источники. Это было абсолютно голословное утверждение, но его целью была не защита экологии, а замена руководителя национальным кадром.

Всё шло к тому, что надо уезжать.

Была ещё одна причина, не главная, но существенная. Семья столкнулась с медицинскими проблемами. Родители, и мои и Сонины, были уже старыми людьми, да и у нас была не первая молодость. Подкравлись болезни, и очень серьёзные.

Забегая вперёд, могу сказать, что кардинально вопрос был решён уже в Израиле.

Когда стало известно, что я решил эмигрировать в Израиль, все, от сотрудников Службы до руководителей страны, принялись меня уговаривать, услаждали мой слух моей значимостью для Службы и Молдавии, уверяли, что нынешние неприятности времени перемен надо пережить, а дальше всё будет хорошо. Я выслушивал всех, благодарил, нескромно уверял, что знаю себе цену и не сомневаюсь в своей нужности стране. Однако я хочу, чтобы дети и внуки росли в другой стране, где их национальная принадлежность никогда не будет отягчающим обстоятельством.

На протяжении моей службы в Молдавии я имел несколько предложений сменить место работы. Одно предложение было получено от ректора моей «альма матер» – Одесского гидрометеорологического института. Ректор просил меня занять место завкафедрой активных воздействий на атмосферные процессы. Это совпало с моментом, когда у меня на Службе случилось ЧП.

Во время запуска ракета застряла в направляющей. Бойцы до-

ложили об этом командиру. Командир вместо того, чтобы направить на ракетный пункт руководителя группы ракетной техники, приказал снять ракету с установки. Просто так вытащить ракету бойцам не удалось. Без подробностей, что и как они не так делали, но ракета взорвалась в руках этих ребят. Жуткий случай! Ребята прошли войну в Афганистане и погибли у себя в Молдавии.

Непосредственной моей вины нет, но я руководитель и отвечаю за всё, что происходит в Службе. Чувствую себя подавленным неимоверно. И тут предложение из Одессы. А что, думаю, не бросить ли мне Службу к чёртовой матери и стать заведующим кафедрой. После Службы просто курорт!

Звоню в Москву в Госкомгидромет начальнику управления и докладываю, что думаю принять предложение из Одессы. Меня начали убеждать, что это неразумно, что они уже запускают бумаги о присвоении мне звания Героя соцтруда, что меня ждёт персональная пенсия, что моя Служба ведущая во всей системе Госкомгидромета. Уговорили. Героя я, конечно, не получил, дали орден «Знак Почёта». Однако самыми дорогими для меня наградами, – признаётся Леонид, – являются золотая медаль ВДНХ СССР и золотая медаль лауреата Государственной премии Совета Министров СССР.

В другой раз мне предлагалось переехать в Москву, возглавить вновь организуемый центр авиационных работ по воздействию на облачные процессы. И квартиру обещали, и Москва не Кишенёв и не Одесса, центр всего и вся. И опять те же ребята из Госкомгидромета сыграли на тех же струнах. Да и сам я, честно признаться, не мог себе представить, как смогу расстаться с детищем, которое растил всю свою творческую жизнь, которое обрело славу в стране и за рубежом, и отблеск этой славы падал на меня, радуя душу.

Вместо меня главой службы стал мой заместитель, которого я обучал профессии с третьего курса, провёл по всем должностям от рядового инженера до своего зама, дал ему квартиру, защищал в конфликтах с коллегами. Он клялся мне в верности, но когда получил бумагу с предложением оставить за мной научное руководство, написал на ней «нецелесообразно». Не могу спокойно говорить об этом предательстве до сих пор.

4

2 июля 1991 года они приземлились в аэропорту им. Бен-Гуриона. Они – это Леонид с женой, его дочь с мужем и маленькой внучкой, его родители и сестра. Леониду пятьдесят лет. Самый трудный возраст для эмиграции – слишком далеко до пенсионного и слишком много для устройства на работу. Их поселили в Яффо, где уже жили родственники, приехавшие раньше.

После Кишинёва Яффо произвёл гнетущее впечатление. Убогость, дошедшая из далёких веков, может привлекать туристов, но не их, приехавших стать жителями. От дома, где началась их новая жизнь, было минут двадцать неспешной ходьбы до берега Средиземного моря.

– Мы собрались и пошли, – вспоминает Леонид. – К морю было несколько путей. Мы, естественно, пошли самым коротким. Кто бы нам объяснил, что это путь через арабскую деревушку, и евреям лучше через неё не ходить. На нас высыпала ватага арабских малышей с камнями. Я пошёл им навстречу и начал орать на них по-русски. Не знаю, что их напугало, то ли мой грозный вид, то ли непонятный мой русский, но они разбежались. Возвращались с моря мы уже другим путём.

Не раз во время рассказов Леонида о первых месяцах эмиграции я вспоминал то, что слышал много раз: эмиграция – это трагедия одного поколения.

Они ходили на тель-авивский рынок пешком километра четыре в одну сторону, экономя деньги на автобусных билетах. Иногда возле рынка раздавали бедным пакеты с оставшимися от продажи овощами и фруктами, и они старались их получить. По дороге с рынка была столовая для малоимущих, и они заходили туда пообедать. Они шли по Яффо мимо овощных лавок и из ящиков с отбракованными фруктами и овощами выбирали ещё съедобные, которые продавали почти задаром. Он мыл лестницы в подъезде, а Соня ухаживала за больной женщиной. Как это было тяжело, причём морально гораздо тяжелее, чем физически.

– Пришло осознание, – вспоминает Леонид, – что мы не понимаем, куда мы приехали, не знаем страну и не можем общаться на её языке. К этому добавляются наши старики, которые нуждаются в лечении и сами о себе позаботиться не могут. Состояние? близкое к депрессивному.

Мы пытаемся, как и все репатрианты, в ульпане учить иврит и слушаем, как правильно себя вести, чтобы быть успешными. На интервью надо следить за движениями рук и ног, за выражением лица, за манерой речи. Боже мой!.. Я принял на работу несколько тысяч специалистов, и меня всегда интересовал только профессиональный уровень человека, а не то, жестикулирует он во время беседы или нет....

В таком состоянии Леонид получает приглашение от Председателя Молдовы встретиться с ним в гостинице в Тель-Авиве, куда тот прилетел для решения каких-то израильско-молдовских дел. Сам факт приглашения говорит за себя и тешит честолюбие, но одно было там, а здесь он никто. О чём они могут говорить?

Выпили коньяку за встречу. В ответ на расспросы Леонид не жаловался, ограничивался общими словами, а на предложение о сотрудничестве ответил, что пока рано об этом говорить, он ещё не совсем освоился на новом месте. Председатель, похоже, почувствовал его состояние и на прощанье сказал, что он может вернуться, если пожелает, в любое время на свою должность. Леонид искренне его поблагодарил, на том и закончилась встреча. Возвращался он домой с тяжёлым сердцем. Какое сотрудничество, найти бы хоть какую-то работу!

Через несколько месяцев к нему домой явился профессор Тель-Авивского университета Шалва Цвион, который эмигрировал в Израиль из Грузии на двадцать лет раньше Леонида. Они познакомились в Москве, куда Шалва с ещё одним профессором прилетели из Израиля, а Леонида вызвали из Кишинёва для обсуждения возможных совместных работ. В приватном разговоре Шалва спросил, нет ли у него планов уехать в Израиль. В то время Леонид и представить себе этого не мог.

И вот Шалва по-приятельски раскинул руки, заключил Леонида в объятия и поздравил с возвращением на родину предков. На следующий день он повёз Леонида на одну из метеослужб. На поле стояли три маленьких самолётика, которые по данным синоптиков и радиолокационной информации должны были взлетать и засеивать атмосферу реагентом так, чтобы ожидаемые осадки выпадали в Кинерет.

– С моей профессиональной точки зрения эффект от такой технологии может носить только случайный характер. Мы ещё в Союзе испробовали этот путь и от него отказались. Я про это не проронил ни слова. Но Шалва не был уполномочен тут же предложить мне работу. Мы поехали на встречу с научным руководителем водной компании «Мекарот». После обстоятельного разговора, в котором Шалва был переводчиком, мне было предложено, и это было полной неожиданностью, на выбор три места работы: метеослужба, которую показал Шалва, или университетская лаборатория, одна в Иерусалимском, другая в Тель-Авивском университете. Ближе всего по профессиональным интересам мне была лаборатория проф. Розенфельда в Иерусалимском университете. Её я и выбрал.

На первой встрече с проф. Дани Розенфельдом мы несколько часов обсуждали то, чем я занимался. Разговор шёл медленно из-за перевода с русского на иврит, и наоборот. Профессор слушал рассеянно. Чувствовалось, что он соблюдает формальность, спрашивая меня, поскольку абсолютно уверен, что передний край технологии в Израиле и США. Мне-то было известно, что наши работы отнюдь не уступают, и я еле сдерживал себя, чтобы не сказать об этом.

Дани объявил мне, что я принят в университет на стипендию Шапиро. Это фамилия чиновника из Министерства абсорбции. Три года я буду получать эту стипендию, не стоя ни шекеля университету, и за это время проверят, действительно ли я учёный. Это меня, у которого учились специалисты из разных стран мира, будут проверять?!. Разве это не унижительно? Но надо терпеть и соглашаться. Большое спасибо! И мы пожали друг другу руки.

Через полгода после начала моей работы в Иерусалимском университете я выступил на очередной научной конференции с докладом, в котором объяснял своё критическое отношение к разработанному в Израиле методу активного воздействия на облачные процессы. Доклад длился двадцать минут, вопросы и комментарии с мест держали меня на сцене два с половиной часа. Я предлагал поднять работы в этой области на самый высокий мировой уровень.

После конференции мои коллеги в лаборатории сказали: «Ты выступал так, как будто ты уже научный руководитель этих работ. Розенфельд тебе этого не простит». От Розенфельда прямой реак-

ции не последовало, но он полностью закрыл мне дорогу в тему, заявленную на конференции.

По сути дела я был отделён от науки и использовался как квалифицированный снабженец. Розенфельд просил меня добыть тот или иной прибор, и я, используя свои прежние контакты, этим занимался. Это иногда были чисто детективные истории. Давайте расскажу вам одну.

Прибор для измерения концентрации частиц я решил попросить в российской ЦАО (Центральной Аэрологической Обсерватории). Директора, проф. Черникова, я не просто хорошо знал, а мы с ним стали друзьями за многие годы сотрудничества. Он согласился отдать прибор бесплатно. Звоню Дани Розенфельду. Тот не хочет бесплатно. Черников назначает формально очень небольшую сумму. Опять звоню Дани. Он просит уменьшить цену в два раза. Снова иду к директору. Он смеётся: «С вами, евреями, не соскучишься!» Подписали, наконец, соглашение.

Но это поддела. Как доставить аппаратурис немалым весом из Москвы в Израиль? ЦАО не имеет права торговать с Израилем. Звоню другому своему другу, проф. Медведеву из Одесского гидрометеорологического института, говорю о проблеме. Он отвечает: «Не волнуйся, сделаем». По каким-то своим делам он на своей машине поехал в Москву, взял в ЦАО прибор, перевёз его через границу в Украину, а в Одессе со знакомым пассажиром на корабле отправил в Хайфу. Чем не детектив?

Показательный момент моих отношений с Розенфельдом случился на конференции в Кишинёве, которая собрала ведущих специалистов из всех республик бывшего Союза. Из Израиля по приглашению приехали я, Розенфельд и два специалиста по радиолокации. Мы с Дани поселились в гостевой квартире, принадлежащей моей бывшей Службе. Ко мне приходили с вином и закуской большие начальники, бывшие и нынешние. Вспоминали живых и ушедших, обсуждали новые времена, делились анекдотами, произносили тосты. Дани по-русски не понимал, но видел ко мне отношение и перед сном вдруг сказал в переводе на русский: «Ты думаешь, что испугаешь меня своей значимостью?» Что я ему мог ответить? Только посмотрел с недоумением и про себя подумал, что Дани не перестаёт видеть во мне конкурента.

Там же в Кишинёве Розенфельд обратился ко мне с просьбой купить радиолокатор. Именно эта покупка сыграла важную роль в моей дальнейшей работе, но это уже была работа не с Дани Розенфельдом.

А пока мы вместе летим на конференцию в Италию. «Мы» не означает, что Дани привлёк меня к участию в конференции. Ко мне обратились аргентинские коллеги с просьбой сделать на конференции доклад по результатам работ в Молдавии. Они полностью оплатили мне командировку. Это не было случайным. Я оставался у них научным консультантом, периодически за их счёт летал в Аргентину и получал существенную добавку к своей шапировской стипендии.

Было смешно, когда проф. Розенфельд решил меня представить делегации учёных из США. Американцы его остановили и сказали, что скорее проф. Диневич должен его представить, чем наоборот.

Мой доклад получил высокую оценку. Редактор авторитетного журнала попросил подготовить его для печати. К сожалению, статья не была опубликована. В этом есть доля и моей вины, но Розенфельд мог мне помочь и не захотел.

Возвращаюсь к радиолокатору. Привёз я его не только по просьбе Розенфельда. Дани познакомил меня с Председателем общества охраны природы, заведующим орнитологической лабораторией Тель-Авивского университета Йоси Лешемом.

Йоси сыграл особую роль в моём становлении в Израиле и стал моим близким другом. Чрезвычайно активный, дружелюбный и увлечённый своим делом, он уговорил меня перейти на работу к нему в лабораторию и решать задачу радиолокации птичьих стай для того, чтобы избежать столкновения с ними самолётов.

Меня не надо было уговаривать. Закончились три года моей работы с Розенфельдом на шапировской стипендии, и Дани даже не посчитал возможным дать мне рекомендации для продолжения работы. Тот случай, когда мы оба были довольны – Дани, потому что я от него ушёл, а я, потому что нашёл, наконец, интересную работу.

В наше время всё чаще возникают конфликты между техническим прогрессом и природой. Одним из них является конфликт между птицами и самолётами. Для Израиля эта проблема особенно

актуальна. Над его крохотной территорией веками сложился путь межконтинентальной сезонной миграции сотен миллионов птиц. В результате столкновения терпят катастрофу самолёты, погибают пилоты и птицы. Задачей было создание радиолокационной орнитологической системы с целью обеспечения безопасности полётов. Для этого необходимо было использовать современную компьютерную технику, разработать нужные алгоритмы и программы, отличающие радиоэхо от птиц, а не от облаков или других объектов в небе.

Далее пошла многолетняя, непростая в техническом и научном отношении, но такая любимая работа. На начальном этапе Леонид привлёк к работе своего младшего брата Владимира, который был высокого класса специалистом в радиолокации и имел большой опыт работы в его Службе именно с такого типа радиолокатором, который они получили из Молдовы. Более того, у брата был некоторый опыт наблюдения радиоэха от птиц, но тогда это было побочным эффектом.

Не быстро дело делается, но кому интересны научно-технические подробности, оригинальные решения, одоление организационных трудностей? Только профессионалам. А для остальных важен итог. Система была создана и развёрнута на территории музея бронетанковых войск в Латруне. Она в оперативном режиме каждые 10-15 минут передавала орнитологические карты руководителям полётов военной авиации, а те на их основании принимали решения о зонах и высотах, на которых могут совершать тренировочные полёты самолёты и вертолёты.

На открытии станции присутствовали Президент Израиля Эзер Вейцман, министр экологии Йоси Сарид и некоторые военачальники. Но самое дорогое признание Леонид ощутил, когда в большом зале Тель-Авивского университета в присутствии высших офицеров авиации он получил почётный диплом и премию за работы по радиолокации птиц из рук семьи лётчика, погибшего после столкновения с птицами его самолёта.

Не мог Леонид со своим характером остаться в Израиле в стороне от участия в решении проблем научной и профессиональной алии. Он присоединился к общественному движению, стал играть в нём одну из ведущих ролей, вошёл в учёные советы при министер-

ствах инфраструктуры и транспорта. С его именем связаны десятки конференций и семинаров, на которых репатрианты могли показать себя заинтересованным работодателям. На них зачастую присутствовали министры, генеральные директора, депутаты Кнессета. В результате десятки специалистов оказались востребованными. В Израиле любят рассказывать о том, как бывшие дворники стали одними из создателей знаменитого «Железного купола».

Много тёплых слов я услышал от Леонида о Юрии Штерне и Авигдоре Либермане. С ними он был в постоянном контакте, и они делали всё, что могли, чтобы направить в желаемое русло хлынувший поток алии. Замечательной идеей было создание так называемых «теплиц», где в течение трёх лет приехавший учёный мог реализовать свой проект, представленный и принятый специальной комиссией. Через «теплицы» получили путёвку в жизнь до тысячи специалистов. А их в потоке десятки тысяч. Что делать с остальными? На эту тему у нас с Леонидом возникло много споров.

– На страну упал золотой ливень талантов, – говорил он, – и только малая часть заняла достойное место. А те, кто не смогли? Конечно, были и такие, кто не заслуживал. Не о них речь. Речь о настоящих талантах, оставшихся не у дел.

– Помните Высоцкого, – возразил я, – «...где на всех зубов найти?». Страна маленькая, зубов мало. Есть два выхода – приобрести другую квалификацию или, если уже возраст не тот, смириться с жизнью и радоваться успехам детей и внуков. Никто не живет на улице и не голодает. Один из таких смирившихся неудачников мне сказал по этому поводу: «Значит, не по таланту».

– Так я же не о том. Я говорю, что среди оставшихся за бортом были настоящие таланты, способные принести огромную пользу стране, и ошибочная политика привела к тому, что этого не случилось. Люди, представления не имевшие о рынке труда, на нём оказались. Они понятия не имели, что на этом рынке надо работать не только головой, но и локтями.

– В таком большом деле ошибки неизбежны. Вопрос, насколько их было много. Вы же сами говорили, как много сделали для алии такие государственные мужи, как Юрий Штерн и Авигдор Либерман.

– Много, но недостаточно. И не всё было в их силах. А ошибки, сколько бы их ни было, означали трагедии живых людей, которые

могли принести пользу стране и не принесли. Я был Президентом форума учёных-репатриантов и знаком со многими такими трагедиями.

– Я тоже знаю, Леонид. А о чём думали эти талантливые учёные, когда прибыли в страну, не говоря ни на иврите ни на английском, не имея представления, насколько их специальность нужна стране, не зная ни друзей, ни коллег, которые могут замолвить слово? Вы же знаете, какое значение имеют рекомендации.

– По поводу рекомендаций я вас удивлю. Мы пытались привлечь к общественной работе тех, кто успешно прошёл через программы отбора и трудился на разных постах. Надо было видеть, какое ожесточённое сопротивление вызывала у них всякая инициатива, направленная на поиск путей интеграции оставшихся за бортом учёных. Почему? Они уже работают, остальные пусть решают свою судьбу сами. Не стоит тратить на них государственные деньги и придумывать новые проекты и программы. Только что они сами были репатриантами – и такой поворот.

В 2009 г. Леонида Диневи́ча проводили на пенсию. Присутствовало много высокопоставленных гостей – бывший командующий авиацией Израиля Амос Лapidот, министр иностранных дел Авидгор Либерман, министр абсорбции Софа Ландвер, профессора, среди которых Дани Розенфельд. Он услышал много радующих душу слов, ощутил сладостный вкус признания. Софа Ландвер сказала о том, что Леонид Диневи́ч включён в список ста самых выдающихся учёных-репатриантов большой алии, и вручила ему диплом. От имени министра обороны он получил высокую награду – Знак почёта.

– Не удержался от выступления и Дани Розенфельд, – вспоминает Леонид. – Он взхлёб рассказал, что годы нашей совместной работы были для него большой удачей, что я не только высочайшего уровня учёный, но и талантливый практик, реализующий свои идеи. А я слушал и думал про себя – где же ты был раньше, мать твою. Вслух же поблагодарил Дани и подарил ему свою книгу, посвящённую радиолокации птиц.

В год семидесятилетия Израиля Леонид Диневи́ч получил самую высокую государственную награду – Знак отличия.

У него однажды спросили:

– Стал ли Израиль *вашей* страной?

– Да, однозначно стал. Но не потому, что я прожил здесь почти тридцать лет и оказался востребованным. Это имеет значение, но не главное. Моя большая радость и гордость – внучка Олечка. Когда она училась в школе, ее как одну из лучших учениц премировали поездкой в США. Там она общалась со своими сверстниками, бывала у них дома, поучилась немного с ними в школе, существенно улучшила свой английский. После возвращения она сказала, что было очень интересно, но на вопрос, хотела бы она там жить, последовал ответ: «Моя страна Израиль!»

Оля летала стюардессой в авиакомпании «Эл-Аль», служила в авиационных частях, получила «Master degree» по специальности «психология и управление производством». Вышла замуж и родила нам правнука. Его назвали Эйтан. На древнееврейском это имя означает постоянство и неизменность. С иврита оно переводится как прочный и сильный. Надо ли к этому ещё что-то добавлять, почему Израиль моя страна?

Юрий Солодкин родился за год до войны в Новосибирске, где со временем прошёл все ступени научного сотрудника — от аспиранта до доктора технических наук, профессора. На 57-м году жизни эмигрировал в Америку, где проработал ещё 20 лет.

Немало времени Юрий Солодкин уделяет творчеству. За это время им опубликованы книги стихов «Библейские поэмы», «Если вкратце...», «Стихи по случаю», а также книги для детей «Надо знать эту знать», «Собаки», «В гостях у радуги», «Сибирские месяцы», «Угадайки», «В шутку про Мишутку».

ВЛАДИМИР БАТШЕВ. «1948». РОМАН

Супербложка книги сразу настраивает на определенный лад: темный силуэт мужчины в шляпе на фоне разбомбленных домов и кровавые цифры – 1948. Непроизвольно рождаются ассоциации со знаменитой оруэлловской антиутопией и работой-прогнозом Андрея Амальрика относительно распада СССР. Но там другие даты – 1984. Батшев меняет местами две последние цифры и, разумеется, делает это не случайно. Описываемые в романе события и люди «привязаны» именно к 1948 году: недавно окончилась война, наложившая отпечаток на жизнь героев.

Уже с первых страниц начинаешь понимать особенность избранного автором жанра. Сам он считает, что это (цитирую его высказывание) «исторический роман со множеством исторических и вымышленных персонажей, среди которых и Сталин, и Голда Меир, и Тито, и Джилас, и Михоэлс, и Виктор Кравченко... Действие происходит в разных странах и с разными героями». И добавляет: «... пишу я его давно, и идет он трудно».

Но вот роман издан и уже читается, причем, судя по ремарке на титульном листе – «Часть первая», нас ожидает продолжение.

Так в чем же, по-моему, особенность нового значительного произведения известного русского писателя и издателя, живущего и работающего в Германии? Возьму смелость утверждать, что это *синтетический роман*, вобравший элементы некоторых других жанров и поджанров, узнаваемых в сюжетных хитросплетениях. А еще он напоминает киносценарий: действие описывается в основном в настоящем времени, хотя изредка перемежается воспоминаниями, реминисценциями (flashback), оперативными газетными - и радио-сообщениями, фразы рубленые, короткие, энергичные, множество диалогов. Недаром автор в свое время окончил в Москве ВГИК, написал немало киносценариев...

Словно нарочито привязывая героев романа к сценарной основе, Батшев в самом начале книги приводит список главных действующих лиц и краткие их характеристики. Это как титры фильма: Мишель – старый русский эмигрант, теперь портье в гостинице, Фрэнк (Франц) Миллер – немецкий эмигрант, лейтенант американской армии, Джордж (Юрий) Олонецкий – русский эмигрант, сержант американской армии, Ханнелора Вальзер – бывшая летчица, владелица фирмы, Рашель – узница концлагеря Берген-Бельзен, сотрудница французской контрразведки (DST), Ефрем – режиссер в московском еврейском театре ГОСЕТ, Кирилл Проталин – раньше советский журналист, теперь журналист эмигрантской газеты, Федор Круазе-Мулярчик – капитан НКВД, затем следователь немецкой СД, фантом, Вибо – начальник французской контрразведки (DST), Милован Джилас – черногорец, сподвижник Тито, Сталин – людоед...

Уже одно это перечисление говорит о том, насколько любопытными и многообещающими могут предстать перед читателями (зрителями) переплетения действий столь разных персонажей, судеб скрещенья. Герои книги и в самом деле неожиданно сходятся на жизненных перекрестках, придавая тексту динамизм и энергию.

Я читал роман с неослабным вниманием.

Пересказывать содержание – нестоящее занятие для рецензента, гораздо важнее выделить ключевые моменты, собственно, и делающие новую книгу Владимира Батшева заметным явлением на небосклоне русской литературы. В романе нет главного героя, все они – по-своему главные. 1948-й присутствует не произвольно выбранной датой, а строго детерминирован происходящими событиями. Тут и отсыл к находке Джорджем Олонецким архива Смоленского обкома ВКБ (б), и прощание с убитым по указке Сталина великим артистом Михоэлсом (появление на похоронах Александра Гинзбурга (Галича) тоже не случайно), и упоминание героями рассказа Сэлинджера «Хорошо ловится рыбка-бананка», который дал известность будущему знаменитому писателю, и рейс, первый и последний трагический, корабля «Альталена» с 900-ми добровольцами-евреями и оружием для борющейся с врагом армии обороны только что созданного государства Израиль, и испытания, ожидающие плывущих на этом судне Джорджа и Рашель, связанных близкими отношениями, и ситуация в Германии, когда 21 июня совет-

ские власти прекратили всякое железнодорожное и иное сообщение между Берлином и западными зонами и на выручку пришли американцы, установившие воздушный мост для доставки продовольствия и всего необходимого заблокированному Берлину...

И все это 1948-й...

Роман Батшева как жанр *синтетический* органично включает в себя споры, диспуты героев, диалоги с политическим оттенком, которые помогают высветить суть произведения. Вот как строится беседа Олонецкого и Рашель. Джордж и Фрэнк Миллер прибыли в Париж с секретным заданием, Рашель помогает им по линии DST. Она пытается открыть глаза сержанту американской армии на то, что, как ей кажется, большинство не знает и не понимает.

«– Ты думаешь, нацисты убивали людей просто так? Нет, они их убивали с согласия коммунистов.

Джордж остановился.

– Что ты говоришь, коммунисты тоже сидели в концлагерях!

– Кем они были в лагерях? – ее лицо изменилось, глаза заблестели.

– Я тебе скажу, кем они там были! Прислужниками палачей – вот кем они там были! Все эти блоковые, барачные, старосты, дежурные, помощники надзирателей – все они носили красные винкелы! Все они были коммунистами и издевались над нами...Хуже коммунистов могут быть только нацисты!»

Неожиданно звучит, вызовет несогласие, даже протест у некоторых читателей? Возможно. Клишированное сознание не позволяет выйти за рамки многожды вдалбливаемых догм. Но Рашель, прошедшая ад, убеждена в своей правоте, и ничто не может поколебать ее уверенность...

...Необычный, ярко-увлекательный, бесстрашный, небесспорный роман написал Владимир Батшев. Книга несомненно найдет отклик в читательской среде русского зарубежья и в метрополии. Хочется надеяться, роман скоро появится в Сети.

Давид Гай

А может, потому и пал на меня жребий, что не терпел половинчатости и непоследовательности, а следовало терпеть и жить медленно и неправильно по завету Венички, чтобы не успел загордиться человек, чтобы человек был грустен и растерян.

Давид Гай

Как хорошо теперь морям и рекам,
Какой везде уютный чистый вид.
Сама планета бьется с человеком,
И, значит, безусловно, победит.

...А нам осталось гордое смирение.
Страна закрыта, все ушли в запой.
Поправки, карантин и обнуление.
И самоизоляция толпой.

Евгений Лесин

...она подошла, сложила кучу полотенец на лежак и сказала:
– Ой ман, вы такой смелый, такой храбрый ман!
Я удивился:
– С чего это я храбрый? Что такого я сделал?
– Ну как же, ман! Вы ведь ходите в этой футболке и смело делаете этим такой сильный протест. Такой революционный протест! Ой, храбрый белый ман!

Яков Фрейдин

На третий день он повёл меня в бордель, элегантное место, каких в Будапеште больше нет, там мне было очень хорошо, ко мне даже вернулась мужеская сила, которая, как я думал, уже угасла безвозвратно. И вот что я хочу сказать тебе, Ференц, может быть, ты даже мне не поверишь, но в Москве я провёл самые прекрасные дни моей жизни.

Антонио Табуки